

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ НАУКАМ
РОССИЙСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ

Политическая
Наука **3** *2020*

POLITICAL SCIENCE (RU)

Москва
2020

Учредитель: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Институт научной информации по общественным наукам РАН»

Редакционная коллегия

Е.Ю. Мелешикина – д-р полит. наук, *главный редактор*, заведующая отделом политической науки ИНИОН РАН; **В.С. Авдонин** – доктор политических наук, ведущий научный сотрудник отдела политической науки ИНИОН РАН; **Г. Вольман** – д-р юрид. наук, профессор Университета им. Гумбольдта (Германия); **Д.В. Ефременко** – д-р полит. наук, заместитель директора, руководитель Центра социальных научно-информационных исследований ИНИОН РАН; **О.И. Зазнаев** – д-р юрид. наук, заведующий кафедрой политологии Казанского (Приволжского) федерального университета; **М.В. Ильин** – д-р полит. наук, профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ; **О.Ю. Малинова** – д-р филос. наук, *заместитель главного редактора*, профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ; **П.В. Панов** – д-р полит. наук, ведущий научный сотрудник Пермского научного центра Уральского отделения РАН; **С.В. Патрушев** – канд. ист. наук, ведущий научный сотрудник, руководитель отдела сравнительных политических исследований Института социологии ФНИСЦ РАН; **Ю.С. Пивоваров** – академик РАН, научный руководитель ИНИОН РАН; **И.А. Помигуев** – канд. полит. наук, *ответственный секретарь*, научный сотрудник ИНИОН РАН; **А.И. Соловьёв** – д-р полит. наук, заведующий кафедрой политического анализа факультета государственного управления МГУ им. Ломоносова; **Р.Ф. Туrowsкий** – д-р полит. наук, профессор факультета социальных наук НИУ ВШЭ; **Ж. Фаварель-Гарриг** – PhD (Pol. Sci.), ведущий научный сотрудник Центра международных исследований (CNRS) (Франция); **Цуй Вэнь И** – PhD (International Politics), профессор Ляонинского университета (Китай); **П. Чейсти** – PhD (Pol. Sci.), профессор Оксфордского университета (Великобритания)

Редакция журнала

Главный редактор: д-р полит. наук *Е.Ю. Мелешикина*

Заместитель главного редактора: д-р филос. наук *О.Ю. Малинова*

Ответственный секретарь: канд. полит. наук *И.А. Помигуев*

Научный редактор: д-р полит. наук *Л.Н. Тимофеева*

Литературный редактор: *А.Н. Кокарева*

Технические редакторы: канд. филос. наук *В.Л. Силаева*, *Т.Ш. Адильбаев*

Выпускающий редактор: канд. полит. наук *И.А. Помигуев*

Издание рекомендовано **Высшей аттестационной комиссией** Министерства образования и науки Российской Федерации и включено в «Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертации на соискание ученой степени доктора и кандидата наук» по политологии.

Журнал включен в **Russian Science Citation Index (RSCI)** на платформе **Web of Science**. Издается при участии **Российской ассоциации политической науки (РАПН)**.

ISSN 1998-1775

DOI: 10.31249/poln/2020.03.00

© «Политическая наука», научный журнал, 2020

© ФГБУН «Институт научной информации по общественным наукам РАН», 2020

POLITICAL SCIENCE (RU)

Political science (RU) is one of the key Russian periodicals dedicated to the political science. Founded in 1997, it is well known among foreign researchers. The journal is quarterly **published by the Institute of Scientific Information for Social Sciences of the Russian Academy of Sciences (INION RAN)** and with the assistance of the **Russian Political Science Association (RAPN)**.

The journal always pays attention to the actual situation in the political science in general and its trends, as well as to the overview and analysis of up-to-date scientific achievements. Articles and other materials dedicated to the methodology are featured in the journal. Informational and research & information sources (abstract reviews, synopses, book reviews, etc.), materials from other periodicals and results obtained by various think tanks and institutes are always published in **Political science (RU)**.

Political science (RU) is included in the list of the academic journals recommended by the **High Certification Commission (VAK)** of the Ministry of Education and Science of Russian Federation. The journal is also in the list of the **Russian Science Citation Index** database of the **Web of Science** platform.

Editorial Board

Editor-in-Chief – **Elena MELESHKINA**, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Head of Political Science Department, INION RAN (Moscow, Russia); **Deputy Editor-in-Chief** – **Olga MALINOVA**, Dr. Sci. (Philos.), Prof., National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russia); **Executive secretary** – **Ilya POMIGUEV**, Cand. Sci. (Pol. Sci.),

research fellow, INION RAN (Moscow, Russia); **Vladimir AVDONIN**, Dr. Sci. (Pol. Sci.), leading researcher, INION RAN (Moscow, Russia); **Hellmut WOLLMANN**, Dr. Sci. (Law), Prof., Humboldt-Universität zu Berlin (Berlin, Germany); **Dmitry EFREMENKO**, Dr. Sci. (Pol. Sci.), deputy director, INION RAN (Moscow, Russia); **Oleg ZAZNAEV**, Dr. Sci. (Law), Prof., Head of Political Science Department, Kazan Federal University (Kazan, Russia); **Mikhail ILYIN**, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Prof., National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russia); **Petr PANOV**, Dr. Sci. (Pol. Sci.), leading researcher, Department of Research of political institutions and processes, Perm Scientific Center of the Ural Branch Russian Academy of Sciences (Perm, Russia); **Sergey PATRUSHEV**, Cand. Sci. (Hist.), leading researcher, Head of Comparative Political Studies Department, Institute of Sociology of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia); **Yuriy PIVOVAROV**, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Full Member of the Russian Academy of Sciences, Academic Supervisor, INION RAN (Moscow, Russia); **Aleksandr SOLOVYEV**, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Prof., Head of Political Analysis Department, Faculty of Public Administration, M.V. Lomonosov Moscow State University (Moscow, Russia); **Rostislav TUROVSKY**, Dr. Sci. (Pol. Sci.), Prof., National Research University Higher School of Economics (Moscow, Russia); **Gilles FAVAREL-GARRIGUES**, PhD in political science, Senior research fellow, CNRS, CERI (Paris, France); **Qu WENYI**, PhD in International Politics, Prof., School of International Studies, Liaoning University (Shenyang, China); **Paul CHAISTY**, PhD, Prof., University of Oxford (Oxford, United Kingdom).

**ТЕМА НОМЕРА:
ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНФЛИКТОЛОГИЯ**

СОДЕРЖАНИЕ

Представляю номер..... 9

СОСТОЯНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

<i>Глухова А.В.</i> Политические конфликты в глобальную эпоху (К проблеме теоретической идентификации).....	13
<i>Никовская Л.И.</i> Социология политического конфликта	34
<i>Кольба А.И.</i> Исследование региональных и городских политических конфликтов: основные концепты и перспективы развития субдисциплин	52
<i>Авксентьев В.А., Аксюмов Б.В., Гриценко Г.Д.</i> Этничность в политических конфликтах: этнизация политики и политизация этничности	74
<i>Лебедева М.М.</i> Международные переговоры как социальный и гуманитарный ресурс в мировой политике.....	98

ИДЕИ И ПРАКТИКА

<i>Тимофеева Л.Н.</i> Публичная критика как средство предупреждения насилия в обществе	114
<i>Гаджиев Х.А.</i> Цифровое пространство как поле политического противостояния власти и оппозиции	147
<i>Сергеев С.А.</i> Политическая символика и символическая политика западноевропейских леворадикальных партий	172

РАКУРСЫ

<i>Бокерия С.А., Сидоров Д.А.</i> Эволюция подходов стран БРИКС к «ответственности по защите»	190
<i>Гуринская А.Л.</i> Конфликты ценностей в правотворчестве: политико-правовая природа и эффективность охранных ордеров как инструмента профилактики семейно-бытового насилия	215

КОНТЕКСТ

<i>Бродовская Е.В., Домбровская А.Ю., Пырма Р.В.</i> Дискурсы внешнего информационного давления в Крымском и Севастопольском сегментах Рунета: особенности, адресаты, конфликтогенный потенциал	243
<i>Соколов А.В., Палагичева А.В.</i> Мобилизация и демобилизация в сетевом политическом протесте	266

С КНИЖНОЙ ПОЛКИ

<i>Окунев И.Ю., Шестакова М.Н.</i> Российское пограничье сквозь призму междисциплинарных исследований. (Рецензия)	298
<i>Ковалев В.А.</i> Продолжая тему «недостойного правления». (Рецензия)	305

CONTENTS

Introducing the issue	9
-----------------------------	---

STATE OF THE DISCIPLINE

<i>Glukhova A.V.</i> Political conflicts in the global era (theoretical approach implementation)	13
<i>Nikovskaya L.I.</i> Sociology of political conflict	34
<i>Kolba A.I.</i> Research of regional and urban political conflicts: basic concepts and prospects of development of subdisciplines	52
<i>Avksentev V.A., Aksiumov B.V., Gritsenko G.D.</i> Ethnicity in political conflicts: ethnicization of politics and politicization of ethnicity	74
<i>Lebedeva M.M.</i> International negotiations as a social and humanitarian resource in world politics	98

IDEAS AND PRACTICE

<i>Timofeeva L.N.</i> Public criticism as a prevention of violence in society	114
<i>Gadzhiev Kh.A.</i> Digital space as a field for political confrontation of authorities and opposition	147
<i>Sergeev S.A.</i> Political symbols and symbolic policy of the Western European left radical parties	172

PROSPECTS

<i>Bokeriya S.A., Sidorov D.A.</i> Evolution of the BRICS countries' approaches to the «responsibility to protect».....	190
<i>Gurinskaya A.</i> Conflicts of values in law-making: the political and legal nature and effectiveness of domestic violence protective orders.....	215

CONTEXT

<i>Brodovskaya E.V., Dombrovskaya A.Y., Pyrma R.V.</i> Discourses of external information pressure in the Crimean and Sevastopol Runet segments: features, addressees, conflict potential	243
<i>Sokolov A.V., Palagicheva A.V.</i> Mobilization and demobilization in a network political protest.....	266

FROM THE BOOKSHELF

<i>Okunev I.Yu., Shestakova M.N.</i> Russian borderlands from an interdisciplinary perspective (Review).....	298
<i>Kovalev V.</i> Continuing the theme of bad governance (Review)	305

ПРЕДСТАВЛЯЮ НОМЕР

В 2021 году исполнится 30 лет с начала пристального изучения политических конфликтов в нашей стране. Поводом для этого послужили события 1991 г., связанные с распадом СССР, его политической системы, образованием независимых государств и новой системы международных отношений. Это был не только переломный год в истории России, но и время пересмотра взглядов на историю, философию – всех общественных наук, появления новых дисциплин, среди которых были политология и политическая конфликтология. Уже в это время начинаются защиты докторских и кандидатских диссертаций по проблематике современных социально-политических, этнополитических и международных конфликтов в области политической науки. Всего, по подсчетам А.Я. Анцупова и С.Л. Прошанова, с 1991 г. по 1 января 2017 г. в России политологами было защищено 254 диссертации по конфликтологическим проблемам.

С историей и проблематикой становления отечественной политической конфликтологии редакция журнала уже познакомила своих читателей во втором номере за 2016 г. На этот раз на ваш суд выносятся статьи, которые характеризуют спектр сегодняшних интересов российских конфликтологов и направления развития самой дисциплины.

В рубрике «Состояние дисциплины» А.В. Глухова рассуждает о политических конфликтах в глобальную эпоху и проблеме их теоретической идентификации. Статья посвящена обоснованию и исследованию основного политического конфликта XXI в. с использованием приема «доминантного размежевания». В центре его – противоречие между «космополитами» и «коммунитаристами».

Бенефициарами создавшейся ситуации оказываются преимущественно популистские партии правого и левого толка в Европе. Преодоление этого конфликта без серьезного реформирования политики на национальном и субрегиональном уровне представляется автору проблематичным.

Статья Л.И. Никовской посвящена социологическому анализу политических конфликтов, исходя из которого автор делает вывод, что конфликтные взаимодействия, основанные на преобладании горизонтальных связей и отношений, более способствуют поддержанию динамического равновесия в обществе и реализации позитивного потенциала политического конфликта, чем классовые расколы и неравенства, тяготеющие к вертикальной поляризации общества. Именно это усиливает «разрывные» линии взаимосвязи «верхов» и «низов», делает жесткой дихотомию «господство» – «подчинение» и снижает возможности диалоговой пластичности и гибкости политической системы в современном мире.

Классическим способом урегулирования конфликтов являются переговоры. Если во второй половине XX в. международные переговоры получили интенсивное развитие, то в конце XX – начале XXI в. происходит спад переговорной активности и, соответственно, уменьшение количества исследований международных переговоров, что связано с рядом факторов. Статья М.М. Лебедевой посвящена их анализу.

Как известно, усложнение проблем современной политики расширяет предметное поле конфликтологии. Уже в 1990-е годы в ней обозначилась такая субдисциплина, как этнополитическая конфликтология. В статье В.А. Авксентьева, Б.В. Аксюмова и Г.Д. Гриценко рассматриваются теоретические и методологические аспекты политизации этничности и этнизации политики, анализируются основные зарубежные и отечественные подходы к изучению феномена политизации этничности и его воздействия на социальные процессы в целом.

Одним из значимых критериев различения современных конфликтов является уровень их протекания, что обусловило становление таких субдисциплин, как региональная конфликтология и исследование городских конфликтов. В статье В.И. Кольбы проведен анализ проблем концептуализации и менеджмента региональных и городских конфликтов. Автор замечает, что в течение 2010-х годов происходит существенное сокращение публичной

составляющей на региональном уровне и, напротив, ее оживление на уровне городов и городского управления.

В рубрике «Идеи и практики» представлены статьи авторов, которые откликаются на насущные проблемы современности и одновременно с их анализом выдвигают свои идеи относительно их решения. В своей статье Л.Н. Тимофеева доказывает, что институционализация публичной критики снижает градус насилия в обществе и создает условия для конструктивного диалога власти и оппозиции. Отношения власти и оппозиции в условиях цифровизации – тема статьи Х.А. Гаджиева. Автор критически смотрит на процесс «цифровизации» современных демократий, который автоматически не ведет к переходу от представительной модели власти к прямой. Однако отдельные элементы прямой демократии мы сегодня наблюдаем. С.А. Сергеев в своей статье доказывает, что концепция «агонистической демократии», выдвинутая Ш. Муфф, противостоит пониманию политического конфликта как антагонистического, стороны которого рассматривают друг друга не как непримиримых врагов, а как легитимных противников. Эта концепция нашла свою реализацию в дискурсивных стратегиях новых леворадикальных партий, появившихся в течение последних 10–15 лет в странах Западной Европы и в их символической политике.

В рубрике «Контекст» представлены статьи авторов, которые провели свои собственные исследования и постарались ответить на сложные вопросы нашего времени. Что происходит с внешним информационным давлением на Крым и Севастополь как регионы-мишени, осуществляемым с целью деконсолидации полуостровного сообщества, подрыва доверия его представителей к российской власти, и как противостоять этому вмешательству? Об этом рассуждает коллектив авторов в составе Е.В. Бродовской, А.Ю. Домбровской, Р.В. Пырмы, исследовавший этот вопрос в Крымском и Севастопольском сегментах Рунета.

Как происходит мобилизация и демобилизация в сетевом политическом протесте? Итогами своего исследования делятся А.В. Соколов и А.В. Палагичева. На основе данных мониторингового исследования они выявили особенности развития гражданского протестного активизма и использования мобилизационных технологий.

В рубрике «Ракурсы» авторы представляют свой взгляд на современные политические процессы. Эволюцию подходов стран

БРИКС к «ответственности по защите» изучают в своей статье С.А. Бокерия и Д.А. Сидоров. Подробный анализ конфликтов ценностей в правотворчестве, а также политико-правовой природы и эффективности охранных ордеров как инструмента профилактики семейно-бытового насилия дан в статье А.Л. Гуринской.

Надеемся, что номер, посвященный политической конфликтологии, ее современной научной повестке, теоретическому анализу политических противоречий, с которыми сталкивается сегодня человечество в целом и наша страна в особенности, будет интересен и полезен нашим читателям.

Л.Н. Тимофеева

СОСТОЯНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

А.В. ГЛУХОВА*

ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ В ГЛОБАЛЬНУЮ ЭПОХУ (К ПРОБЛЕМЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ)

Аннотация. Статья посвящена обоснованию и исследованию основного политического конфликта XXI в. с использованием приема «доминантного размежевания», разработанного К. Марксом. Автор статьи применяет этот методологический прием к анализу современных европейских обществ, находящихся в процессе глобализации и сталкивающихся с порождаемыми ею противоречиями. Базовые конфликтные линии (фундаментализм / космополитическая толерантность) были выявлены европейскими и американскими интеллектуалами (Р. Дарендорфом, Э. Гидденсом, С. Хантингтоном) еще в конце XX в. Сегодня западные исследователи (В. Меркель, М. Цюрн) фиксируют новый кливаж, условно обозначаемый как противоречие между «космополитами» и «коммунистами». Это противостояние раскалывает современные демократии по нескольким линиям: отношению к границам, к международным структурам, к правилам свободной торговли, к правам человека, к изменению климата. Подчеркивается, что отношения между населением и космополитическими элитами также отмечены острым конфликтом, в основании которого лежит не только экономическое измерение (проигравшие / выигравшие от глобализации), но также измерение культурное и моральное. Острота конфликта обусловлена именно совмещением, наложением нескольких линий размежеваний (экономической, политической, культурной и моральной). Бенефициарами создавшейся ситуации оказываются преимущественно популистские партии правого и левого толка, демонстрирующие электоральные успехи в ряде европейских стран. От этаблированных партий, особенно левого фланга политического спектра (социалистов, социал-

* Глухова Александра Викторовна, доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой социологии и политологии, Воронежский государственный университет (Воронеж, Россия), e-mail: avglukhova@mail.ru

демократов), требуется серьезное переосмысление своей стратегии и тактики с целью вернуть разочарованных в их позиции избирателей. Преодоление конфликта без серьезного реформирования европейской политики на национальном и субрегиональном уровне представляется проблематичным.

Ключевые слова: глобализация; политический конфликт; кливаж; доминантное размежевание; популизм; повестка дня; политическая конфликтология.

Для цитирования: Глухова А.В. Политические конфликты в глобальную эпоху (К проблеме теоретической идентификации) // Политическая наука. – 2020. – № 3. – С. 13–33. – DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.03.01>

Конфликт как научный концепт долгое время был обделен вниманием в рамках социальной теории. Как отмечает К. фон Байме, главенствующую роль в объяснении природы общества долгое время играли интеграционные и консенсусные модели, полые формы которых заполнялись сословно-иерархическими категориями. Конфликт в рамках такой модели рассматривался преимущественно как системный изъян. Страх перед общественными расколами был настолько силен, что «в сомнительных случаях тирания казалась более приемлемой, чем партийный конфликт» [Beume, 1992, S. 193]. Понимание важной роли партийного плюрализма пришло только с началом Нового времени, одним из первых, кто поднял эту тему, был Н. Макиавелли. Однако история дискриминации партий как субъектов политических конфликтов простиралась вплоть до XX столетия [Beume, 1992, S. 193].

История становления конфликтологического знания отчетливо демонстрирует тесную взаимосвязь между происходившими общественными процессами и их осмыслением в рамках той или иной научной парадигмы. Бурные, кризисные этапы в общественном развитии, как правило, выдвигали феномен конфликта в центр научного интереса. Возникшая в середине XIX в. марксистская модель классового конфликта была отражением тех общественных противоречий, которые возникли в Европе на волне промышленной революции. Сложившиеся в социальной структуре европейских обществ новые классовые деления стимулировали политическую мысль к разработке иного образа будущего, свободного как от эксплуатации, так и от отчуждения, разрывавшего ткань общественной солидарности. Выход в новое социальное пространство виделся через революционный разрыв с прошлым. Несмотря на сдержанное отношение к теории К. Маркса на Западе, его диагно-

стика основного конфликта XIX в. (как *доминантного размежевания*) признается ценным методологическим приемом в анализе политических конфликтов. Несмотря на различия в изначальных методологических подходах, принцип доминантного размежевания применительно к новым условиям середины XX в. развил Р. Дарендорф, вернув понятию «класс», сведенному М. Вебером к элементу социальной стратификации, его изначальный смысл аналитической категории, характеризующей принудительный характер общественной интеграции [Дарендорф, 2002, с. 427].

Социальные потрясения «третьей волны демократизации» в последней трети XX в. переадресовали внимание ученых на условия сохранения управляемости системы в ходе политической трансформации. В центре внимания оказались вопросы институционализации политических конфликтов, выработки правил политической игры и консолидации общества на новой, демократической основе [Дарендорф, 1994; Merkel, 2010].

В целом же конфликтологическая парадигма мировосприятия исходила и исходит из того, что конфликт является нормальным, естественным феноменом общественной жизни и принципиально не поддается устранению. Более того, политики без конфликта не бывает: последней имманентно свойственна нестабильность, определяемая непрочностью социальных отношений, проблематичностью всякого социального устройства, возможностью продвигать новые вопросы в политическую повестку дня, оспаривать статус-кво и т.д. [Глухова, 2010].

Провозглашенный Ф. Фукуямой «конец истории» на самом деле стал началом новой конфронтационной эры, по спектру своих угроз политической безопасности и рисков не уступающей временам холодной войны. Как и предыдущие периоды обострения внутри- и межгосударственных отношений, новая всемирно-политическая трансформационная фаза принесла с собой новые возможности и новые вызовы. Стало очевидным, что благополучие и стабильность государств в гораздо большей степени будут зависеть от экономических факторов, нежели от арифметики классических военно-стратегических величин политики безопасности¹.

¹ *Wandering Thomas M. Ursachen von Konflikten und Kriegen im 21. Jahrhundert // Aus Politik und Zeitgeschichte. – 2001. – Mode of access: <https://www.bpb.de/apuz/26277/ursachen-von-konflikten-und-kriegen-im-21-jahrhundert> (accessed: 02.05.2020)*

В то время как индустриальные государства выигрывали от глобализации, большое число стран третьего мира ежегодно несло экономические и политические потери. Становился отчетливым устойчивый тренд растущей дифференциации в доходах богатых и бедных.

Оценки нынешней ситуации также исполнены тревоги. По мнению Г. Киссинджера, «мы живем в исторический период, когда налицо упорная, временами почти отчаянная погоня за ускользающей от общего понимания концепцией мирового порядка» [Киссинджер, 2017, с. 10]. Человечеству угрожает и хаос, и беспрецедентная взаимозависимость, а стремительное внедрение новых технологий грозит усугубить и обострить привычные конфликты. Разные части света как никогда прежде объединены новыми способами обработки и передачи информации, однако полноценное ее осмысление отстает от темпов и объемов. От государственных деятелей требуется моментальная реакция, возникающая не всегда. «Неужели мы вступаем в новый период, когда будущее станут определять силы, не признающие ни ограничений, ни какого-либо порядка вообще?» [Киссинджер, 2017, с. 10]. Три десятилетия спустя после окончания холодной войны человечество вступило в новую фазу конфронтации и гонки вооружений «в условиях глубоко изменившегося миропорядка, революционных прорывов в области военных технологий и с новым поколением политических лидеров и элит, пораженных недугом национализма, милитаризма и исторического невежества, — констатирует А. Арбатов. — Их разум затуманен ажиотажем по поводу экзотических вооружений, желанием рассчитаться за прошлые обиды или набрать очки в грядущей “большой игре” на грани войны» [Арбатов, 2019, с. 28]. Резко возрос спрос на политиков, обладающих волей и мужеством, но сегодня такие качества редки.

Глобализация как новая повестка истории

Парадигмальную объяснительную рамку в анализе современных политических конфликтов задает концепт *глобализации*, отражающий новое качество общественных отношений, взаимосвязанных и взаимозависимых. По словам Р. Дарендорфа, «на обозримое будущее феномен глобализации станет определять повест-

ку истории» [Dahrendorf, 2004, S. 236]. 1989 год стал не только символом разрушения железного занавеса в Европе, но и освободил пространство для действия тех экономических, политических, общественных сил, которые почти одним ударом завоевали весь мир. Важно оценить проблематичность последствий действия этих сил для понимания вероятных конфликтов будущего.

Глобализация стала господствующей темой в тот исторический момент, когда прежние понятия (первый и второй мир, соперничество двух систем, третий мир и т.д.) потеряли свою силу. Из-за глобальных трендов создаются заново и одновременно ослабевают национальные государства. Даже такие могущественные страны, как США, в одиночку не могут регулировать финансовые рынки, бороться с изменением климата и т.д. Сменившие прежнюю биполярную модель региональные блоки в Азии, Европе и Америке представляют собой, прежде всего, экономические союзы. Но в свете глобальных трендов очевидно, что они создаются для защиты своих членов от всех остальных. Эта цель становится еще яснее, когда в игру вступают политические мотивы и расчеты. Возникающие в связи с этим многочисленные вопросы остаются без ответа в калейдоскопическом мире, в котором создаются и быстро распадаются новые формы альянсов, без четкого образца или ясной цели.

Вместе с тем некоторые цели получили свою идеологическую маркировку. Так, С. Хантингтон в своей знаменитой книге указал на то, что мировые религии, прежде всего христианство и ислам, формируют основу для нового антагонизма с большим потенциалом политических и даже вооруженных конфликтов. На рубеже веков отчетливо различима эта противоположность, если не столкновение глубоко секуляризованного христианства и нового ортодоксального ислама. Многие насильственные столкновения с исламистскими силами на разных континентах сегодня затрагивают не только христианство, но и индуизм, иудаизм и т.д. [Хантингтон, 2003].

Другая перспектива интерпретации природы этого конфликта позволяет видеть в нем противостояние секулярных и фундаменталистских убеждений. Если секуляризованные общества отдают Богу Богово, а кесарю – кесарево, то фундаменталисты действуют «интегристски», т.е. исходят из того, что предписания религии должны распространяться на все сферы общественной

жизни. В то время как в секуляризованных обществах люди могут получать экономическую выгоду от мировой экономики как частные лица, фундаменталистские общества сохраняют старые формы совместного хозяйствования и господства как плату за экономические неудачи [Dahrendorf, 2006].

Эти линии расколов пересекаются с новыми политическими кливажами, содержащими в себе семена будущих конфликтов. Демократия не является неоспоримой ценностью даже для тех, кто имеет выбор. Демократия и господство права все чаще преподносятся как неоимпериалистические ценности европейского и американского происхождения. «Азия, которая может сказать нет», — это сегодня один из слоганов авторитаризма, в котором элиты гарантируют подданным благополучие в обмен на политические свободы. Как и в случае с религией, конфликт между авторитаризмом и демократией проходит не только между странами, но и внутри каждой из них. Испытания авторитаризма заметны также в Европе и в Америке, в то время как многие жители Азии верят в демократию и власть закона. «Отсюда новые битвы являются одновременно интранациональными и интернациональными, и остается открытым вопрос, кто, в конце концов, победит» [Dahrendorf, 2004, S. 241].

Когда возникли новые конфликтные фронты, повседневную жизнь начала определять еще более глубокая проблематика — аномия, дезинтеграция, распад связующих норм. Социальное исключение приобретает интернациональный радиус действия. Понятие «третий мир» до сих пор адресовалось только Африке, ставшей символом исключения, но сегодня «африканцы» есть во всех частях света. Теневая сторона глобального мира — нищета и болезни. Ученые солидарны во мнении, что и в богатых странах мира значительная часть населения потеряла контакт с рынком труда, с политической общиной, с социальным участием. Эти люди ведут нищенский и зачастую преступный образ жизни на обочине социума, и нет никаких экономических побуждений к тому, чтобы снова интегрировать их в общественную жизнь [Dahrendorf, 2003].

Международный порядок все чаще сталкивается с парадоксом: его успешность зависит от торжества глобализации, но сам этот процесс порождает политическую реакцию, которая часто идет вразрез с его устремлениями. «У менеджеров экономической глобализации мало оснований и возможностей заниматься поли-

тическими процессами, – считает Г. Киссинджер. – Еще меньше стимулов у тех, кто управляет политическими процессами: зачем рисковать имеющейся поддержкой внутри страны, приближая экономические или финансовые проблемы, сложность которых в состоянии понять разве что эксперты?» [Киссинджер, 2017, с. 479]. Справедливым дополнением к этим словам становится вывод У. Бека о том, что у глобализации не оказалось политической программы: возникает глобально дезорганизованный капитализм, но не существует никакой гегемонистской власти и никакого международного режима – ни экономического, ни политического. «Функционирующая в глобальных масштабах экономика подрывает основы национальной экономики и национальных государств. Тем самым открывается путь субполитизации совершенно нового размаха и с непредсказуемыми последствиями» [Бек, 2001, с. 10–11]. Глобализация оказалась политически неоформленной: глобальный неолиберализм элиминировал политическое начало, сведя его к рыночному экономизму. Массы людей, проигравших от глобализации, не улавливаются сетью политического восприятия.

Поэтому социальный конфликт XXI в. выглядит совсем не так, как классовая борьба позапрошлого века. Возникает индивидуализированная версия старых противоборств. Если внутри стран повестку дня определяют проблемы права и порядка, то в международном плане терроризм ставит под вопрос все допущения безопасности. Это означает, что новые конфликты в своей сущности будут скорее моральными, чем экономическими: в них речь идет о ценностях, консолидирующих общества, об их благосостоянии и распределении. Люди потеряли ориентиры в этих глобальных процессах и ищут их внутри маленьких, родных общин. Тотальная открытость пробудила тотальный запрос на закрытость (Карл Поппер называл это «возвращением к родовому существованию»); отсюда новый регионализм, содержащий элементы племенного чувства.

По мнению Р. Дарендорфа, большие конфликты XX в. исчерпаны. «Описываемые в социальных категориях классовой борьбы, в экономических понятиях конфликтов между рынком и планом, в политических понятиях противоположности современных и досовременных форм правления или в международных категориях войн между первым и вторым (а возможно, и третьим) миром они больше не описывают новую реальность мира, ставшего

глобальным. Драма истории в наступившем столетии с высокой степенью вероятности найдет для себя другие темы» [Dahrendorf, 2004, S. 243]. Ими могут стать национализм и фундаментализм как технология массовой мобилизации в руках тех, кто постарается использовать их для удовлетворения собственной жажды власти.

Новые общественные расколы

Последствия глобализации вновь актуализировали вопрос о доминантном размежевании, или о новом основном конфликте XXI в. К. Маркс исходил из объективной, структурной принадлежности лиц наемного труда к «рабочему классу», объединенному условиями производства и выступавшему в политических конфликтах XIX в. как единое целое. Сегодня же не столько социальная стратификация, сколько отнесение индивидом себя к той или иной общественной группе, самоидентификация становится определяющим фактором для политической мобилизации. Перед исследователями новых линий политических конфликтов в современном обществе и, более того, новой трактовки политического встает непростая задача сочетания классических исследовательских подходов с более тонкими приемами постижения внутреннего мира человека в плане ментальных особенностей, когнитивных и символических предпочтений и т.д.

К числу приоритетных исследований подобного рода можно по праву отнести масштабный проект «Политическая социология о космополитизме и коммунитаризме», выполненный в научном Центре социальных исследований в Берлине. Проект был посвящен исследованию того, как глобализация влияет на конфликтные линии (кливажи), разделяющие современные западные общества¹.

¹ Руководителями проекта выступили В. Меркель, директор отдела «Демократия и демократизация», и М. Цюрн, директор отдела «Глобальное управление», научный Центр социальных исследований (Берлин). В качестве эмпирической базы принимались во внимание различные уровни политики: от национального до регионального (анализ дебатов в Европарламенте) и глобального (анализ дискуссий в Генеральной ассамблее ООН). Были исследованы различные установки, идеологии, менталитеты или хабитуальные констелляции, включая опрос элит; изучены партийные программы и высказывания в публичных дебатах, предпринят анализ содержания газет. На уровне коллективных ак-

Авторы определяют основной конфликт нашего времени как противостояние между «коммунитаристами» и «космополитами». На основе проведенного в пяти западных странах¹ масштабного и многопланового социологического исследования предпринята попытка найти ответ на вопрос: справедлив ли вывод о том, что прежний основной конфликт капитала и труда уступил место новому основному конфликту – социальному, культурному и политическому?

Первым выводом, подтвердившим изначальную гипотезу ученых, был вывод о том, что конфликт между капиталом и трудом, характеризовавший европейские общества в XX в., сегодня является далеко не единственным, и тем более – не динамическим конфликтом. Новые конфликтные линии, оставаясь отчетливо определенными в социально-экономическом плане, имеют тем не менее существенно иные социокультурные черты. Отчетливо выделяются два идеал-типических противостоящих друг другу лагеря, которые можно обозначить как «космополитов» и «коммунитаристов». Ни тот ни другой лагерь нельзя однозначно оценивать в этических категориях, но в случае формирования конфликтного раскола по какому-либо основанию мобилизация в него политических акторов происходит именно по этой дифференцирующей линии. Кроме того, дополнительно требуется идеология, снабжающая конфликт объясняющим нарративом. Иными словами, изменение в политико-экономической и общественной реальности приносит с собой новые констелляции интересов, которые выражаются в определенных идеологических или культурных мировоззрениях.

Известно, что в основании каждой новой линии расколов лежат социальные революции. Противоречие «капитал – труд» было порождено индустриальной революцией; раскол христианства на две конфессии лежал в основе религиозного конфликтного

торов, т.е. партий, институтов гражданского общества, был проведен дискурс-анализ текстов. 16 больших медиа были исследованы в цифровом формате. Получена хорошая картина того, как позиционируются в открытом публичном дискурсе отдельные партии или организации, подобные профсоюзам и церкви. В стремлении понять новые конфликтные структуры ученые попытались связать воедино различные подходы.

¹ Германия, Польша, Турция, Мексика и США – в качестве контрастного случая.

кливажа. Глобализация также принесла победителей и побежденных, хотя это разделение не стоит понимать лишь в чисто экономическом смысле. Экономическое измерение, несомненно, присутствует, неравенство возникло как внутри консолидированных западных демократий, так и в глобальном масштабе, но выявились победители и проигравшие также в культурном и политическом плане. Наложением нескольких линий расколов (экономической, политической, культурной, моральной) и объясняется нынешняя интенсивность и острота этого конфликта.

Методология выделения кливажей С. Липсета и С. Роккана, включавшая четыре основных раскола, сопровождавших процесс формирования национальных государств в Европе [Rokkan, 2000], сегодня получает другое наполнение, сообразно иным противоречиям, порожденным глобализацией.

Первая из них касается проблемы открытости общества, или в более приземленном варианте – сохранения либо обесценивания границ. Вопрос, мотивирующий и раскалывающий людей, звучит следующим образом: нужно ли контролировать границы, закрывать их или, напротив, открывать? Здесь отражается нормативное противоречие между коммунитаристской и космополитической философией. Коммунитаристы хотят контроля над границами, космополиты ориентированы на открытость. Рядом с главным вопросом появляются новые: нужно ли делегировать суверенитет европейским или международным институтам? Что важнее: национальный суверенитет и воля большинства внутри страны или права человека и права меньшинств? Показательно, что границы мыслятся не между этносами или религиями, но между политическими единствами, которые могут быть культурными, религиозными, плюралистическими и т.д.

Условный коммунитаризм в его нынешних вариациях не является однородным. Представитель философского коммунитаризма М. Уолцер исходит из того, что каждый человек, родившийся в определенной культуре, полностью в нее вовлечен, и все его нормативные убеждения культурно обусловлены [Уолцер, 1999]. А. Этциони, представляющий политический коммунитаризм, полагает, что демократия существует лишь там, где люди живут и действуют в обозримых республиканских сообществах, на основе общей политической культуры и вне зависимости от религии [Этциони, 2004].

Анализ индивидуальных позиционирований позволил немецким ученым выявить их взаимосвязь с названными нормативными предписаниями, своего рода политическими протоидеологиями, поскольку эти установки систематически сходятся в одну точку и располагаются в идейном континууме «либерализм – социализм».

Одной из самых зримых разделительных линий, обнаруженных учеными во всех пяти исследуемых странах, стала та, что *элиты склоняются преимущественно к космополитическим позициям*. При этом выявились и зависимости: чем дальше элиты или институты отдалены от прямой ответственности перед избирателями, тем очевиднее тенденция движения их к космополитической позиции (примерами могут служить Еврокомиссия или Генассамблея ООН). И наоборот, чем больше элиты подлежат прямой ответственности перед избирателями и национальными парламентами, тем больше они будут тяготеть к коммунитаристским позициям. Близость к институтам, отражающим волю большинства, т.е. к политическим партиям или парламентам, предопределяет движение к центру в вопросе «космополитизм / коммунитаризм». Вместе с тем представители немажоритарных институтов, т.е. центральных банков или конституционных судов, заметно склоняются к космополитической позиции. Такие люди готовы передать национально-государственные компетенции на уровень Евросоюза.

Иными словами, на уровне индивидуальных установок относительно *границ, торговли, прав человека, Евросоюза и изменения климата обнаруживается острый конфликт между элитами и неэлитами*. Перемещение политических компетенций и решений от партий и национальных парламентов к европейским институтам и усиление немажоритарных институтов вроде центральных банков, конституционных судов или европейских институтов с 1980-х годов облегчили определенным группам доступ к политическому участию, в то время как другие группы не получили такого доступа и чувствуют себя исключенными. *И здесь проходит политический кливаж между победителями и проигравшими от глобализации*. Многие, желавшие использовать свое избирательное право как средство оказания влияния на принимаемые решения, проиграли потому, что их избирательное право потеряло свое значение.

Таким образом, существует ясная взаимосвязь между космополитическими элитами и их привилегированной экономической и

социальной позицией. На другой стороне тенденциозно оказались нижние слои общества, проигравшие от глобализации и представляющие менее компактный лагерь. Широкие слои населения далеки от космополитических позиций, в том числе в вопросе национального суверенитета государства. При этом в лагере коммунитаристов обнаруживается много гибридных позиций (например, культурные границы открыть, но экономические – закрыть). Этот вопрос оказывается центральным, поскольку акцентирование границ можно трактовать и в гражданском, и в этническом варианте. Кроме того, понятие коммунитаризма пока не вполне ясно определено. Эмпирические наблюдения показывают, что коммунитаристские варианты очень часто и в большинстве своем идут рядом с этническим толкованием общины и тем самым – с границами. Но существует и левый коммунитаризм, определяющий нацию как гражданское сообщество людей, проживающих под защитой государства шведского образца. *Иными словами, это не только культурная, но и социально-экономическая линия конфликта.*

Вместе с тем культурные индикаторы проявляют себя сильнее экономических. Это отчетливо видно по той социальной группе, члены которой экономически относительно благополучны, однако по культурным причинам чувствуют себя некомфортно, поскольку космополитический город предъявляет к ним чрезмерные требования. На новом этапе истории реанимируется старая противоположность между городом и деревней в плане электорального поведения. Достаточно напомнить, что кандидат в президенты США от Демократической партии Х. Клинтон в 2016 г. получила свыше 80% голосов избирателей в крупных городах и существенно меньше – в американской глубинке. Этот результат нельзя объяснить только экономическими причинами: среди сторонников Х. Клинтон также немало бедных людей, но они не отдали свои голоса правому популисту и антиглобалисту Д. Трампу.

Структурные особенности современных развитых обществ и количественные показатели, полученные немецкими учеными в ходе выполнения проекта, позволяют сделать вывод, что выделенная ими генеральная линия основного конфликта нашего времени релевантна для всех стран, с учетом известной специфики последних. Более того, установки немецкого населения позволяют фиксировать обостряющийся тренд разделения общества на четыре четверти. «Старые» левые (СДПГ и партия «Новые левые»), по

данным опросов, обладают потенциалом приблизительно в 25%; у «старых» правых партий (ХДС / ХСС) примерно такая же картина. Столь же высоким видится потенциал обоих партийно-политических представительств новых конфликтных линий: зеленых как самых последовательных космополитов, и «Альтернативы для Германии» как этнического варианта коммунитаризма. Эти «четыре четверти», по мнению В. Меркеля и М. Цюрна, можно рассматривать как формулу будущей партийной системы Германии¹.

Отныне формирование немецкой политики становится более трудным делом, чем прежде, поскольку общественные кливажи принуждают политиков создавать различные коалиции, которые вряд ли окажутся стабильными. Однако есть надежда на то, что если три четверти населения занимают одинаковые позиции в рамках либеральной демократии, то последняя имеет все шансы справиться с возникшими проблемами.

Популизм как «грязный вариант» коммунитаризма

Производной таких политических тенденций становится популизм, имеющий электоральный успех в ряде европейских стран. Торжеству последнего в Польше и Венгрии способствует не только неприязнь к либеральным элитам, отождествляемым в сознании большей части населения с тяготами и невзгодами системной трансформации 1990-х годов, но и слабость левой альтернативы национально-консервативным правительствам. Левые партии во многом отказались от свойственной им классовой оптики общественных отношений и требований справедливого распределения общественных благ, что и стало главной причиной их исторического поражения. Ныне авторитарная мобилизация захватывает также и привилегированные группы, однозначно выигравшие от неолиберальных реформ последних десятилетий [Gdula, 2018]. Тем самым правящие популистские партии имеют все основания утверждать, что они не привязаны электорально к какому-либо одному классу или группе избирателей, но добиваются соединения

¹ Die neue Konfliktlinie und die Rolle des Politischen. Gespräch mit Wolfgang Merkel, Michael Zürn. – 2020. – Mode of access: <https://www.frankfurter-hefte.de/artikel/die-neue-konfliktlinie-und-die-rolle-des-politischen-2750/> (accessed: 02.05.2020)

разных интересов в рамках политического большинства [Populismus, 2006].

В стабильных западных демократиях, где правопопулистские партии заметно укрепились, но не стали частью правительственных коалиций, они опираются на существенный авторитарный потенциал, фиксируемый в этих странах еще с 1980-х годов. Не случайно эти партии повсюду достигают поддержки от 15 до 25% избирателей. Это немало с учетом возможности обретения ими правительственного портфеля.

Вместе с тем по отдельным вопросам между «коммунитаристами», выступающими объектом политической «вербовки» со стороны правопопулистских партий, нет монолитного единства. Напротив, существует сильная дифференциация, благодаря которой у правых популистов нет прочной коалиции, надежного блока. Многие недовольные избиратели, не чувствующие себя представленными ни в культурных дискурсах, ни в экономических объединениях, отворачиваются от эстаблированных партий, однако «чистый» космополит или «чистый» коммуитарист – это, скорее, идеал-типическая конструкция¹.

«Если поставить вопрос о том, сколько процентов людей высказываются против Европы, за национальный суверенитет, за сильное значение воли большинства и за контролируемые границы, и, наоборот, за открытые границы, за Европу, за либеральное ограничение демократии большинства и за определенную защиту прав меньшинств, то, подозреваю, что пропорция будет 25% на 75%, – отмечает М. Цюрн. – Эти первые 25% и есть потенциал для правового популизма»².

Однако конфликт может сильно поляризоваться, если среди коммуитаристов начнут доминировать нетолерантные правопопулистские элементы, демонстративно возводящие границу по отношению к эстаблированным политическим партиям. Вместе с тем отграничиваться от этих сил все сложнее: в ряде европейских

¹ Когда 80% избирателей «Альтернативы для Германии» в опросе после выборов отвечают, что не представляют себе программу этой партии и выбрали ее в качестве «черной метки», посланной другим партиям, то и другие избиратели, вероятно, занимают такие же промежуточные позиции.

² Die neue Konfliktlinie und die Rolle des Politischen. Gespräch mit Wolfgang Merkel, Michael Zürn. – 2020. – Mode of access: <https://www.frankfurter-hefte.de/artikel/die-neue-konfliktlinie-und-die-rolle-des-politischen-2750/> (accessed: 02.05.2020)

стран правые популисты прямо или косвенно принимают участие в формировании правительств.

Актуальной задачей становится кропотливая работа с электоратом правых популистов, отказ от высокомерия и нарциссизма, нередко демонстрируемого космополитическими элитами. Это позволило бы перетянуть на свою сторону многих избирателей, которые поддерживали правопопулистские партии из чувства протеста. Вместе с тем для многих западных политиков и интеллектуалов очевидна невозможность кооперирования и создания коалиций с этими партиями, что сделало бы их жизнеспособными в среднесрочной перспективе, как это произошло с С. Курцем в Австрии или Дж. Конте в Италии. И тот факт, что самая мощная держава мира, США, сегодня управляется президентом с однозначно популистскими манерами и стратегиями, укрепляет правый популизм.

Дополнительную напряженность в уже оформившийся раскол вносит его моральное измерение: космополиты претендуют на то, что является нормативной элитой, задающей образцы «правильной» жизни в пример тем, кто живет «неправильно». Однако дело не в моральных инвективах по поводу фальшивого образа жизни, а в столкновении культур, представители одной из которых – в силу моральной дискриминации – чувствуют себя презираемыми. Как показало движение «желтых жилетов» во Франции, «невидимые» или социально игнорируемые слои общества больше не готовы добровольно играть роль покорных управляемых¹. «Люди из социальных низов изобретают новый образ политики, направленной против институциональной политики и политического истеблишмента, обрисовывая новый горизонт общности и обыденной политики, которая “дело всех”, в том числе простых и обычных людей (народ в смысле *populus*)», – пишет К. Клеман². Равнодушие к этому вызову партий истеблишмента лишит их потенциальных избирателей, поскольку подтолкнет новых «отверженных» в ряды право- или левопопулистских движений. В актуальную повестку дня встает крайне сложный вопрос: возможно ли новое объединение этих людей – в культурном, общественном, экономическом

¹ Клеман К. «Желтые жилеты», «ватники»: солидарность, политическое воображение и социальная критика // Новая газета. – № 134. – 29 ноября. – Режим доступа: <https://novayagazeta.ru/articles/2019/11/29/82929-etot-mir-perevernut-s-nog-na-golovu-i-my-hoteli-by-vernut-ego-obratno> (дата посещения: 02.05.2020)

² Там же.

плане? Каким образом развернуть в конструктивную сторону острую чувствительность людей, ощутивших себя исключенными и непризнанными?

Запрос на возвращение политики

Ответ на эти вопросы европейские интеллектуалы ищут и находят в рамках проверенных историческим опытом принципов и процедур. Нужно обеспечить больше соревновательности, больше открытого спора в политике, в том числе в международных, европейских и неамажоритарных институтах, тем более что через укрепление последних демократия теряет свою силу на национальном уровне. Опция, делающая демократию сильной, – это возможность поднять голос и сказать: «Я хочу другую политику!». «Решающей причиной для чувства исключенности является не то, что конкретные политики чего-то не могут, но то, что непонятно, как эту политику можно изменить. Возникает впечатление, что те, кто наверху, делают, что хотят. И отсюда, конечно, снова гарантированное разделение между партиями», – констатирует В. Меркель¹.

Наряду с символическим и материальным признанием должны последовать политические реформы: обеспечение доступа к реальному политическому участию, более четкие политические разграничения, более точное определение партиями своей социальной базы, своей идейной платформы и т.д. В последние десятилетия процесс демократизации развивался в либеральном духе с сильным акцентом на защиту прав меньшинств. Это безупречно с нормативной точки зрения, однако излишняя концентрация на меньшинства с отчетливо выраженным пренебрежением в адрес большинства стала серьезной ошибкой.

Народные партии должны также озаботиться тем, чтобы прекратить бессмысленную борьбу за середину, и снова вспомнить о том, что они имеют левое или правое корневое ядро. И им нужно сильнее маркировать эту дифференциацию. Иначе говоря, социал-демократы должны далее двигаться влево в экономическом плане,

¹ Die neue Konfliktlinie und die Rolle des Politischen. Gespräch mit Wolfgang Merkel, Michael Zürn. – 2020. – Mode of access: <https://www.frankfurter-hefte.de/artikel/die-neue-konfliktlinie-und-die-rolle-des-politischen-2750/> (accessed: 02.05.2020)

но в космополитических вопросах не пытаться переиграть «зеленых». На стороне коммунитаристов – отчасти низкоквалифицированные люди, прекариат, для кого общественное, материальное и символическое признание их рабочих позиций очень значимо. И это как раз область деятельности для социал-демократических партий, сильнее всего проигравших, по крайней мере в Германии, Франции, Польше и в ряде других стран. Они должны активнее работать с этими слоями. Вернуть их сегодня сложнее, чем 30 лет назад, когда общество еще не состояло из четырех четвертей. Становятся неизбежными большие коалиционные правительства из различающихся партий, обуславливающих сильное давление, принуждение к компромиссу.

В политике вновь возникает острая необходимость в компромиссах, особенно между договороспособными космополитами и неидентифицированными коммунитаристами. Одной из главных разграничительных линий между ними остается проблема миграции. Великодушие в плане предоставления убежища, свойственное современным открытым обществам, не должно приводить к полному отказу от контроля над границами. Резолюция Генеральной ассамблеи ООН относительно того, что изгнание не имеет внешних границ, не означает, что нельзя противостоять сильному потоку беженцев, среди которых на политическое убежище могут претендовать не более 1%¹.

Взвешенная и аккуратная позиция относительно открытия границ должна проявляться и в экономике. Международное разделение труда в конечном счете приносит большие конкурентные преимущества в виде возможностей влиять на мировые правила экономического соперничества, получение доступа к современным технологиям и т.д., однако и в этом случае границы должны строго контролироваться. Перенесение национально-государственных суверенных прав на уровень Евросоюза разумно лишь при условии решительной демократизации последнего. Правильным решением стало бы публичное обсуждение политических вопросов как в отдельных странах, так и на уровне европейского сообщества в целом, находя для таких дискуссий новые формы и аргументы.

¹ *Иноземцев В.* Про правых, миграцию и ЕС // Intersection: Russia/Europe/World. – 2016. – 13 янв. – Режим доступа: <http://intersectionproject.eu/ru/article/russia-europe/pro-pravyh-migraciyu-i-es> (дата посещения: 02.05.2020)

Заключение

В рамках национальных государств демократия рассматривается как зрелая институциональная система, в которой возможность высказываться по поводу тех или иных решений, затрагивающих интересы людей, имеют все желающие. Но есть много вопросов, по которым национально организованная парламентская демократия позволяет высказываться не всем. При обсуждении глобальных вопросов, так или иначе затрагивающих всех, политические границы больше не помогут, а национальные решения могут оказаться неэффективными. На национальном уровне не решить проблемы изменения климата, регулирования финансовых рынков или противодействия масштабным эпидемиям. Однако вопрос о том, как грамотно распределить компетенции в принятии решений, чтобы последние достигали эффекта, укрепляли бы государство благосостояния и его налоговый базис, пока остается открытым. Институты демократии сами остро нуждаются в демократизации.

Выигравшие и проигравшие от глобализации все еще остаются как бы сидящими за разными столами. «Добиться какого-то равновесия между ними трудно хотя бы уже потому, что отсутствуют рамки общности, в которых можно было бы локализовать и урегулировать этот выходящий за границы национального государства конфликт», – отмечал У. Бек [Бек, 2001, с. 20]. Решение лежит в политической сфере: политика должна вернуть себе право формировать представление об общем благе и ориентировать общество на его достижение, отобрав лидерство у экономического глобализма и не отдавая инициативу культуре.

Список литературы

- Арбатов А.Г. Диалектика судного дня: гонка вооружений и их ограничения // Полис. Политические исследования. – 2019. – № 3. – С. 27–48. – DOI: <https://doi.org/10.17976/jpps/2019.03.03>
- Бек У. Что такое глобализация? / пер. с нем. А. Григорьева, В. Седельника. – М.: Прогресс-Традиция, 2001. – 304 с.
- Глухова А.В. Политические конфликты: основания, типология, динамика (теоретико-методологический анализ). – Изд. 2-е. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. – 280 с.

- Дарендорф Р.* Размышления о революции в Европе // Путь. Международный философский журнал. – 1994. – № 6. – С. 37–127.
- Дарендорф Р.* Тропы из утопии / пер. с нем. Б.М. Скуратова, В.Л. Близнекова. – М.: Праксис, 2002. – 536 с.
- Киссинджер Г.* Мировой порядок. – М.: Издательство АСТ, 2017. – 512 с. – (Геополитика).
- Уолцер М.* Компания критиков: социальная критика и политические пристрастия XX века: пер. с англ. – М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999. – 360 с.
- Хантингтон С.* Столкновение цивилизаций / пер. с англ. Т. Велимеева, Ю. Новикова. – М.: ОАО «Издательство АСТ», 2003. – 332 с.
- Этциони А.* От империи к сообществу: новый подход к международным отношениям / пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. – М.: Ладомир, 2004. – 384 с.
- Веуте К. von.* Die politischen Theorien der Gegenwart. Eine Einführung. – Opladen: Westdeutscher Verlag, 1992. – 259 S.
- Dahrendorf R.* Auf der Suche nach einer neuen Ordnung. Eine Politik der Freiheit fuer das 21. Jahrhundert. – München: Verlag C.H. Beck, 2003. – 157 S.
- Dahrendorf R.* Der Wiederbeginn der Geschichte. Vom Fall der Mauer zum Krieg im Irak. Reden und Aufsätze. – München: C.H. Beck Verlag, 2004. – 350 S.
- Dahrendorf R.* Versuchungen der Unfreiheit (Die Intellektuellen in Zeiten der Prufung). – München: C.H. Beck Verlag, 2006. – 239 S.
- Gdula M.* Nowy autorytarizm. – Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2018. – 112 s.
- Merkel W.* Systemtransformation. Eine Einführung in die Theorie und Empirie der Transformationsforschung. – Wiesbaden: VS Verlag für Socialwissenschaften, 2010. – 561 S.
- Populismus. Gefahr für die Demokratie oder nützliches Korrektiv? / Hrsg. von F. Decker. – Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2006. – 252 S.
- Rokkan S.* Staat, Nation und Demokratie in Europa. Die Theorie Stein Rokkans aus seinen gesammelten Werken rekonstruiert und eingeleitet von Peter Flora. – Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2000. – 500 S.

A.V. Glukhova*

**Political conflicts in the global era
(theoretical approach implementation)**

Abstract. The paper is devoted to the main political conflict issue in the 21 st century using the «dominant demarcation» approach of K. Marx. The author of the article applies this methodological technique to the analysis of modern European societies that are in the process of globalization and were faced with new contradic-

* **Glukhova Alexandra**, Voronezh state university (Voronezh, Russia), e-mail: avglukhova@mail.ru

tions. The basic conflict (fundamentalism / cosmopolitan tolerance) were identified by European and American intellectuals (R. Darendorf, E. Giddens, S. Huntington) at the end of the XX century. Today, European researchers (V. Merkel, M. Tsum) found out a new cleavage, conditionally designated as a contradiction between the «cosmopolitans» and the «communitarian». This confrontation splits modern democracies along several lines: the attitude to borders, to international structures, to free trade rules, to human rights, to climate change. Relations between the population and cosmopolitan elites are also marked as a deep conflict, which is based not only on the economic dimension (losers / beneficiaries of globalization), but also on the cultural and moral dimension. The severity of the conflict is due precisely to the combination, the imposition of several lines of demarcation (economic, political, cultural and moral). The beneficiaries of this situation are predominantly populist right-wing and left-wing parties, demonstrating electoral success in a number of European countries. Tabulated parties, especially the left flank of the political spectrum (socialists, social democrats), are required to seriously rethink their strategies and tactics in order to return voters who are disappointed in their position. Overcoming the conflict without major reform of European politics at the national and subregional level seems problematic.

Keywords: globalization; political conflict; cleavage; dominant demarcation; populism; agenda; political conflictology.

For citation: Glukhova A.V. Political conflicts in the global era (theoretical approach implementation). *Political science (RU)*. 2020, N 3, P. 13–33. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.03.01>

References

- Arbatov A.G. Doomsday dialectics: the arms race with arms limitations. *Polis. Political studies*. 2019, N 3, P. 27–48. DOI: <https://doi.org/10.17976/jpps/2019.03.03> (In Russ.)
- Beyme K. von. *The political theories of the present. An introduction*. 7 th rev. ed. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1992, 259 p. (In Germ.)
- Beck U. *What is globalization?* Moscow: Progress-Tradition, 2001, 304 p. (In Russ.)
- Darendorf R. Reflections on the revolution in Europe. *Put'. International Philosophical Journal*. 1994. N 6. P. 37–127. (In Russ.)
- Darendorf R. *Out of utopia*. Moscow: Praxis, 2002, 536 p. (In Russ.)
- Dahrendorf R. *On the search for a new order. A policy of freedom for the 21 st century*. Munich: Verlag C.H. Beck, 2003, 157 p. (In Germ.)
- Dahrendorf R. *The beginning of history again. From the fall of the wall to the war in Iraq. Speeches and essays*. Munich: C.H. Beck Verlag, 2004, 350 p. (In Germ.)
- Dahrendorf R. *Temptations of unfreedom (the intellectuals in times of testing)*. Munich: C.H. Beck Verlag, 2006, 239 p. (In Germ.)
- Decker F. (ed.) *Populism. Danger to democracy or a useful corrective?* Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2006, 252 p. (In Germ.)
- Etzioni A. *From empire to community: a new approach to international relations*. Moscow: Ladomir, 2004, 384 p. (In Russ.)

- Gdula M. *New authoritarianism*. Warsaw: Political publishing house, 2018, 112 p. (In Pol.)
- Glukhova A.V. *Political conflicts: foundations, typology, dynamics (theoretical and methodological analysis)*. 2-d ed. Moscow: «LIBROCOM», 2010, 280 p. (In Russ.)
- Huntington S. *The clash of civilizations and the remaking of world order*. Moscow: AST Publishing house, 2003, 332 p. (In Russ.)
- Kissinger G. *World order*. Moscow: AST Publishing house, 2017, 512 p. (In Russ.)
- Merkel W. *System transformation. An introduction to the theory and empiricism of transformation research*. Wiesbaden: VS Verlag für Socialwissenschaften, 2010, 561 p. (In Germ.)
- Rokkan S. *State, Nation and democracy in Europe. Stein Rokkan's theory from his collected works is reconstructed and introduced by Peter Flora*. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 2000, 500 p. (In Germ.)
- Walzer M. *The company of critics: social criticism and political commitment in the twentieth century*. Moscow: Idea Press, House of Intellectual Books, 1999, 360 p. (In Russ.)

Л.И. НИКОВСКАЯ*

СОЦИОЛОГИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА

Аннотация. В статье рассматриваются социологические аспекты анализа политической конфликтности, связанные с социально-структурными и субъективными основаниями политических процессов и отношений. Показано, что многие проблемы и противоречия социальной сферы, такие как социальная поляризация, избыточные неравенства, бедность и нарушение принципов социальной справедливости, депривация базовых потребностей и интересов, неустойчивая трудовая занятость, существенно детерминируют поле политики и проецируются на объект и предмет политической конфликтности, утяжеляя их течение и позитивные исходы. Неразрешимость социальных проблем и противоречий, их капсулирование вызывают либо снижение интереса населения к политике, к действенности институтов демократии, способствуют расширению пропасти между «частным» и «общественным», порождают ощущение политического отчуждения и бессилия, либо толкают к удовлетворению базовых потребностей за пределами существующих социальных норм и политических институтов, к деструктивным формам разрешения политических конфликтов, что ведет к потере управляемости обществом и социальной катастрофе. Социологический анализ конфликтных взаимодействий, основанных на преобладании горизонтальных связей и отношений, более способствует поддержанию динамического равновесия в обществе и реализации позитивного потенциала политического конфликта, так как отличается гибкими внутригрупповыми связями и подвижными межгрупповыми барьерами в общественно-политической системе. Чрезмерные классовые расколы и неравенства более тяготят к вертикальной поляризации общества, что усиливает «разрывные» линии взаимосвязи «верхов» и «низов», делает жесткой дихотомию

* **Никовская Лариса Игоревна**, кандидат философских наук, доктор социологических наук, главный научный сотрудник, Институт социологии ФНИСЦ РАН (Москва, Россия); профессор кафедры государственного управления и публичной политики, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва, Россия), e-mail: nikovsky@inbox.ru

© Никовская Л.И., 2020

DOI: 10.31249/poln/2020.03.02

«господство – подчинение» и снижает возможности диалоговой пластичности и гибкости политической системы.

Ключевые слова: социальная структура; стратификация; социальная поляризация; социальный раскол; социальное неравенство; социальная справедливость; потребности; общественные интересы; депривация; маргинализация; бедность.

Для цитирования: Никовская Л.И. Социология политического конфликта // Политическая наука. – 2020. – № 3. – С. 34–51. – DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.03.02>

Социологический подход к исследованию политики связан в первую очередь с исследованием социально-структурных и субъектных оснований политики, особенно в условиях кризиса, учитывающего различные интересы, которые определяют состояние социума. Современная конфликтологическая парадигма исследования политических конфликтов органически связана с признанием дискурсивного характера теоретического знания и с переходом к «рефлектирующей политике», суть которой не в доминировании силовой аргументации, а в превентивном учете интересов различных сторон. Этот подход подчеркивает роль социальных оснований общественно-политических изменений, позволяя рассматривать совершающиеся общественно-политические события сквозь социологическую призму, учитывающую прежде всего вопросы многомерности и значимости социальной структуры и стратификации общества, проблемы неравенств и справедливости, порождаемые ими, особенности социального поведения субъекта, его потребности и интересы, их взаимодействия и динамику.

Политическая конфликтность сосредотачивает свое внимание на проблемах власти, столкновения интересов, строения и динамики публичного поля, соотношения сил в конкретном обществе, проблемах гражданского общества, массового сознания и лидерства. Политическая деятельность при этом рассматривается не в качестве пассивного выражения социально-экономических интересов или обнаружения указанных объективных законов, а в качестве творческой, креативной силы, создающей новую реальность. Именно субъективная составляющая общественного процесса, массовых действий, повседневной человеческой активности является сегодня наиважнейшим предметом и теоретического анализа, и практического действия по реконструкции социальной структуры и социальных отношений.

Многие сложные и противоречивые явления современного общества связаны с процессами имущественного расслоения, чрезмерной классовой дифференциацией. Не углубляясь в детальные вопросы анализа социально-стратификационных проблем, можно отметить, что современные демократические общества характеризуются трехчленной социально-классовой структурой, где *высший класс* составляют владельцы средств производства и крупного финансового капитала, средний класс включает представителей малого и среднего бизнеса, а также квалифицированных представителей умственного труда, нижний класс – работников физического труда, рабочих [Giddens, 1975]. Социальная напряженность порождается процессами социальной поляризации. Последняя, как правило, приводит к деградации среднего класса, опуская его до многих характеристик нижнего класса, а часть нижнего класса, соответственно, начинает деградировать до уровня критической бедности и маргинализации. Появляются новые, низкостатусные и малоресурсные группы (андеркласс и прекариат). Характер развития современного капитализма не только не устраняет, но и углубляет социальное неравенство, актуализируя противоречие между легитимной системой демократических прав и сужающимися возможностями восходящей мобильности, основанной на принципах меритократии. Эти малоресурсные группы жестко обозначают процесс дихотомизации западного социума [Особенности модернизации ..., 2018, с. 14].

К российским реалиям, судя по глубоким прикладным исследованиям [Шкаратан, 2012; Income stratification ..., 2016], классические западные традиции изучения социальной стратификации слабо применимы, в том числе и неомарксистские, и неовеберлианские. Причина этого явления объясняется особой ролью государства вообще и многочисленного государственно-административного аппарата в частности: «Противостояние общества и чиновничества как особого класса общества осознается рядовыми россиянами и даже самими чиновниками. Не случайно все население, от рабочих до представителей крупной буржуазии, гораздо чаще в числе наиболее острых конфликтов российского общества называет конфликт между чиновниками и гражданами, к ним обращающимися, нежели конфликт между трудом и капиталом (“собственниками предприятий и наемными работниками”). Более того – острота

противостояния государственного аппарата и остального общества год от года растет» [Тихонова, 2007, с. 29].

Проблематика социальной дифференциации жестко ставит *вопрос о допустимых пределах социально-структурных различий, возможностях согласования интересов, без которых начинаются деструктивные конфликтные процессы.* Для нашего общества особая актуальность этой проблемы обусловлена рядом причин. *Во-первых*, имущественное расслоение усиливается, темпы разрыва в доходах ускоряются. Особенностью социальной дифференциации является то, что изменились ее критерии. Большинство отечественных специалистов, занимающихся в последние 10 лет исследованием проблем социальной структуры (З.Т. Голенкова, Т.И. Заславская, Мареева С.В., Н.Е. Тихонова, Шкаратан О.И. и др.), убеждены в том, что в качестве основного, структурирующего критерия в России выступают не собственность как таковая, квалификация, образование, престиж профессии, как в западных странах, а прежде всего *уровень материального благосостояния*, определяющий объективно и субъективно воспринимаемый социальный статус в обществе. *Во-вторых*, расслоение в России происходит по модели усиления поляризации социальной структуры и снижения возможностей восходящей социальной мобильности: «Социальная структура России становится все более “закрытой”, а основания для занятия верхних статусных позиций в ней все меньше согласуются с меритократическими принципами и представлениями россиян о социальной справедливости... Очень высокие показатели самовоспроизводства полярных групп, а также растущая поляризация молодежи – довольно опасные по своим социально-политическим и экономическим последствиям тенденции, которые неизбежно приведут к делегитимизации существующего в России общества в глазах населения страны» [Тихонова, 2018, с. 38]. *В-третьих*, среди населения устойчивы эгалитарные настроения. Это выражается, в частности, в признании нормой доступности бесплатного медицинского обслуживания, образования и пр. Тревоги и опасения по поводу развития коронавирусной пандемии эти настроения усилили существенно, выдвигая, например, в повестку дня формирование полноценной системы общественного здравоохранения [Здравоохранение ..., 2018]. *В-четвертых*, стремление правящего режима к социальному миру и согласию предполагает соблюдение ряда требований. В частности, поддержания оптимума

социальной дифференциации. Границы этого оптимума не являются общепринятыми. Они зависят от уровня социально-экономического развития, а следовательно, и материального благосостояния людей, их представлений о социальной справедливости. Не меньшее значение имеют выработка, законодательное закрепление и введение в социальную практику социальных процедур, направленных на согласование интересов, достижение социального партнерства, как в тред-юнионистском, так и межсекторном форматах.

Проблема доминантного классового раскола, особенно в кризисных условиях, актуальна не в последнюю очередь постановкой вопроса о судьбе среднего класса. По мысли социолога из Университета Люксембурга Луи Шовеля, модель общества среднего класса сдает свои позиции во многих европейских странах [Динамика средних классов ..., 2019]. Ослабление роли и веса среднего класса в контексте нарастания социально-экономического неравенства приводит к снижению стабильности демократических институтов и системы в целом. Это может сопровождаться поддержкой радикальных требований популистского типа и ростом социальной напряженности. Движение «желтых жилетов» явилось одним из следствий этого процесса. Аналогичная ситуация и в России. Эксперты НИУ ВШЭ по результатам исследований констатировали, что за последние пять лет произошло падение благосостояния представителей среднего класса, усиление поляризации внутри него и нарастание его социальной неустойчивости¹. Негативные последствия социального сжатия среднего класса скажутся на качественном состоянии всего общества, поскольку именно он в большей степени обладал стабилизирующей ролью, выступая на микроуровне тем «социальным клеем», который объединял между собой различные слои общества, из которых он сам и вышел, активно стимулируя связи как с представителями наиболее обеспеченных слоев общества, так и бедных, вписывая их в единый социальный континуум и препятствуя их окончательному закрытию и противопоставлению. Помимо этого, он объективно снижал уровень применения насилия в социуме, сглаживая наиболее острые противоречия социально-экономического характера [Социальные

¹ Старостина Ю. Экономисты проанализировали благосостояние россиян со средним достатком // РБК. – 2019. – Режим доступа: <https://www.rbc.ru/economics/04/10/2019/5d95e0b99a79470a6a29a042> (дата посещения: 10.05.2020)

факторы ..., 2010]. В принципе, социальное ослабление среднего класса создает основания для снижения качества функционирования демократической системы и ее институтов, а также усиливает тенденцию к олигархизации. И, что важно для конфликтологического анализа, ведет к вырождению горизонтальных социальных связей и отношений в пользу взаимоотношений вертикального типа, которые характерны для системы «патрон – клиент» [Tarkowsky, 1994]. Напротив, степень «укорененности» и укрепления позиций среднего класса могла бы свидетельствовать о качестве функционирования демократии в социуме, о значимости горизонтальных связей и солидарностей и, наконец, об усилении роли гражданского общества в его взаимодействии с государством.

В современной России мы имеем многомерное, сложное, иерархически организованное социальное пространство, в котором классы, социальные слои и группы дифференцированы по степени убывания обладания властью, собственностью и материальным благосостоянием. Данные исследований показывают, что за последние десять лет произошел самый значительный рост властного и административно-управленческого аппарата – чуть ли ни в два раза [Особенности модернизации ..., 2018, с. 39]. Менее значимые количественные изменения характеризуют социальную группу специалистов высшей и средней квалификации, занимающихся умственным трудом. Что касается квалифицированных рабочих, то их доля в промышленном производстве падает [там же]. Становление современной социальной структуры России идет сложно – не столько путем замещения старых структурных элементов новыми, сколько путем наложения одной структуры на другую, их взаимодействия и противостояния. Эти процессы нуждаются в постоянном мониторинге и анализе.

Отсюда можно сделать вывод, что пока доминирующими социальными тенденциями выступают процессы поляризации внутри социальной структуры, что усиливает состояние ее дихотомизации как в развитых капиталистических обществах, так и в переходных. А это неминуемо приводит к преобладанию вертикальных связей, высокой степени отчуждения населения от власти и центров принятия политических решений. Преобладание этих социально-структурных моделей также способствует сохранению значительного потенциала социальной и политической нестабильности, чреватой самыми неожиданными исходами. Иными словами,

в развитых демократиях одна из основных проблем состоит в поиске оптимума в снижении социальных и экономических неравенств с сохранением эффективности функционирования основных институтов рыночной экономики и либерально-демократической системы. В развивающихся и трансформирующихся социумах, включая посткоммунистические, проблема ставится несколько иначе: как обеспечить базовые социально-экономические и гражданские свободы без чрезмерного усиления любых видов неравенства, которое могут нарушить принципы социального мира и согласия.

Одним из важнейших аспектов социологического анализа политической конфликтности является также исследование проблем социальной сферы, в которой реализуются социальные интересы, потребности, ожидания, мотивы и стимулы людей, характеризующие во многом их включенность в общественный процесс, а также принципы и требования социальной справедливости, которые определяют удовлетворенность существующим социально-экономическим и политическим порядком. Как было сказано выше, особенности классовообразования в постсоветской России привели к тому, что особую роль в нем играли и продолжает играть властно-административные образования. Причем особенность «социальной архитектуры» состоит в существенной расколотости двух полярных социально-экономических совокупностей – на 3% «богатых» и «сверхбогатых» и все остальное общество. Согласно данным исследований ВЭБ и НИУ ВШЭ, в руках 3% богатейших соотечественников сосредоточено свыше 90% всех финансовых активов и ресурсов РФ. А по данным Доклада швейцарского банка Credit Suisse, 10% самых богатых россиян владеют 83% всех богатств страны. При этом отмечается, что количество долларовых миллионеров в нашей стране увеличилось с 14 тыс. человек в 2010 г. до 246 тыс. человек в 2019 г.¹ Авторитетное издание Forbes предоставило свою статистику: в 2019 г. его эксперты насчитали в России ровно 100 долларовых миллиардеров, а суммарное состояние 200 богатейших людей страны составило почти полтриллиона долларов. Для сравнения: 15 лет назад миллиардеров было всего 36².

¹ Global Wealth Report 2019. – Mode of access: <https://www.credit-suisse.com/about-us/en/reports-research/global-wealth-report.html> (accessed: 08.06.2020)

² Богатства России прирастают миллионерами и миллиардерами // Коммерсантъ. Экономика. – 2019. – Режим доступа: <https://www.kommersant.ru/doc/4133424> (дата посещения: 07.06.2020)

Общеизвестно, что значительным конфликтогенным потенциалом обладают такие свойства социальных систем, как характер динамики (роста / падения) материального благосостояния и неравенства, роста / падения безработицы и занятости, а также бедности, особенно в условиях кризиса [Дмитриев, 2010]. Основными тенденциями трансформации социальной структуры современного российского общества стали углубление социального неравенства по многим показателям (экономическое, социальное) и сохранение бедности значительной части населения. Это явилось, в частности, следствием той непростой ситуации, в которой оказалась Россия после введения масштабных антироссийских санкций в 2014 г., которые не могли не отразиться и на динамике качества и уровня жизни россиян, и, прежде всего, наиболее уязвимых категорий граждан, имеющих низкие доходы. Уровень бедности и численность бедных в этот период после снижения с 18,4 млн человек (13%) в 2009 г. до 15,4 млн человек (10,7%) в 2012 г. вырос к 2015 г. до максимума за период 2009–2018 гг. – 19,6 млн человек (13,4%), но в последующие годы постепенно стал снижаться. Как результат, к 2018 г. численность бедных по доходам в России «восстановила» свои масштабы, по состоянию на 2009 г. [Мониторинг доходов ..., 2019]. По состоянию на 2018 г., который является «базовым» применительно к национальной цели обеспечения к 2024 г. снижения уровня бедности в два раза, поставленной перед Правительством РФ в Указе Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204¹, в нашей стране насчитывалось более 18 млн человек (или около 13%), являющихся *бедными по доходам*. Бедное население в России преимущественно сосредоточено в сельских территориях (51,4%, 2017 г.), хотя в последние несколько лет соотношение между городом и селом стало медленно выравниваться. Следует отметить, что в России бедность имеет еще одно (немонетарное) измерение – *бедность по жилищной обеспеченности*, определяемой тем, что россияне массово проживают в жилье, не отвечающем минимальным требованиям к размерам площади жилья и / или его благоустроенности (отсутствие в жилье от одного до трех базовых

¹ Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». – Режим доступа: <http://kremlin.ru/acts/bank/43027> (дата посещения: 21.03.2020)

видов благоустройства – централизованного водоснабжения, центрального отопления, централизованной канализации). Оценка жилищной обеспеченности россиян по минимальным нормативам показывает, что *уровень жилищной бедности составляет в нашей стране около 40%, т.е. почти в три раза выше, чем уровень бедности по доходам* [Мониторинг доходов ..., 2019].

Если же говорить о региональных различиях, то разница душевого ВВП между богатейшими регионами (такими как Москва и Санкт-Петербург) и территориями-аутсайдерами (такими как Республика Тыва, Республика Ингушетия) выше, например, чем в Китае, который известен своими региональными диспропорциями. Беднейшие регионы России уступают по среднему душевому ВВП беднейшим территориям Китая и Бразилии, лишь слегка превосходя индонезийские. В то же время богатейшие регионы нашей страны опережают по этому показателю даже американские и японские территории [Корнилович, 2020].

В целом уровень монетарной бедности, выявляемый относительно фактических стандартов жизни в нашей стране (идентифицируемых величиной доходов на уровне 50–60% медианного дохода), заметно выше уровня бедности, измеряемой на основе законодательно установленного минимального стандарта, т.е. величины прожиточного минимума. Причем основные затруднения для россиян по причине недостатка средств связаны с обеспечением базовых потребностей в качественном питании, обязательных расходов на жилье (жилищно-коммунальные услуги, аренда, ипотечный кредит) и др. Для значительной части россиян (более 40%) расходы на проведение недели отпуска вне дома практически неподъемны. В ЕС доля испытывающих подобную депривацию составляет около 33% [Малева, Гришина, Цацура, 2019, с. 37].

Однако проблема бедности сегодня сочетается с проблемой неустойчивой занятости. Так, по оценкам МОТ, проблема безработицы постепенно уходит на второй план, а главным вызовом для современного рынка труда в глобальном масштабе становится именно нестандартная занятость [Неустойчивость занятости ..., 2017]. Работа в условиях нестандартной занятости в современных условиях связана с такими рисками для работников, как снижение или отсутствие социальной защищенности и низкая оплата труда (ниже, чем среди занятых на условиях стандартных трудовых договоров). По оценкам ИСЭПН ФНИСЦ РАН, неустойчивая заня-

тость в России может охватывать более 60% работников организаций, которые заняты неофициально (без трудового договора и пр.) и / или имеют неустойчивые условия занятости, проявляющиеся через неофициальную (частично или полностью) выплату заработной платы, отклонение от нормальной продолжительности рабочего времени, сокращение заработной платы / часов работы по инициативе работодателя и пр.

Иными словами, за последние почти 20 лет, несмотря на сокращение масштабов бедности, проблема бедности в нашей стране не утратила своей остроты. *Численность бедного населения, имеющего доходы ниже черты официальной бедности – величины прожиточного минимума*, – в период 2009–2018 гг., несмотря на волнообразную динамику, составляла от 15,4 до 19,6 млн человек. По состоянию на 2018 г. уровень абсолютной монетарной бедности в нашей стране составлял около 13,0%².

Характер социальной стратификации в развивающихся (переходных) обществах, имеющей свойство поляризации, как правило, отличается значительным социальным неравенством. Известно, что неравенство оправданно в том случае, если оно способствует индивидуальной и коллективной инициативе в развитии производительных сил, увеличению общественного продукта, уменьшению бедности и социальной нищеты. В России же стало формироваться избыточное неравенство. Самой острой проблемой для нашей страны остается колоссальный разрыв между бедными и богатыми, причем уже на протяжении длительного времени. Пропась между ними стремительно увеличивается, демонстрируя растущую поляризацию населения по уровню доходов. Децильный

¹ На основе данных 27 волны Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения (РМЭЗ НИУ ВШЭ), проводимой Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики» и ООО «Демоскоп» при участии Центра народонаселения Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле и Института социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. – Режим доступа: <http://www.cpc.unc.edu/projects/rhms> и <http://www.hse.ru/rhms> (дата посещения: 21.04.2020)

² На основе данных Росстата: Доля населения, имеющего среднедушевые денежные доходы ниже границ, установленных на основании фактического уровня денежных доходов населения (среднедушевого, медианного и модального), в целом по России и по субъектам Российской Федерации, 2018 г. // Росстат. – Режим доступа: https://gks.ru/free_doc/new_site/population/bednost/tab1/tab-bed2-7.htm (дата посещения: 25.04.2020)

коэффициент, показывающий соотношение доходов 10% наиболее обеспеченного населения к такой же доле наименее обеспеченного, составляет соотношение 1:15,6 (а с учетом «теневых» доходов – 1:23)¹. Коэффициент Джини, который в значении от 0 до 1 измеряет неравенство в распределении доходов (т.е. при значении, равном 0, распределение доходов совершенно равномерно; чем выше показателя, тем выше неравенство доходов), в 2000–2018 гг. в России был избыточно высоким и составлял от 0,395 (2000) до 0,413 (2018)². По этому показателю Россия находится в группе стран с наиболее высоким уровнем экономического неравенства (таких как Турция, Аргентина, Китай, Индонезия). Иначе говоря, в России наблюдаются избыточный уровень материального неравенства и недопустимо вызывающая дифференциация доходов и богатства. Исследования института социально-экономических проблем народонаселения ФНИСЦ РАН показывают, что в России именно избыточное неравенство сдерживает ощутимое экономическое развитие, способствует снижению рождаемости и увеличению смертности. При нормальном неравенстве Россия (при норме доходов богатых в 7–9 раз больше, чем у бедных, но не в 15–25 раз, как у нас), уже имела бы гораздо более высокие темпы экономического роста и рождаемости [Бобков, Долгушкин, Одинцова, 2019].

Все вышеприведенные факты свидетельствуют о наличии эффекта депривации базовых человеческих потребностей и структурных оснований, закрепляющих эти негативные эффекты. На влияние системы дисфункции базовых потребностей и легитимность социально-политической власти указывало резолюционистское направление в исследовании социальной конфликтности. Так, известный представитель этого направления Д. Бертон, синтезируя базовые идеи концепций структурного насилия, теории человеческих потребностей и проблемно-ориентированного метода разрешения конфликтов, особо подчеркивал, что чем больше власть имущие сдерживают удовлетворение потребностей своего электората, тем меньше у них шансов влиять на развитие социального процесса и тем больше проявляется активное сопротивление насе-

¹ Распределение общего объема денежных доходов и характеристики дифференциации денежных доходов населения // Росстат. – Режим доступа: <https://www.gks.ru/folder/13723> (дата посещения: 14.03.2020)

² См.: там же.

ления, что приводит к потере у него авторитета власти и ее поддержки. Отсюда структуры власти теряют свою фактическую легитимность при формальном юридическом праве. Мера разрыва между ожиданиями и степенью удовлетворения потребностей, по мнению Бертон, есть мера подлинной легитимности или нелегитимности властных структур, независимо от того, насколько они подкрепляются законами и правовыми механизмами. Если социальные группы не удовлетворяют своих базовых потребностей в рамках существующих социальных норм и институтов, то они будут искать их удовлетворения за пределами этих конвенциональных границ. Это и есть, по мысли ученого, глобальная причина социальных конфликтов и нестабильности в современном обществе [Burton, Dukes, 1990].

Таким образом, нерешенность проблем *в социальной сфере*, которые во многом спровоцированы кризисными явлениями экономического развития, *служит основой* – в сознании большинства соотечественников – *соразмерения приемлемости и действительности демократии в российских условиях*. В этом отношении показательны выводы мониторинговых исследований ИС ФНИСЦ РАН¹ восприятия образа демократии россиянами за последние пять лет, которые показали, что в общественном сознании четко проводится разница между нормативно-идеальным образом демократии, воспринимаемым обществом как совокупность ее норм, процедур и институтов (многопартийность, выборность органов власти и пр.), и инструментально-деятельностным, при котором общество реально оценивает, как работают ее институты в качестве механизма реализации общественного блага. По мнению исследователей, в отношении второго аспекта образа демократии имеет место многократно эмпирически подтвержденный факт критичного (если не сказать неприязненного) отношения большинства россиян к модели российской демократии, точнее ее способности обеспечивать реализацию как общего блага, так и интересов различных групп и слоев общества: «...это связано с тем, что благополучие в глазах многих наших сограждан отнюдь не сводится только к “толщине их кошельков”. Большое значение имеют также уровень их соци-

¹ Мегaproект ИС ФНИСЦ РАН «Динамика социальной трансформации современной России в социально-экономическом, политическом, социокультурном и этнорелигиозном контекстах (2014–2018 гг.)».

альной и правовой защищенности, наличие независимого судопроизводства и т.д. Определенное влияние оказал и затянувшийся экономический кризис. В результате многие из них не видят принципиальной разницы между 1990-ми и 2000-ми в таких важных для них и для страны в целом слагаемых “общего блага”, как социальная справедливость и преодоление чрезмерного разрыва между богатыми и бедными. А по таким чувствительным для каждого человека показателям, как цены на товары и услуги, коммунальные платежи, качество образования и медицины, а также уровень коррупции, фиксируется регресс даже по сравнению с “лихими 90-ми”» [Двадцать пять лет социальных трансформаций ..., 2018, с. 138]. Иными словами, неразрешимость социальных проблем и их своеобразное бюрократичивание (как это произошло, в частности, с выплатами врачам, работающим с COVID-19) вызывают снижение интереса населения к политике, к действенности институтов демократии, способствуют расширению пропасти между «частным» и «общественным», порождают ощущение политического отчуждения и бессилия [Двадцать пять лет социальных трансформаций ..., 2018, с. 142–143]. Для нивелирования степени модальности конфликтологического потенциала системных социальных противоречий важно снизить уровень и характер социальной поляризации в стране, который закрепляет адаптацию к кризисным условиям на основе нисходящей социальной мобильности, снижения уровня свободы, заниженных ожиданий, депривации, маргинализации значительной части российских граждан.

Проницаемость социальной проблематики в поле политических процессов уже длительное время предъявляет себя тем фактом, что существенно меняет интерпретацию образа демократии в российском общественном сознании, который отличается от принятого западного рационального дискурса. Многолетние исследования ИС ФНИСЦ РАН показывают, что хотя процесс формирования образа демократии в России еще продолжается, но одна из констант его восприятия остается неизменной: для большинства россиян демократия сегодня предстает такой формой организации политической власти, которая должна, прежде всего, гарантировать базовые социальные права граждан и достойный уровень благосостояния; обеспечивать равенство всех перед законом и гарантировать порядок и безопасность. Словом, в сознании россиян демократично то, что социально справедливо. В целом за послед-

ние годы социально-экономический «фильтр» восприятия эффективности демократической системы в России сохранился [Двадцать пять лет социальных трансформаций ..., 2018]. Недаром, по данным опроса ВЦИОМ, самые значимые поправки в новую Конституцию связаны именно с социальным блоком предложений: гарантия качественного и доступного медицинского обслуживания (95% «за»), обязательность регулярной индексации пенсий, пособий и иных социальных выплат (91% «за»), фиксация МРОТ не ниже прожиточного минимума (90% «за»)¹.

Таким образом, проведенный анализ социологических аспектов исследования политической конфликтности, особенно применительно к России, показал, что предметом политических конфликтов в России выступают прежде всего проблемы и противоречия социального и экономического свойства, а затем уже собственно политико-государственного дизайна складывающейся политической системы, внутри которой противоборство может развернуться по поводу механизмов принятия политических решений и формирования государственной политики, а также субъектов политического действия, от имени которых и в интересах которых выстраивается политическая и социально-экономическая конфигурация социума в целом.

В целом «утяжеленность» собственно политической конфликтности, характеризующей функционирование демократической политической системы, комплексом конфликтов социального, экономического, этнонационального свойства, включение в ее объект и предмет этого ряда проблем и противоречий и, соответственно, социальных субъектов, сужает возможности для позитивно-функционального формата развертывания политической конфликтности. Разрушительные и часто стихийные реакции на вскрываемые болезненные социальные противоречия существенно деформируют течение собственно политических конфликтов, препятствуя их переводу в русло конструктивного урегулирования и созидания новых институциональных форм социально-политической жизнедеятельности. Поскольку деструктивное проявление политической конфликтности подрывает устойчивость

¹ ВЦИОМ: 95% россиян считают важными поправки в Конституцию о доступности медпомощи. – Режим доступа: <https://tass.ru/obschestvo/8063201> (дата посещения: 24.03.2020)

жизнедеятельности общества в целом, усиливает хаотичность функционирования и изменения его институциональных и структурных основ.

Список литературы

- Бобков В.Н., Долгушкин Н.К., Одинова Е.В. Безусловный базовый доход: размышления о возможном влиянии на повышение уровня и качества жизни // Уровень жизни населения регионов России. – 2019. – Т. 15, № 3. – С. 8–24. – DOI: <https://doi.org/10.24411/1999-9836-2019-10069>
- Двадцать пять лет социальных трансформаций в оценках и суждениях россиян: опыт социологического анализа / [М.К. Горшков и др.]; отв. ред. М.К. Горшков, В.В. Петухов. – М.: Весь Мир, 2018. – 384 с.
- Динамика средних классов: между экспансией и неопределенностью. – М.: Институт социальной политики НИУ ВШЭ, 2019. – 30 с.
- Дмитриев А.В. Дезэскалация конфликтов как путь стабилизации региональных социумов // Социальные факторы консолидации российского общества: социологическое измерение. – М.: Новый хронограф, 2010. – С. 200–221.
- Здравоохранение: необходимые ответы и вызовы времени: совместный доклад Центра стратегических разработок и Высшей школы экономики от 21.03.2018. – М.: НИУ ВШЭ, 2018. – 56 с.
- Корнилович В.А. Уровень развития региона как фактор стратегического планирования // Уровень жизни населения регионов России. – 2020. – Т. 15, № 1. – С. 80–88. – DOI: <https://doi.org/10.24411/1999-9836-2019-10056>
- Малева Т.М., Гришина Е.Е., Цацура Е.А. Социальная политика в долгосрочной перспективе: многомерная бедность и эффективная адресность. – М.: Издательский дом Дело. РАНХиГС, 2019. – 52 с.
- Мониторинг доходов и уровня жизни населения России – 2018 год / В.Н. Бобков [и др.]. – М.: ООО «Фабрика Офсетной Печати», 2019. – 98 с.
- Неустойчивость занятости: международный и российский контексты будущего сферы труда / О.Н. Альхименко [и др.]; под ред. В.Н. Бобкова. – М.: РеалПринт. – 2017. – 560 с.
- Особенности модернизации социальной структуры российского общества. – М.: ИС ФНИСЦ РАН, 2018. – 200 с.
- Социальные факторы консолидации российского общества: социологическое измерение. – М.: Новый хронограф, 2010. – 256 с.
- Тихонова Н.Е. Социальная стратификация современной России: опыт эмпирического анализа. – М.: ИС РАН, 2007. – 320 с.
- Тихонова Н.Е. Факторы жизненного успеха и социального статуса в сознании россиян // Вестник института социологии РАН. – 2018. – № 27. – С. 11–43. – DOI: <https://doi.org/10.19181/vis.2018.27.4.536>
- Шкаратан О.И. Социология неравенства. Теория и реальность. – М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2012. – 526 с.

- Income stratification: key approaches and their application to Russia / V.A. Anikin et. al. – 2016. – 36 p. – (NRU HSE. Series WP BRP/PSP «Public and Social Policy»; No. WP BRP 02/PSP/2016.
- Burton J., Dukes F. Conflict: practices in management, settlement and resolution. – N.Y.: St. Martins Press, 1990. – 230 p.
- Giddens A. The class structure of the advanced societies. – N.Y.; Hagerstown; San Francisco; London: Harper Torchbooks, 1975. – 528 p.
- Tarkowsky J. Sociologia swiata polityki. Patroni I klienci. – Warszawa: Institut Studiow Politycznych PAN, 1994. – T. 2. – 342 s.

L.I. Nikovskaya*
Sociology of political conflict

Abstract. The article deals with the sociological aspects of the analysis of political conflict related to the socio-structural and subjective foundations of political processes and relations. It is shown that many problems and contradictions in the social sphere, such as social polarization, excessive inequality, poverty and violation of the principles of social justice, deprivation of basic needs and interests, unstable labor employment significantly determine the field of politics and are projected on the object and subject of political conflict, weighing down their course and positive outcomes. The insolubility of social problems and contradictions, their encapsulation cause either a decrease in the population's interest in politics, in the effectiveness of democratic institutions, contribute to the widening of the gap between the «private» and «public», generate a sense of political alienation and powerlessness, or push to meet basic needs beyond the existing social norms and political institutions, to destructive forms of resolving political conflicts, which leads to a loss of control of society and social catastrophe. The sociological analysis of conflict interactions based on the predominance of horizontal connections and relationships contributes more to maintaining a dynamic balance in society and realizing the positive potential of political conflict, as it differs in flexible intra-group connections and mobile inter-group barriers in the socio-political system. Excessive class divisions and inequality tend to vertical polarization of society, which strengthens the «discontinuous» lines of interaction between the «top» and «bottom», makes the dichotomy «rule-submission» rigid, and reduces the possibilities of dialogical plasticity and flexibility of the political system.

Keywords: social structure; stratification; social polarization; social division; social inequality; social justice; needs; public interests; deprivation; marginalization; poverty.

For citation: Nikovskaya L.I. Sociology of political conflict. *Political science (RU)*. 2020, N 3, P. 34–51. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.03.02>

* **Nikovskaya Larissa**, Institute of sociology of the FCTAS RAS (Moscow, Russia); Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Moscow, Russia), e-mail: nikovsky@inbox.ru

References

- Alhimenko O.N., Kvachev V.G., Kolmakov I.B., et. al. *Employment instability: international and Russian contexts of the future world of work*. Moscow: RealPrint, 2017, 560 p. (In Russ.)
- Anikin V.A., Lezhnina Y.P., Mareeva S., et al. *Income stratification: key approaches and their application to Russia*. NRU HSE. Series WP BRP / PSP “Public and Social Policy”, 2016, No. WP BRP 02/PSP/2016, 36 p.
- Bobkov V.N., Dolgushkin N.K., Odintsova E.V. Universal basic income: reflections on the possible impact on improving the living standards and quality of life and the sustainability of society. *Living Standards of the Population in the Regions of Russia*. 2019, Vol. 15, N 3, P. 8–24. DOI: <https://doi.org/10.24411/1999-9836-2019-10069> (In Russ.)
- Bobkov V.N., Gulyugina A.A., Kolmakov I.B., et al. *Monitoring of incomes and living standards of the population of Russia-2018*. Moscow: “Factory of Offset Printing”, 2019, 98 p. (In Russ.)
- Burton J., Dukes F. *Conflict: practices in management, settlement and resolution*. New York: St. Martins Press, 1990, XXIV, 230 p.
- Dynamics of the middle classes: between expansion and uncertainty*. Moscow: Institute of social policy of the higher school of economics, 2019, 30 p. (In Russ.)
- Dmitriev A.V. Deescalation of the conflict as a way of stabilizing regional societies. In: *Social factors of consolidation of Russian society: a sociological dimension*. Moscow: New chronograph, 2010, P. 200–221. (In Russ.)
- Features of modernization of the social structure of Russian society*. Moscow: IS FCTAS RAS, 2018, 200 p. (In Russ.)
- Giddens A. *The class structure of the advanced societies*. N.Y.; Hagerstown; San Francisco; London: Harper Torchbooks, 1975, 528 p.
- Gorshkov M.K., Petukhov V.V., Andreev A.L., et. al. *Twenty-five years of social transformations in the assessments and judgments of Russians: experience of sociological analysis*. Moscow: Ves’ mir, 2018, 384 p. (In Russ.)
- Healthcare: necessary responses and challenges of the time*. Joint Report of the Center for strategic research and the Higher school of economics dated 21.03.2018. Moscow: HSE, 2018, 56 p. (In Russ.)
- Kornilovitch V.A. The level of development of the region as a factor of strategic planning. *Living standards of the population in the regions of Russia*. 2020, Vol. 15, N 1, P. 80–88. DOI: <https://doi.org/10.24411/1999-9836-2019-10056> (In Russ.)
- Maleva T.M., Grishina E.E., Tsadura E.A. *Social policy in the long term: multidimensional poverty and effective targeting*. Moscow: Delo Publishing house, Ranepa, 2019, 52 p. (In Russ.)
- Shkaratan O.I. *Sociology of inequality. Theory and reality*. Moscow: Publishing house of the Higher School of Economics, 2012, 526 p. (In Russ.)
- Social factors of consolidation of Russian society: a sociological dimension*. Moscow: New chronograph, 2010, 256 p. (In Russ.)

- Tarkowsky J. *Sociology of world politics. Patrons and customers*. Warsaw: Institute for political Research of PAS, 1994, Vol. 2, 342 p. (In Pol.)
- Tikhonova N.E. *Social stratification of modern Russia: experience of empirical analysis*. Moscow: IS RAS, 2007, 320 p. (In Russ.)
- Tikhonova N.E. Life success and social status factors in the minds of Russians. *Vestnik instituta sotziologii*. 2018, Vol. 9, N 4, P. 11–43. DOI: <https://doi.org/10.19181/vis.2018.27.4.536> (In Russ.)

А.И. КОЛЬБА*

**ИССЛЕДОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ И ГОРОДСКИХ
ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ: ОСНОВНЫЕ
КОНЦЕПТЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СУБДИСЦИПЛИН¹**

Аннотация. В статье рассматривается развитие субдисциплин политической конфликтологии – исследований региональных и городских политических конфликтов – на протяжении периода 1990–2020-х годов. Прослеживаются ключевые тенденции формирования научных концепций и подходов в данных областях, выявляются особенности их эволюции. Для региональной политической конфликтологии они связаны с ограниченными возможностями использования зарубежных разработок аналогичной направленности. Российские исследователи разработали оригинальные концепты «сложносоставного конфликта» и «блокового конфликта», имеющие большой познавательный потенциал, который до настоящего времени не вполне реализован. Конфликтологи, работающие в сфере изучения процессов городского развития, столкнулись с необходимостью адаптации сложившихся в науке подходов к анализу российских практик конфликтования. Это, в частности, обусловило ограниченную применимость апробированных технологий согласования интересов. Решение указанных проблем возможно за счет результатов ряда научных проектов, реализуемых в настоящее время. По мнению автора, на современном этапе наблюдается определенный спад в исследованиях региональных политических конфликтов, связанный с сокращением пространства публичной политики в регионах РФ, а также с застоем в дальней-

* **Кольба Алексей Иванович**, доктор политических наук, профессор кафедры государственной политики и государственного управления, Кубанский государственный университет (Краснодар, Россия), e-mail: alivka2000@mail.ru

¹Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-011-00571 А «Конфликты в процессе функционирования городских сообществ крупных региональных центров России: концептуальные основания исследования и политические методы снижения деструктивного потенциала».

© Кольба А.И., 2020

DOI: 10.31249/poln/2020.03.03

шем развитии базовых концептов. В сфере исследования городских политических конфликтов, напротив, наблюдается рост количества научных публикаций, развитие теоретических и политико-управленческих подходов.

Ключевые слова: региональный конфликт; городской конфликт; сложно-составной конфликт; блоковый конфликт; городские сообщества; политическое управление конфликтом.

Для цитирования: Кольба А.И. Исследование региональных и городских политических конфликтов: основные концепты и перспективы развития субдисциплин // Политическая наука. – 2020. – № 3. – С. 52–73. – DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.03.03>

Введение

С развитием российской политической конфликтологии в 1990-х годах началось формирование отдельных направлений исследований, основаниями для выделения которых, как правило, становились изучаемый вид конфликтности (например, этнополитическая конфликтология), специфика конфликтных процессов (например, электоральная конфликтология) или воздействие на них (например, теория и практика медиации, исследование переговорных процессов в политике). Одним из значимых критериев различения конфликтов является также уровень их протекания, что обусловило становление таких субдисциплин, как региональная конфликтология и исследование городских конфликтов. Особенности этого процесса связаны с двумя важнейшими факторами: трансформационным характером политического процесса в стране (что оказывало влияние на всю отрасль научных исследований), а также ограниченными возможностями при использовании теорий и концептов, сложившихся в западной науке о конфликтах (в первую очередь это повлияло на изучение процессов регионального уровня). Складывание исследовательских подходов и школ во многом также определялось развитием смежных областей исследований (для указанных субдисциплин наиболее важной из них стала политическая регионалистика). В рамках данной статьи будут рассмотрены наиболее значимые исследовательские концепции и подходы, сформировавшиеся к исходу третьего десятилетия их эволюции, динамика и перспективы дальнейшего развития.

Региональные политические конфликты: проблемы концептуализации и менеджмента

Развитие научного направления, в фокусе внимания которого находятся политические конфликты в регионах, не лишено внутренних противоречий. Такие явления, как регионализация политической жизни в постсоветский период и рост конфликтности на субнациональном уровне, стимулировали развитие соответствующих исследований – не только теоретических, но и практико-ориентированных. В то же время обилие материала, требующего научного осмысления, а также быстрые изменения в сфере региональной политики, на начальных этапах разработки необходимых концептуальных оснований вынуждали ученых сосредотачиваться на анализе конкретных ситуаций (зачастую ограничиваясь рамками «своего» региона) без выхода на широкие обобщения. Одной из проблем, затруднявших институционализацию региональной политической конфликтологии, стало отождествление региональных и этнополитических конфликтов, достаточно широко распространенное в 1990-х годах. Этнополитические конфликты, нередкие в этот период, привлекали к себе исключительное общественное и исследовательское внимание. Это объясняется их социальной новизной, заставлявшей воспринимать их как опасный феномен, имеющий высокий деструктивный потенциал, что побуждало в ускоренном режиме искать как теоретические объяснения происходящего, так и прикладные решения для снятия остроты проблем. Конфликты других типов, параллельно развивавшиеся в регионах, либо втягивались в структуру межэтнических противоречий, либо оставались малозаметными для широкой публики и не слишком привлекали внимание ученых.

Таким образом, проблематика региональной политической конфликтности на некоторое время осталась «в тени» многочисленных публикаций, посвященных этнополитическим противоречиям. Характерно, что в коллективной монографии, отразившей состояние российской конфликтологии к концу первого десятилетия ее развития, раздела, посвященного региональной тематике, не оказалось [Конфликты в современной России ..., 1999]. Тем не менее в этот период был накоплен значительный эмпирический материал, послуживший базой для дальнейшего развития субдисциплины. Обобщенные и систематизированные результаты анализа

проблем данного периода отражены в публикациях Р.Ф. Туровского [Туровский, 1998; Туровский, 2003]. На материалах анализа региональных политических конфликтов были защищены первые диссертационные исследования [Васильев, 2001], среди которых следует отметить работу А.В. Ачкасовой [Ачкасова, 2002]. В ней были заложены концептуальные основания трактовки понятия «региональный политический конфликт», типологизации конфликтов регионального уровня, их комплексного анализа, использования сетевой методологии в политико-конфликтологических исследованиях и т.д.

С началом 2000-х годов все большее внимание специалистов по региональным политическим конфликтам уделялось разработке теоретико-методологических оснований исследований. Как отмечала Е.А. Щербина, для успешного решения ряда задач, связанных с исследованиями конфликтов и управлением ими, было необходимо активизировать разработку региональной конфликтологии как особого направления исследований, учитывающего региональные особенности возникновения и обострения конфликтов и адаптирующего накопленный методологический и теоретический потенциал конфликтологии к анализу конфликтов на этом уровне [Щербина, 2011, с. 27–37]. Большую роль в этом сыграло общероссийское исследование, организованное В.А. Авксентьевым, Г.Д. Гриценко и А.В. Дмитриевым в 2007–2008 гг.¹ Ими был проведен масштабный экспертный опрос, позволивший выявить проблемы развития теории исследований региональных политических конфликтов и состояние субдисциплины на уровне отдельных субъектов РФ. В частности, было предложено определение регионального конфликта как макросоциального, детерминированного обстоятельствами и факторами регионального масштаба, специфическими региональными социально-экономическими, политическими реалиями и охватывающего прямо или косвенно несколько или большинство административных подразделений, входящих в регион [Авксентьев, Гриценко, Дмитриев, 2007, с. 30]. Несмотря

¹ Исследовательский проект «Разработка теоретико-методологических основ региональной конфликтологии», программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Адаптация народов и культур к изменениям природной среды, социальным и техногенным трансформациям», подпрограммы по Югу России «Анализ и моделирование геополитических, социальных и экономических процессов в полиэтническом макрорегионе».

на то что не со всеми аспектами данной трактовки регионального конфликта можно безоговорочно согласиться (например, более важным, чем территориальный охват, представляется резонанс конфликта, его отражение в общественном мнении на уровне региона), формулировка понятийных и методологических основ анализа данного объекта стала значительным шагом вперед.

В этот период были заложены базовые подходы в данной отрасли научного познания. К таковым в первую очередь следует отнести концепции сложносоставного конфликта (Л.И. Никовская, В.Н. Якимец) и блокового конфликта (ставропольская школа конфликтологии под руководством В.А. Авксентьева).

Первая из них изначально имеет более широкую направленность. Понятие и принципы изучения сложносоставных конфликтов были предложены авторами в контексте анализа постсоциалистической трансформации России [Никовская, Якимец, 2005]. К базовым положениям концепции можно отнести принципы взаимопроникновения конфликтов различного типа [Якимец, Никовская, 2005] и переходы конфликтов в новые «поля», занимающие по мере развития конфликта доминирующее положение [Никовская, 2009]. Отсутствие устоявшейся научной парадигмы и широкие аналитические возможности концепта «сложносоставного конфликта» обусловили необходимость его адаптации в целях исследований на региональном уровне. В экспертном интервью Л.И. Никовская отмечала, что «региональный конфликт может быть сложносоставным, но может и не быть таковым» [Авксентьев, Гриценко, Дмитриев, 2008, с. 68], увязывая наличие данной характеристики со сложностью социальной структуры региона. При этом изучение эмпирических материалов и case-study конфликтов позволяет утверждать, что на определенном этапе моноконфликты в регионах эволюционируют к сложносоставному типу, что отражается на их структуре, характере протекания и регулирования и на ряде других аспектов. Неизбежной на определенном этапе представляется политизация подобных конфликтов.

Разработка данной исследовательской методологии применительно к анализу региональных политических конфликтов намечена в диссертации А.В. Роговой, а в дальнейшем продолжена в исследованиях А.И. Кольбы. В частности, А.В. Роговая подчеркивает, что многообразие региональных конфликтов, их прикладная основа обозначают областной уровень, определяющий предметное

поле исследований [Роговая, 2008, с. 16]. Ее применимость обоснована тем, что в рамках одного регионального конфликта могут быть охвачены проблемы, относящиеся к различным областям общественных отношений, а также включенностью регионального пространства в систему федеративных и политико-административных отношений вертикальной и горизонтальной направленности. «Напластование» разнородных проблем в рамках одного региона, интенсивность информационно-коммуникационных взаимодействий в современном обществе, наличие в региональном пространстве множества игроков, заинтересованных в изменении тех или иных его параметров, и ряд других обстоятельств делают вероятность возникновения сложносоставных конфликтов очень высокой [Кольба, 2013, с. 79, 84–85]. Таким образом, концепция сложносоставного конфликта утвердилась в качестве одной из базовых для исследования политических конфликтов на региональном уровне.

Концепция блокового конфликта развивалась параллельно с ней. При этом оригинальность обоих подходов не исключает наличия некоторых схожих положений. В частности, к таковым относится признание разнородности конфликтных процессов при наличии объединяющего их на определенном этапе начала. Для выделения блокового конфликта акцент делается на доминантой линии социального напряжения или социального раскола, на основе который соединяются (блокируются) моноконфликты [Авксентьев, 2008]. Механизм формирования блокового конфликта заключается в агрегировании разнородных предконфликтных, конфликтных и постконфликтных ситуаций на основе доминанты социальной напряженности [Лавриненко, 2009, с. 16]. Рассматривая формирование блоковых конфликтов на примерах межэтнических столкновений в северокавказских субъектах РФ, представители ставропольской школы региональной конфликтологии дали весьма подробный анализ механизмов и сценариев блокирования вокруг этнического фактора [Этнополитические процессы ..., 2011]. На наш взгляд, оно может происходить и на основе других факторов. При этом блоковый тип конфликтов может возникнуть на региональном уровне в тех случаях, когда существует линия напряженности, создающая то поле конфликтности, где преимущественно осуществляется взаимодействие сторон, а также задающая преобладающий дискурс конфликта. В общественном сознании форми-

руется основная «тема» конфликта, он маркируется определенным названием (например, «этнический», «экологический», «политический»), хотя фактически объединяет разные области общественных отношений. Сам регион, по сути, и объединяет совокупность полей развития конфликта как сложносоставная структура. Таким образом, границы применения концепта блокового конфликта могут быть существенно расширены.

Подходы к исследованию природы и структуры региональных политических конфликтов непосредственно связаны с проблемами политического управления ими. Как подчеркивала Л.И. Никовская, «комплексная природа сложносоставного конфликта требует... более сложных технологий и способов управления» [Авксентьев, Гриценко, Дмитриев, 2008, с. 60]. Представляется, что модель многоуровневой институционализации и полисубъектного политического управления региональными конфликтами адекватна сложности самого социального явления. Она предполагает сочетание иерархического и сетевого подходов – «вертикального» и «горизонтального» – при сохранении главенствующей роли государственных структур. Политическая институционализация региональных конфликтов осуществляется на наднациональном и национальном уровнях (выработка базовых норм взаимодействия), а также на субнациональном и субрегиональном (конкретизация правил с учетом специфики региона и конфликтной ситуации). Участники конфликта являются также акторами политического управления, поскольку, выбирая определенную стратегию поведения, каждый из них программирует свое дальнейшее участие в конфликте, и в определенной мере – логику его дальнейшего развития. Принятие акторами решений о выборе стратегических линий своих действий в конфликте является одним из ключевых аспектов деятельности по управлению им и отражается в политическом поле в той степени, в какой взаимодействия акторов опосредованы политическими институтами [Кольба, 2011]. Как отмечает Ф. Шарпф, способность акторов осознавать свои цели хотя бы отчасти обусловлена институциональным контекстом, в котором они действуют [Scharpf, 1997]. Исходя из этого, качество политической институционализации определяет эффективность политико-управленческих действий в конфликтной ситуации.

Большое внимание в контексте политического управления региональными конфликтами уделяется развитию мониторинговых сетей и обеспечению их взаимосвязи с субъектами управления. Основная задача конфликтологического моделирования и мониторинга при этом формулируется следующим образом: информационное обеспечение их последующего менеджмента как процесса практической реализации научно обоснованных и выверенных мер по предупреждению и разрешению конфликтов [Степанов, 2009, с. 17–18]. При этом в него попадает весьма широкий круг данных о процессах регионального уровня [Валиулина, 2002]. Отмечается, что ключевое значение для управления региональными конфликтами имеет прогнозирование кризисов и катастроф с целью «уловить» малые причины и раскрыть их большие следствия [Димитров, 2006, с. 158]. Предлагаются различные наборы индикаторов региональной конфликтности. Так, по мнению Е.А. Щербины, существенное значение при ее анализе имеет учет таких аспектов, как моно- или полиэтничность изучаемого региона, наличие или отсутствие отлаженного механизма взаимодействия между центром и этим регионом, уровень модернизации изучаемого регионального сообщества, включенность региона в инновационные процессы, уровень активности международных акторов в регионе [Щербина, 2010]. Однако следует отметить, что предлагаемые технологии могут быть эффективными при условии доступности массивов открытых данных или возможностей их своевременного получения.

Рассмотренные нами исследовательские подходы являются ключевыми для анализа и политического управления региональными конфликтами, что подтверждается их включением в паспорт научной специальности «23.00.05. – Политическая регионалистика. Этнополитика», утвержденный ВАК. В то же время, как отмечает А.Г. Большаков, для исследовательских целей возможно использование и других парадигм (психологической, социологической, теории международных отношений и др.). Реализация методологического синтеза при этом представляется трудноразрешимой задачей [Большаков, 2012, с. 19].

Городские конфликты как предмет исследования и политического управления

Политическая конфликтология процессов городского развития как субдисциплина начала складываться в нашей стране в несколько более поздний период – во второй половине 2000-х годов. Это объясняется, прежде всего, ростом практической потребности исследований городских конфликтов. Он, в свою очередь, обусловлен комплексом факторов, среди которых приоритетную роль играют начавшееся ускоренное освоение и реформатирование территорий крупных городов России. В результате выросла социальная напряженность, связанная с учащающимися случаями столкновения интересов в социальном пространстве городов, что способствовало активизации городской политики. Последнее обстоятельство также связано с изменениями в политической системе, ограничивающими возможности политического участия на более высоких уровнях ее функционирования.

Отличительной чертой формирования этой субдисциплины является наличие развитой традиции исследования городской среды, заложенной еще в 1930-х годах представителями Чикагской школы социологии [McKenzie, Park, Burgess, 1967]. Со второй половины XX в. городские исследования не только затрагивают причины и факторы возникновения конфликтов в урбанистической среде, но предлагают механизмы их урегулирования, которые апробируются на практике [Healey, 1997; Gunton, Day, 2003; McAuliffe, Rogers, 2019]. В первые десятилетия XXI в. рост интереса к данной проблематике заметен в странах с нарастающей урбанизацией (Китай [Fu, 2015; Liu, 2018], Бразилия¹). При этом прямой перенос ряда сложившихся к указанному времени концептов, исследовательских и управленческих подходов затруднен в силу социальной и политической специфики развития российских городов, а также различий исследовательской оптики. Эти различия ощутимы уже на уровне методологии. К примеру, исследователи, работающие на базе Кембриджского и Манчестерского уни-

¹ Motta L.D. A questão da habitação no Brasil: políticas públicas, conflitos urbanos e o direito à cidade. – 2011. – Mode of access: http://conflitosambientaismg.lcc.ufmg.br/wp-content/uploads/2014/04/TAMC-MOTTA_Luana_-_A_questao_da_habitacao_no_Brasil.pdf (accessed: 28.03.2020)

верситетов, склонны рассматривать городские конфликты скорее как «конфликты в городе», являющиеся проявлением экзогенных, порою глобальных проблем (бедность, насилие и др.) [Locating urban conflicts ..., 2013; Baillie, 2015; O'Connor, 2014]¹. Российские ученые ориентируются на рассмотрение конфликтных процессов, порождаемых собственно городской средой как проявление эндогенных противоречий. Наличие подобных проблем следует учитывать при анализе эволюции данной субдисциплины.

Интерес к проблематике конфликтов в социальном пространстве российских городов первоначально возник в таких отраслях, как социология и урбанистика, что обусловило преобладание градостроительной тематики в публикациях. Социологи городские конфликты рассматривают с позиций согласования интересов участников, позиционного торга [Цой, 2001; Цой, Сергеев, 2006]². Урбанисты в большей степени сосредоточены на технологиях и процессах планирования городского развития, построении коммуникаций между участниками этих процессов [Моисеев, 2012; Чернова, 2008; Кончечков, 2018 б]³, и в этом контексте их работы перекликаются с трудами зарубежных ученых [Ball, Maginn, 2005; Voith, Wachter, 2009]⁴. Указанные исследования так или иначе охватывают аспекты, связанные с политическим уровнем взаимодействия участников городских конфликтов.

¹ См. также: Moser C., Rodgers D. Understanding the tipping point of urban conflict: global policy report. – 2012. – Mode of access: <https://www.gov.uk/dfid-research-outputs/understanding-the-tipping-point-of-urban-conflict-global-policy-report> (accessed: 28.03.2020)

² См. также: Келасьев О.В. Уровни взаимодействия субъектов конфликтов в процессе реализации градостроительных проектов. – 2002. – Режим доступа: <http://conflictmanagement.ru/urovni-vzaimodejstviya-subektov-konfliktov-v-processe-realizacii-gradostroitelnyx-proektov> (дата посещения: 28.03.2020)

³ См. также: Фрейдлин Е.О. Градостроительная деятельность в конфликтном обществе: трансформация традиционной модели. – 2009. – Режим доступа: <http://conflictmanagement.ru/transformaciya-tradicionnoj-modeli> (дата посещения: 28.03.2020); Freidline Y. (2012). Urban planning in conflict society: how to plan and build the berlin wall. – 2012. – Mode of access: http://www.isocarp.net/Data/case_studies/2248.pdf (accessed: 28.03.2020)

⁴ См. также: Pereira A., Mosciaro M. Urban redevelopment, public land and speculation: strategies and conflicts in Porto Maravilha – Rio de Janeiro. – 2015. – Mode of access: <http://www.rc21.org/en/wp-content/uploads/2014/12/C1-2-PEREIRA-MOSCIARO.pdf> (accessed: 28.03.2020)

Собственно политико-конфликтологические исследования отличает ориентация на классические и современные теории конфликта, на основе которых определяются методологические ориентиры: выявление структуры конфликта, форм развития, определение его функциональности, методов конфликтования, возможностей политической институционализации и управления. Таким образом, ключевым вопросом становится применение властных ресурсов в ходе конфликта, позволяющее изменить соотношение сил и исход противостояния [Глухова, Кольба, Соколов, 2018]. Существует и альтернативный подход, основанный на использовании «стратегии конфликта» Т. Шеллинга, согласно которому градостроительные конфликты представляют собой разновидность стратегического взаимодействия между застройщиками и местными жителями. (Отметим, что здесь речь идет о наиболее распространенной в современной России разновидности городских конфликтов.) При этом отмечается, что политико-институциональный контекст оказывает влияние на взаимодействие в ситуации конфликта, но не меняет его логику целиком [Семенов, Шевцова, Бедерсон, 2018]. Несмотря на различие позиций по данному вопросу, в фокусе внимания исследователей данного направления находятся взаимодействия трех основных типов субъектов городских конфликтов: различных сегментов населения города, бизнес-структур и органов власти.

Концептуальные основания исследований формируются в ходе реализации тематических исследовательских проектов, поддержанных российскими научными фондами. При этом выделяется два подхода к осмыслению городской конфликтности. В рамках одного из них внимание фокусируется на деятельности гражданских структур, в том числе низовых, направленной на развитие городского пространства, в ходе которой они становятся участниками конфликтов. При этом вне зоны внимания исследователей не остается и социально-политический контекст происходящего: формы и каналы взаимодействия с властями, способы активизации и мобилизации городских сообществ, возможности сочетания вертикальных и горизонтальных технологий планирования городского развития и другие аспекты. Такой подход характерен для исследователей, составляющих «Санкт-Петербургскую школу» [Тыканова, Хохлова, 2017; Тыканова, 2018; Желнина, Тыканова, 2019; Семе-

нов, 2019], и представлен в ряде исследовательских проектов, реализуемых во второй половине 2010-х – начале 2020-х годов¹.

Второй подход изначально предполагает изучение городского конфликта как объекта политического управления. Динамика и формы развития конфликта, стратегии поведения ключевых акторов рассматриваются как зависимые от институциональных оснований его регулирования и режимных характеристик городского политического пространства. В рамках данного направления исследований существенное внимание уделяется дефиниции понятия «городской конфликт» и определению специфики конфликтных ситуаций, относящихся к данной категории [Кольба, Соколов, 2016]. Эмпирические исследования, проведенные в 2016–2018 гг.², позволили выявить структурные особенности и функциональную роль конфликтов в крупных региональных центрах РФ и ограничения развития их конструктивной составляющей [Глухова, Кольба, Соколов, 2017], а также сложившиеся модели политического управления ими (горизонтальная – «круглого стола» и вертикальная – «экспертного совета») [Глухова, Кольба, Соколов, 2018].

На нынешнем этапе исследований в рамках обоих подходов в центр внимания попадает проблема активизации городских сообществ как субъектов конфликтов и обеспечения конструктивности их участия³. Ее актуализация обусловлена относительно низкими возможностями различных групп горожан в отстаивании своих интересов во взаимодействии с органами власти и бизнесом. Модель «экспертного совета», преобладающая в РФ, предполагает

¹ Проект РГНФ № 16-03-00508 А-03 «Качество городского пространства: векторы развития гражданских инициативных групп в России и Германии», 2016–2018 (рук. Е.В. Белокурова); грант Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых № МК-786.2017.6 «Социальные условия трансформации городского пространства различными группами интересов», 2017–2018 (рук. Е.В. Тыканова); проект РНФ № 18-78-10054 «Механизмы согласования интересов в процессах развития городских территорий», 2018–2021 (рук. Е.В. Тыканова).

² Проект РГНФ-РФФИ № 16-03-00402 «Политическое управление городскими конфликтами в РФ: акторы, стратегии, институциональные основания», 2016–2018 (рук. А.И. Кольба).

³ Проект РФФИ № 19-011-00571 «Конфликты в процессе функционирования городских сообществ крупных региональных центров России: концептуальные основания исследования и политические методы снижения деструктивного потенциала», 2019–2021 (рук. – А.И. Кольба).

тесное взаимодействие властных и бизнес-структур в рамках закрытых сетей, что делает эффективным лоббизм коммерческих инициатив и сужает возможности участия граждан в принятии решений. Возникающие на этой основе политические режимы представляют собой коалиции городских властей и крупного строительного бизнеса [Тыканова, Хохлова, 2017, с. 219], в рамках которых вопросы использования городских территорий решаются в частных, а не в общественных интересах.

Данная проблема является не только исследовательской, но и политико-управленческой. Концепции регулирования городских конфликтов и согласования интересов в социальном пространстве городов, разработанные и апробированные в мировой практике (коллаборативное, критическое, адвокативное планирование и др.), базируются на активной роли сообществ, обладающих высоким уровнем политической и гражданской субъектности. На методическом уровне подобные возможности заложены и в РФ, однако в политико-управленческой деятельности они реализуются ограниченно [Кончечков, 2018 а, с. 279]. Российские исследователи и управленцы, по существу, должны исходить из тезиса о необходимости развития городских сообществ и расширения их возможностей, но в реальности эти процессы зачастую приобретают деструктивный характер (типичный пример – противостояние по поводу строительства храма в центре Екатеринбурга). Сложившиеся же, к примеру, в западноевропейских практиках способы политического управления городскими конфликтами предполагают наличие развитой инфраструктуры сообществ, или как минимум благоприятных условий для ее развития. Успешные практики использования указанных подходов к урегулированию конфликтов в РФ также свидетельствуют о значимости мобилизации городских сообществ [Медведев, 2017]. Таким образом, важной исследовательской задачей является поиск возможностей развития городских сообществ с учетом ограничений, задаваемых политической системой, и разработка практических рекомендаций по использованию апробированных инструментов политического управления конфликтами.

Перспективы развития субдисциплин

Анализ публикационной активности в сфере исследований региональных политических конфликтов за последние годы свидетельствует об определенном спаде интереса к данной проблематике. Возможно, он обусловлен изменением конфигурации регионального политического пространства, в котором в течение 2010-х годов существенно сократилась публичная составляющая. В этих условиях важнейшие события региональных конфликтов перемещаются в сферу закрытых для сторонних наблюдателей отношений. Российское политическое сообщество на данном этапе не разработало инструментария для получения верифицируемых данных о них. Попытки его создания фиксируются достаточно редко и пока не привели к значимым результатам. Представляют определенный интерес идеи И.Р. Аминова, предлагающего рассматривать регион как потоковое сообщество (в духе идей Б. Латура), а акторов конфликтов – как участников сетевых взаимодействий [Аминов, 2016; Аминов, 2017]. Однако на данной стадии исследований они недостаточно концептуализированы.

Исследования городских политических конфликтов, напротив, находятся на подъеме, что, как было показано, отражается в том числе в росте научных публикаций на основе реализованных проектов. Немаловажно и наличие взаимодействия со смежными областями исследований. Так, проблематику городской конфликтности и политического управления ею частично отражают исследования городских политических режимов и протестной активности в крупных региональных центрах, что позволяет получить данные о влиянии режимных характеристик на протекание конфликтов [Чирикова, Ледяев, 2017] и корреляции деятельности протестных сообществ с состоянием социального пространства города [Никифоров, 2019; Пустовойт, 2018]. Освоение сложившихся концептов и развитие собственных, отражающих специфику конфликтности в российских городах, свидетельствует о том, что российские ученые работают в контексте мировых трендов в данной области и могут предложить разработки, соответствующие мировому уровню. Их наличие, как и практическая значимость проводимых исследований, создают хорошую перспективу для дальнейшего развития субдисциплины.

Список литературы

- Авксентьев В.А.* Блоковый конфликт как новый объект исследования конфликтологии и социологии конфликта // Материалы III Всероссийского социологического конгресса. – М.: Институт социологии РАН, Российское общество социологов, 2008. – Режим доступа: http://www.isras.ru/abstract_bank/1208267593.pdf (дата посещения: 28.03.2020)
- Авксентьев В.А., Гриценко Г.Д., Дмитриев А.В.* Региональная конфликтология: экспертное мнение. – М.: Альфа-М, 2007. – 208 с.
- Авксентьев В.А., Гриценко Г.Д., Дмитриев А.В.* Региональная конфликтология: концепты и российская практика. – М.: Альфа-М, 2008. – 368 с.
- Аминов И.Р.* Взаимосвязь региональных акторов как структурных элементов потокового сообщества в этнорегиональных конфликтах // Вопросы федеративных и национальных отношений. – 2016. – № 1(32). – С. 67–73.
- Аминов И.Р.* Кластерный анализ потокового пространства региона // Вестник Московского государственного областного университета. Серия История и политические науки. – 2017. – № 4. – С. 155–160. – DOI: <http://dx.doi.org/10.18384/2310-676X-2017-4-155-160>
- Ачкасова А.В.* Региональные политические конфликты: российский контекст: дис. ... д-ра полит. наук. – СПб., 2002. – 304 с.
- Большаков А.Г.* Региональные политические конфликты в государствах европейской периферии: концептуально-методологические параметры конфликтологического анализа // PolitBook. – 2012. – № 3. – С. 9–22.
- Валиулина Г.Р.* Проблемы моделирования и экспертизы региональных конфликтов: дис. ... канд. соц. наук. – М., 2002. – 172 с.
- Васильев А.В.* Политические конфликты в современной России: опыт регионального исследования: дис. ... канд. полит. наук. – Уфа, 2001. – 174 с.
- Глухова А.В., Кольба А.И., Соколов А.В.* Городской конфликт как объект исследования и политического управления: проблемы концептуализации // Вестник Воронежского государственного университета. Серия История. Политология. Социология. – 2018. – № 4. – С. 5–12.
- Глухова А.В., Кольба А.И., Соколов А.В.* Политико-институциональные и коммуникативные аспекты взаимодействия субъектов городских конфликтов (по материалам экспертного опроса) // Человек. Сообщество. Управление. – 2017. – № 4. – С. 44–65.
- Димитров Д.Й.* Синергетизация региональной конфликтологии // Региональные конфликты в контексте глобализации и становления культуры мира. – М.; Ставрополь: СГУ, 2006. – С. 154–158.
- Желнина А.А., Тыканова Е.В.* Формальные и неформальные гражданские инфраструктуры: современные исследования городского локального активизма в России // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2019. – № 22(1). – С. 162–192. – DOI: <https://doi.org/10.31119/jssa.2019.22.1.8>
- Кольба А.И.* Политические аспекты управления региональными конфликтами: теория и методология: монография. – Краснодар: КубГУ. – 2011. – 126 с.

- Кольба А.И. Политическое управление конфликтами в регионах современной России: дис. ... д-ра полит. наук. – Саратов, 2013. – 400 с.
- Кольба А.И., Соколов А.В. Городской конфликт: проблемы дефиниции, типологии и управления // Конфликтология. – 2016. – № 4. – С. 234–252.
- Конфликты в современной России (проблемы анализа и регулирования). – М.: Эдиториал УРСС, 1999. – 343 с.
- Кончев С.М. Модель структуры градостроительных конфликтов // Architecture and Modern Information Technologies. – 2018 б. – № 3(44). – С. 244–261.
- Кончев С.М. Теоретические представления градостроительного конфликта // Architecture and Modern Information Technologies. – 2018 а. – № 1 (42). – С. 269–286.
- Лавриненко Д.А. Блоковые конфликты на Юге России: содержание и менеджмент: дис. ... канд. полит. наук. – Ставрополь, 2009. – 223 с.
- Медведев И.Р. Разрешение городских конфликтов. – М.: Инфотропик, 2017. – 372 с.
- Моисеев Ю.В. Градостроительное планирование перед лицом новых вызовов // Architecture and modern information technologies. – 2012. – № 4 (21). – Режим доступа: <http://www.marhi.ru/AMIT/2012/4kvart12/moiseev/moiseev.pdf> (дата посещения: 28.03.2020)
- Никифоров А.А. Траектории городской протестной повестки в современной России // Город. Среда. Политика. 2018: сборник материалов научно-практической конференции. – СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2019. – С. 20–24.
- Никовская Л.И. Сложносоставной конфликт как инструмент анализа трансформации и кризиса // Полис: Политические исследования. – 2009. – № 6. – С. 83–94.
- Никовская Л.И., Якимец В.Н. Природа конфликтности российской политической трансформации // Полития. – 2005. – № 2. – С. 125–139. – DOI: <https://doi.org/10.30570/2078-5089-2005-37-2-125-139>
- Пустовойт Ю.А. Земля и воля: городские режимы и протестные сообщества в сибирских городах // Власть и элиты. – 2018. – Т. 5. – С. 295–330. – DOI: <https://doi.org/10.31119/pe.2018.5.11>
- Роговая А.В. Региональная конфликтология: исследовательская парадигма (социолого-управленческий аспект): дис. ... канд. соц. наук. – Москва, 2008. – 206 с.
- Семенов А.В. Корни травы: паттерны низовой городской мобилизации в России // Социологические исследования. – 2019. – № 12. – С. 29–37. – DOI: <https://doi.org/10.31857/S013216250007746-3>
- Семенов А.В., Шевцова И.К., Бедерсон В.Д. Городская мобилизация и градостроительная политика: стратегическое взаимодействие местных жителей и застройщиков в ситуации конфликта // Журнал социологии и социальной антропологии. – 2018. – № 21 (3). – С. 140–169. – DOI: <https://doi.org/10.31119/jssa.2018.21.3.7>
- Степанов Е.И. Управление региональными конфликтами в России: средства и способы обеспечения эффективности // Конфликтология. – 2009. – № 1. – С. 16–33.
- Туровский Р.Ф. Конфликты на уровне субъектов федерации: типология, содержание, перспективы урегулирования // Общественные науки и современность. – 2003. – № 6. – С. 78–89.

- Туровский Р.Ф. Отношения «центр – регионы» в 1997–1998 гг.: между конфликтом и консенсусом // Полития. – 1998. – № 1 (7). – С. 5–32.
- Тыканова Е.В. Уровни участия локальных активистов в борьбе за городское пространство // Город. Среда. Политика. 2018: сборник материалов научно-практической конференции. – СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2019. – С. 37–42.
- Тыканова Е.В., Хохлова А.М. Между политическим и аполитичным: формы участия локальных сообществ в защите городских территорий // Современный город: власть, управление, экономика. – Пермь: ПНИПУ, 2017. – С. 218–236.
- Цой Л.Н. Практическая конфликтология. Книга первая. – М.: Изд-во ООО ИЦП «Глобус», 2001. – 233 с.
- Цой Л.Н., Сергеев С.С. Принципы информирования жителей при реализации градостроительных проектов // Социальное управление, коммуникация и социальные проектные технологии: материалы Всероссийской конференции, приуроченной к 75-летию со дня рождения профессора Тамары Моисеевны Дридзе, 5–6 октября 2005 г. – М.: Институт социологии РАН, 2006. – С. 359–370.
- Чернова Е.Б. Конфликтологические разработки в территориальном планировании // Строительство и транспорт. – 2008. – № 13. – С. 42–47.
- Чирикова А.Е., Ледяев В.Г. Власть в малом российском городе. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2017. – 414 с.
- Щербина Е.А. Региональный уровень изучения конфликтных процессов: теория и практика // Роль конфликтологии в обеспечении сотрудничества государства, бизнеса и гражданского общества: материалы III международного конгресса конфликтологов. – Казань: КГТУ, 2010. – Т. 1. – С. 156–158.
- Щербина Е.А. Этническая конфликтология: региональный аспект. – Черкесск: КЧИГИ, 2011. – 200 с.
- Этнополитические процессы на Юге России: от локальных к блоковым конфликтам / В.А. Авксентьев, С.Н. Зинев, Д.А. Лавриненко, О.И. Лепилкина, Э.Т. Майборода. – Ростов-на-Дону: ЮНЦ РАН, 2011. – 202 с.
- Якимец В.Н., Никовская Л.И. Сложноструктурные конфликты – атрибут постсоциалистической трансформации // Социологические исследования. – 2005. – № 8. – С. 77–90.
- Baillie B. Capturing facades in «conflict-time»: structural violence and the (re)construction Vukovar's churches // Religion, violence and cities / L. O'Dowd & M. McKnight (eds). – London: Routledge, 2015. – P. 40–59.
- Ball M., Maginn P.J. Urban change and conflict: evaluating the role of partnerships in urban regeneration in the UK // Housing studies. – 2005. – N 20 (1). – P. 9–28. – DOI: <https://doi.org/10.1080/0267303042000308705>
- Fu Q. Neighborhood conflicts in urban China: from consciousness of property rights to contentious actions // Eurasian geography and economics. – 2015. – N 56 (3). – P. 285–307. – DOI: <https://doi.org/10.1080/15387216.2015.1095107>
- Gunton T., Day J.C. The theory and practice of collaborative planning in resource and environmental management // Environments. – 2003. – N 31. – P. 5–20.
- Healey P. Collaborative planning: shaping places in fragmented societies. – Vancouver: UBS Press, 1997. – 446 p.

- Liu Y.* Research on the influence factors of the policy tools in NIMBY conflict management – a study based on 25 cases in China // *Open journal of social sciences.* – 2018. – N 6. – P. 164–174. – DOI: <https://doi.org/10.4236/jss.2018.69011>
- Locating urban conflicts: ethnicity, nationalism and the everyday. – Cambridge: Palgrave Macmillan, 2013. – 288 p.
- McAuliffe C., Rogers D.* The politics of value in urban development: Valuing conflict in agonistic pluralism // *Planning theory.* – 2019. – N 18 (3). – P. 300–318. – DOI: <https://doi.org/10.1177/1473095219831381>
- McKenzie R., Park R., Burgess E.* The city. – Chicago: University of Chicago Press, 1967. – 239 p.
- O'Connor K.* Public administration in contested societies. – Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014. – 240 p.
- Scharpf F.W.* Games real actors play. Actor-centered institutionalism in policy research. – Boulder, CO: Westview Press, 1997. – 336 p.
- Voith R.P., Wachter S.M.* Urban growth and housing affordability: the conflict // *The annals of the American academy of political and social science.* – 2009. – N 626. – P. 112–131. – DOI: <https://doi.org/10.1177/0002716209344839>

A.I. Kolba*

Research of regional and urban political conflicts: basic concepts and prospects of development of subdisciplines

Abstract. The article discusses the development of sub-disciplines of political conflictology –the regional and urban political conflicts studies – during the period of the 1990 s – 2020 s. The main trends in the formation of scientific concepts and approaches in these areas are indicated, the features of their evolution are revealed. By the regional political conflict resolution, they are associated with limited opportunities to use foreign developments in a similar orientation. Russian researchers have developed original concepts of “complex conflict” and “bloc conflict”, which have great cognitive potential and it has not been fully realized now. The conflictologies' scientists are working in the field of studying urban development processes are faced with the need to adapt science-based approaches to the analysis of Russian conflict practices. This, in particular, has led to the limited applicability of proven interests matching technologies. The solution of these problems is possible due to the results a number the scientific projects being implemented at the present time. According to the author, at the present stage there is a certain decline in studies of regional political conflicts, associated with a reduction in public policy space in the regions of the Russian Federation, as well as stagnation in the further development of basic concepts. In the field of urban political conflict research, on the contrary, there has been an increase in the number of scientific publications, the development of theoretical and political management approaches.

* **Kolba Alexey**, Kuban State University (Krasnodar, Russia), e-mail: alivka2000@mail.ru

Keywords: regional conflict; urban conflict; complex conflict; bloc conflict; urban communities; political conflict management.

For citation: Kolba A.I. Research of regional and urban political conflicts: basic concepts and prospects of development of subdisciplines. *Political science (RU)*. 2020, N 3, P. 52–73. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.03.03>

References

- Achkasova A.V. *Regional political conflicts: the Russian context*. Diss.... Dr. sci. (polit), Saint Petersburg, 2002, 304 p. (In Russ.)
- Aminov I.R. Relationships between regional actors as structural elements of the community streaming in the ethnic regional conflicts. *Questions of national and federal relations*. 2016, N 1 (32), P. 67–73. (In Russ.)
- Aminov I.R. Cluster analysis of the streaming space of the region. *Bulletin MSRU. Series: history and political science*. 2017, N 4, P. 155–160. DOI: <http://dx.doi.org/10.18384/2310-676X-2017-4-155-160> (In Russ.)
- Avksentiev V.A. Block conflict as a new object of study of conflict resolution and conflict sociology. In: *Materials of the III all-Russian sociological congress*. Moscow: Institute of sociology RAS, Russian society of sociologists, 2008. Mode of access: http://www.isras.ru/abstract_bank/1208267593.pdf (accessed: 28.03.2020) (In Russ.)
- Avksentiev V.A., Gritsenko G.D., Dmitriev A.V. *Regional conflictology: expert opinion*. Moscow: Alpha-M, 2007, 208 p. (In Russ.)
- Avksentiev V.A., Gritsenko G.D., Dmitriev A.V. *Regional conflictology: concepts and Russian practice*. Moscow: Alpha-M, 2008, 368 p. (In Russ.)
- Avksentiev V.A., Zinev S.N., Lavrinenko D.A., et al. *Ethnopolitical processes in the South of Russia: from local to bloc conflicts*. Rostov-on-Don: JSC RAS, 2011, 202 p. (In Russ.)
- Baillie B. Capturing facades in «conflict-time»: structural violence and the (re)construction Vukovar's churches. In: *Religion, violence and cities*. L. O'Dowd, M. McKnight (eds). London: Routledge, 2015, P. 40–59.
- Ball M., Maginn P.J. Urban change and conflict: evaluating the role of partnerships in urban regeneration in the UK. *Housing studies*. 2005, N 20 (1), P. 9–28. DOI: <https://doi.org/10.1080/0267303042000308705>
- Bolshakov A.G. Regional political conflicts in the European periphery: conceptual and methodological parameters of conflict analytic studies. *PolitBook*. 2012, N 3, P. 9–22. (In Russ.)
- Chernova E.B. Conflitological developments in territorial planning. *Construction and transport*. 2008, N 13, P. 42–47. (In Russ.)
- Chirikova A.E., Ledyayev V.G. *Power in a small Russian city*. Moscow: Publishing. House of the Higher School of Economics, 2017, 414 p. (In Russ.)
- Conflicts in modern Russia (problems of analysis and regulation)*. Moscow: Editorial URSS, 1999, 343 p. (In Russ.)

- Dimitrov D.Y. Synergetization of regional conflictology. In: *Regional conflicts in the context of globalization and the formation of a culture of peace*. Moscow, Stavropol: SSU, 2006, P. 154–158. (In Russ.)
- Fu Q. Neighborhood conflicts in urban China: from consciousness of property rights to contentious actions. *Eurasian geography and economics*. 2015, N 56 (3), P. 285–307. DOI: <https://doi.org/10.1080/15387216.2015.1095107>
- Gunton T., Day J.C. The theory and practice of collaborative planning in resource and environmental management. *Environments*. 2003, N 31, P. 5–20.
- Glukhova A.V., Kol'ba A.I., Sokolov A.V. Political-institutional and communicative aspects of interaction of subject of urban conflicts (based on expert survey). *Human. Community. Management*. 2017, N 4, P. 44–65. (In Russ.)
- Glukhova A.V., Kolba A.I., Sokolov A.V. Urban conflict as object of research and political management: conceptualization problems. In: *Bulletin of Voronezh State University. Series: History. Political science. Sociology*. 2018, N 4, P. 5–12. (In Russ.)
- Healey P. *Collaborative planning: shaping places in fragmented societies*. Vancouver: UBS Press, 1997, 446 p.
- Liu Y. Research on the influence factors of the policy tools in NIMBY conflict management – a study based on 25 cases in China. *Open journal of social sciences*. 2018, N 6, P. 164–174. DOI: <https://doi.org/10.4236/jss.2018.69011>
- Locating urban conflicts: ethnicity, nationalism and the everyday*. Cambridge: Palgrave Macmillan, 2013, 288 p.
- Kolba A.I. *Political management of conflicts in the regions of modern Russia*. Diss.... Dr. sci. (polit), Saratov, 2013, 400 p. (In Russ.)
- Kolba A.I. *Political aspects of regional conflict management: theory and methodology: monograph*. Krasnodar: KubSU, 2011, 126 p. (In Russ.)
- Kolba A.I., Sokolov A.V. Urban conflict: problems of definition, typologization and management. *Konfliktologia*. 2016, N 4, P. 234–252. (In Russ.)
- Konchekov S. Theoretical representations of the urban planning conflict. *Architecture and modern information technologies*. 2018 a, N 1 (42), P. 269–286. (In Russ.)
- Konchekov S. The structure of town-planning conflicts model. *Architecture and modern information technologies*. 2018 b, N 3 (44), P. 244–261. (In Russ.)
- Lavrinenko D.A. *Block conflicts in the South of Russia: content and management*. Diss.... Cand. sci. (polit), Stavropol, 2009, 223 p. (In Russ.)
- McAuliffe C., Rogers D. The politics of value in urban development: Valuing conflict in agonistic pluralism. *Planning theory*. 2019, N 18 (3), P. 300–318. DOI: <https://doi.org/10.1177/1473095219831381>
- McKenzie R., Park R., Burgess E. *The city*. Chicago: University of Chicago Press, 1967, 239 p.
- Medvedev I.R. *Resolution of urban conflicts*. Moscow: Infotropik, 2017, 372 p. (In Russ.)
- Moisseev Io. Urban planning in a face of new challenges. *Architecture and modern information technologies*. 2012, N 4 (21). Mode of access: <http://www.marhi.ru/AMIT/2012/4kvart12/moisseev/moisseev.pdf> (accessed: 28.03.2020) (In Russ.)
- Nikiforov A.A. Trajectories of the urban protest agenda in modern Russia. In: *City. Wednesday. Policy. 2018: collection of materials of the scientific and practical con-*

- ference. Saint Petersburg: Russian State Pedagogical University named after A.I. Herzen, 2019, P. 20–24. (In Russ.)
- Nikovskaya L.I. Complex-compound conflict as instrument of analyzing transformation and crisis. *Polis. Political Studies*. 2009, N 6, P. 83–94. (In Russ.)
- Nikovskaya L., Yakimets V. Nature of conflict potential of Russian political transformation. *Politeia*. 2005, N 2, P. 125–139. DOI: <https://doi.org/10.30570/2078-5089-2005-37-2-125-139> (In Russ.)
- Pustovoyt Yu. Land and freedom: urban regimes and protest communities in Siberian cities. *Power and elites*. 2018, Vol. 5, P. 295–330. DOI: <https://doi.org/10.31119/pe.2018.5.11> (In Russ.)
- O'Connor K. Public administration in contested societies. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2014, 240 p.
- Rogovaya A.V. *Regional conflictology: a research paradigm (sociological and managerial aspect)*. Diss.... Cand. Sci. (soc), Moscow, 2008, 206 p. (In Russ.)
- Scharpf F.W. *Games real actors play. Actor-centered institutionalism in policy research*. Boulder, CO: Westview Press, 1997, 336 p.
- Semenov A. The roots of the grass: patterns of grassroots urban mobilization In Russ.ia. *Sociological studies (Socis)*. 2019, N 12, P. 29–37. DOI: <https://doi.org/10.31857/S013216250007746-3> (In Russ.)
- Semenov A., Shevtsova I., Bederson V. Urban mobilization and urban development: strategic interactions between residents and developers in a conflict. *The journal of sociology and social anthropology*. 2018, N 21 (3), P. 140–169. DOI: <https://doi.org/10.31119/jssa.2018.21.3.7> (In Russ.)
- Shcherbina E.A. *Ethnic conflictology: regional aspect*. Cherkessk: KCHIGI, 2011, 200 p. (In Russ.)
- Shcherbina E.A. The regional level of the study of conflict processes: theory and practice. In: *The role of conflict management in ensuring cooperation between the state, business and civil society: proceedings of the III International Congress of Conflictologists*. Vol. 1. Kazan: KSTU, 2010, P. 156–158. (In Russ.)
- Stepanov E.I. Regional conflict management In Russ.ia: means and methods of ensuring effectiveness. *Konfliktologia*. 2009, N 1, P. 16–33. (In Russ.)
- Tsoi L.N. *Practical conflictology. Book one*. Moscow: Publishing House LLC PPI Globus, 2001, 233 p. (In Russ.)
- Tsoi L.N., Sergeev S.S. The principles of informing residents in the implementation of urban development projects. In: *Social management, communication and social project technologies: materials of the all-Russian conference dedicated to the 75 th birthday of professor Tamara Moiseevna Dridze*, October 5–6, 2005. Moscow: Institute of sociology RAS, 2006, P. 359–370. (In Russ.)
- Turovskiy R. Conflicts on the level of subjects of the federation. *Social sciences and contemporary world*. 2003, N 6. P. 78–89. (In Russ.)
- Turovsky R. «Centre – regions» relations in 1997–1998: between conflict and consensus. *Politeia*. 1998, N 1 (7), P. 5–32. (In Russ.)
- Tykanova E.V. Levels of participation of local activists in the struggle for urban space. In: *City. Wednesday. Policy. 2018: collection of materials of the scientific and prac-*

- tical conference*. Saint Petersburg: Russian State Pedagogical University named after A.I. Herzen, 2019, P. 37–42. (In Russ.)
- Tykanova E.V., Khokhlova A.M. Between political and non-political: forms of participation of local communities in the protection of urban territories. In: *Modern city: power, management, economics*. Perm: PNIPU, 2017, P. 218–236. (In Russ.)
- Valiulina G.R. *Problems of modeling and examination of regional conflicts*. Diss.... Cand. Sci. (soc), Moscow, 2002, 172 p. (In Russ.)
- Vasiliev A.V. *Political conflicts in modern Russia: the experience of regional research*. Diss.... Cand. Sci. (polit), Ufa, 2001, 174 p. (In Russ.)
- Voith R.P., Wachter S.M. Urban growth and housing affordability: the conflict. *The annals of the American academy of political and social science*. 2009, N 626, P. 112–131. DOI: <https://doi.org/10.1177/0002716209344839>
- Yakimets V.N., Nikovskaya L.I. Multi-component conflicts as a feature of post-socialist transformation. *Sociological studies (Socis)*. 2005, N 8, P. 77–90. (In Russ.)
- Zhel'nina A., Tykanova E. Formal and informal civic infrastructure: contemporary studies of urban local activism In Russia. *The journal of sociology and social anthropology*. 2019, N 22 (1), P. 162–192. DOI: <https://doi.org/10.31119/jssa.2019.22.1.8> (In Russ.)

В.А. АВКСЕНТЬЕВ, Б.В. АКСЮМОВ, Г.Д. ГРИЦЕНКО*
**ЭТНИЧНОСТЬ В ПОЛИТИЧЕСКИХ КОНФЛИКТАХ:
ЭТНИЗАЦИЯ ПОЛИТИКИ И ПОЛИТИЗАЦИЯ
ЭТНИЧНОСТИ¹**

Аннотация. В статье проведен анализ определений и концепции этнополитического конфликта и показана его противоречивая природа. Этнополитический конфликт может функционировать как «этнизированный» политический конфликт и как политически оформленный этнический конфликт. Этнополитические конфликты, обычно возникающие как конфликты интересов, как продукт этнического антрепренерства, чаще всего дрейфуют в сторону конфликта идентичностей. Именно поэтому этнополитические конфликты относятся к наиболее трудноразрешимым типам конфликтов, иные из них превращаются в затяжные конфликты, разрушительные в своих проявлениях и последствиях. В статье рассматриваются рискогенные аспекты взаимодействия этнических и политических факторов развития общества, приводящие к этнизации политики и политизации этничности, и показано, что предпосылкой и важнейшим фактором генезиса этнополитических конфликтов является политизация этничности. Процесс политизации этничности обусловлен объективно сложившейся в определенном социуме

* **Авксентьев Виктор Анатольевич**, доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник, ФИЦ Южный научный центр РАН (Ростов-на-Дону, Россия), e-mail: avksentievv@rambler.ru; **Аксюмов Борис Владимирович**, доктор философских наук, профессор кафедры социальной философии и этнологии, Северо-Кавказский федеральный университет (Ставрополь, Россия), e-mail: aksbor@mail.ru; **Гриценко Галина Дмитриевна**, доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник, ФИЦ Южный научный центр РАН (Ростов-на-Дону, Россия), e-mail: dissovvet@rambler.ru

¹ Публикация подготовлена в рамках научного проекта «Тенденции этнизации / деэтнизации общественно-политической жизни на Северном Кавказе», грант РФФИ № 20-011-00132.

© Авксентьев В.А., Аксюмов Б.В.,
Гриценко Г.Д., 2020

DOI: 10.31249/poln/2020.03.04

или регионе этнополитической напряженностью, но нередко главным фактором этого процесса становится целенаправленная деятельность этнических антрепренеров, использующих благоприятные для них условия и сознательно наращающих уровень напряженности. В статье рассмотрены теоретические и методологические аспекты политизации этничности и этнизации политики, анализируются ключевые зарубежные и отечественные подходы в изучении феномена политизации этничности и его воздействия на социальные процессы в целом. Отмечается, что большинство авторов видят в основном негативные последствия политизации этничности, хотя ряд исследователей указывают на функциональность этничности для политических систем регионов, в которых существуют давние и прочные традиции соединения политики и этничности.

Ключевые слова: этнополитический конфликт; политизация этничности; этнизация политики; конфликт идентичностей; этническое антрепренерство; антиконфликтотенный менеджмент.

Для цитирования: Авксентьев В.А., Аксюмов Б.В., Гриценко Г.Д. Этничность в политических конфликтах: этнизация политики и политизация этничности // Политическая наука. – 2020. – № 3. – С. 74–97. – DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.03.04>

Этнополитический конфликт: проблемы идентификации

Эпоха холодной войны на долгое время превратила идеологические рамки интерпретации противоречий в основной объяснительный принцип глобальных и региональных конфликтов. Даже те конфликты, в которых очевидными были этнические или конфессиональные компоненты (вроде арабо-израильского), трактовались с учетом глобального противостояния между идеологиями капитализма и коммунизма. Однако появление феномена, получившего название «этническое возрождение», не позволяло и далее игнорировать либо в лучшем случае затушевывать резкое повышение роли этничности в социальных процессах. Одними из первых обратили внимание на «проснувшуюся» этничность Н. Глейзер и Д. Мойнихен, еще в середине 1970-х годов констатирующие, что в качестве мощной политической идеи и мобилизующего принципа этничность приобрела весьма широкое распространение [Glazer, Moynihan, 1975, p. 18–19]. Однако следует отметить, что на самом деле этничность как мощная социальная сила, в том числе как источник конфликта, никогда не «засыпала». Игнорирование или недооценка этничности как источника конфликтных взаимодействий были связаны с господствовавшими

интерпретационными моделями, выдвигавшими на первый план конфликты интересов. В советской науке эта модель в виде классового подхода сохраняла влияние до 1980-х годов, в связи с чем изучение этнических, конфессиональных и других макросоциальных конфликтов началось в нашей стране только после распада Советского Союза.

Сам распад СССР, носивший ярко выраженный этногенный характер, а также серьезнейшие проблемы, с которыми столкнулось новое российское государство во взаимоотношениях с «национальными» регионами, недвусмысленно указали на существенную роль этничности в развитии постсоветского российского общества. Настоящий бум политизации этничности, пришедшийся на 1990-е годы, вместившие две войны в Чечне, волну сепаратистских настроений, эксплицировал не только проблему «проснувшейся» этничности, но и сделал очевидной ее связь с политикой. Наряду с уже имевшимися понятиями этнического и политического конфликтов возникла необходимость в разработке и инструментализации понятия этнополитического конфликта.

Как правило, в российской науке этнополитический конфликт так или иначе определяется через понятие этнического конфликта. Например, В.А. Тишков и Ю.П. Шабаев утверждают, что «любой этнический конфликт одновременно является этнополитическим» [Тишков, Шабаев, 2011, с. 191; см. также: Ачкасов, 2013, с. 45]. При этом этнический конфликт определяется ими как форма «гражданского противостояния на внутригосударственном или трансгосударственном уровне, при котором хотя бы одна из сторон организуется и действует по этническому признаку или от имени этнической общности». В то же время этнополитический конфликт – это «борьба различных социальных групп, которые организуются по этническому принципу, и этот принцип становится основанием их идеологического и политического противостояния» [Тишков, Шабаев, 2011, с. 193]. По определению А.-Х.А. Султыгова, «этнополитический конфликт является особой разновидностью этнического конфликта, обусловленной политическим, экономическим, социокультурным, территориальным неравенством этносов или их дискриминацией по названным основаниям, которая характеризуется столкновением интересов этнических групп, этнической группы и государства по поводу повышения или опасений утраты имеющегося статуса этноса, его

частичного или полного самоопределения» [Султыгов, 2006, с. 12]. По мнению А.М. Мурадова и З.М. Алиевой, «этнополитические конфликты также можно назвать межэтническими или межнациональными» [Мурадов, Алиева, 2019, с. 111].

В приведенных определениях и трактовках этнополитического конфликта конфликтообразующим фактором является этничность: либо этнический конфликт постепенно трансформируется в этнополитический, либо имеющиеся этнические противоречия приобретают характер политического противостояния или борьбы за реализацию определенных политических интересов. Вместе с тем встречаются и такие определения этнополитического конфликта, в которых главным содержанием описываемого противостояния выступают политические противоречия, уже затем опирающиеся на этнические различия, когда происходит использование этих различий в целях политической мобилизации.

Среди трактовок этнополитического конфликта необходимо выделить трактовки, основанные на субъектно-деятельностном подходе – одном из основополагающих в конфликтологии. Согласно А.Р. Аклаеву, «этнополитические конфликты представляют собой столкновение субъектов политики в их стремлении реализовать свои интересы и ценности, связанные с достижением или перераспределением политической власти, определением ее символов, а также группового политического статуса и приоритетов государственной политики, в которых этнические различия становятся принципом политической мобилизации, и по крайней мере одним из субъектов является этническая группа» [Аклаев, 2008, с. 25].

При анализе имеющихся в научной литературе определений и интерпретаций этнополитического конфликта мы сталкиваемся с первой важной проблемой, препятствующей четкой идентификации этого феномена. Само наименование подобного конфликта указывает на тесную переплетенность в нем этнических и политических компонентов, характер взаимосвязанности которых часто не поддается четкому определению. Почти всегда очень трудно, а порой и невозможно установить, какой именно фактор – политический или этнический – стал главным в генезисе этнополитического конфликта. Кроме того, необходимо учитывать еще одну сложность, отмеченную В.А. Тишковым: в одних случаях этничность становится прикрытием для политической борьбы, а в дру-

гих случаях, наоборот, политические лозунги и риторика маскируют серьезные межэтнические противоречия [Тишков, 1992, с. 25–26].

Одним из авторов настоящего исследования было предложено «различать этнополитический конфликт как тип политического конфликта и как тип этнического конфликта, хотя четкой границы между ними не существует. В первом случае этнический конфликт выступает как форма политического по содержанию конфликта, во втором – как содержание конфликта, которое приобретает политическое оформление. Зачастую эти два подтипа этнополитического конфликта представляют собой стадии эволюции одного многофакторного конфликта: на первой стадии политические элиты используют этнический фактор как средство в политической борьбе, после чего борьба между этническими группами из средства перерастает на второй стадии уже в содержание конфликта. Но возможен и обратный процесс: этнический конфликт развивается из отдельных локальных очагов этнической напряженности, не имея первоначально существенного политического оформления, и постепенно происходит политическая институционализация этого конфликта» [Авксентьев, 2001, с. 203].

Вторая важная проблема, возникающая при попытках аналитической идентификации этнополитического конфликта, связана с традиционной конфликтологической дихотомией «конфликт интересов – конфликт идентичностей». Можно допустить, что политические компоненты этнополитического конфликта символизируют его относительную рациональность, которая указывает на его связь с конфликтом интересов, т.е. с достижением практических политических, экономических и в целом материальных целей. Этнические компоненты этнополитического конфликта изначально иррациональны, они имеют преимущественно эмоциональную основу, апеллируют к защите культурных ценностей и отстаиванию групповой идентичности. Следовательно, этнополитический конфликт эволюционирует в двух направлениях: либо он рационализируется по мере нарастания степени политической институционализации, либо, наоборот, иррационализируется по мере возрастания этнического фактора и расширения дискурса о ценностях и идентичности. В этом смысле можно утверждать, что наиболее предпочтительной траекторией трансформации этнополитического конфликта как управленческой тактики является его рационализация, поскольку в таком случае повышается вероятность конструк-

тивного урегулирования конфликта, минимизации негативных последствий для этнополитической системы.

Рационализировать этнополитические конфликты, перевести их из плоскости конфликтов идентичностей в плоскость конфликта интересов удастся далеко не всегда. По этой причине этнополитические конфликты относятся к категории наиболее трудноразрешимых и по этой же причине в современной мировой этнополитологии преобладает понимание этнополитических конфликтов в первую очередь как конфликтов идентичностей. Так, по мнению Т. Гурра, «борьба в этнополитических конфликтах разворачивается не просто вокруг материальных или властных проблем, но ради защиты культуры группы, ее статуса и идентичности» [Gurr, 1997, p. 10]. Согласно В.А. Ачкасову, «этнополитические конфликты являются не только и не столько конфликтами интересов, сколько конфликтами идентичностей, так как участие в конфликте преимущественно на основе групповых мотивов обязательно предполагает отождествление человека с группой, участвующей в конфликте, его этническую идентификацию... Очень часто в основе этнополитического конфликта лежит некое иррациональное начало, кроющееся в культурных стереотипах, неудовлетворенных (мнимых и реальных) исторических обидах, мифологизированных представлениях друг о друге...» [Ачкасов, 2013, с. 50, 52].

Ряд исследователей считают аксиологическую иррационализацию социального противостояния главным признаком генезиса конфликта в качестве этнополитического: «Конфликт мгновенно приобретает этнополитический характер, если в любом конфликте по поводу любых ценностей одна из сторон переходит на иррациональную, по сути, платформу, заявляя, что истинным источником конфликта являются не некие материальные ресурсы, а идентификационные ценности» [Калинина, Муходадаев, Сморгунова, 2017, с. 14]. В.В. Лапкин и В.И. Пантин остроту и сложность этнополитических конфликтов объясняют тем, что «они являются конфликтами не только интересов, но и различных систем ценностей, различных мировоззрений» [Лапкин, Пантин, 2016, с. 92]. Согласно В.А. Тишкову и Ю.П. Шабаеву, «рациональные политические механизмы урегулирования нередко оказываются неэффективными потому, что в основе конфликта лежит некое иррациональное начало, кроющееся в культурных стереотипах, неудовлетворенных

исторических обидах, мифологизированных представлениях и т.п.» [Тишков, Шабает, 2011, с. 205].

Следует признать, что «борьба идентичностей» является существенной составной частью этнополитического конфликта, хотя полностью сводить этнополитические конфликты к конфликтам идентичностей, разумеется, не следует. Корректнее говорить о том, что этнополитический конфликт может существовать в двух режимах – как конфликт интересов и как конфликт идентичностей. В зависимости от степени рационализации / иррационализации, преобладания политических или этнических мотивов, оформления дискурса о конфликте в СМИ, а также среди самих участников этнополитический конфликт меняет режим своего существования. С учетом опыта анализа конфликтов, которые обозначаются исследователями как этнополитические, можно утверждать, что режим конфликта идентичностей в подобных конфликтах более выражен и в большей степени определяет их развитие, что также указывает на преобладание в них этнического (эмоционального, иррационального) компонента.

Конфликт идентичностей нами определяется как «конфликт между социальными субъектами, воспринимающими конфликтную ситуацию как угрожающую собственной групповой целостности, а противоположную сторону – как источник угрозы собственной идентичности» [Авксентьев, 2003, с. 8]. Переход в рамках протекания этнополитического конфликта к режиму конфликта идентичностей или его усиление связаны с этнической (этнополитической) мобилизацией [Ачкасов, 2014]. Главная задача этнической мобилизации – трансформация конфликта интересов в конфликт ценностей (идентичностей). Подобная трансформация конфликта делает его особенно взрывоопасным и повышает риски применения вооруженной силы. По утверждению М. Тофта, возможность «перерастания этнического конфликта в вооруженное противостояние с центральной властью в два раза выше, чем подобная вероятность для иных типов внутренних конфликтов. А шансы, что внутренний конфликт перерастет в обычную, т.е. межгосударственную, войну, в четыре раза выше для этнических конфликтов» [цит. по: Ачкасов, 2013, с. 52].

Для идентификации этнического конфликта наиболее важны дискурсивные самоописательные характеристики. «Поскольку любой социальный конфликт – это деятельность групп людей или

отдельных лиц, идентифицирующих себя как представителей конфликтующей группы, важно выявить, как сами участники определяют себя в конфликтном взаимодействии. В случае если они определяют себя и / или противоположную сторону в этнических категориях (используют этнонимы, этнические прозвища, обобщающие признаки), этот конфликт можно считать этническим вне зависимости от причин его возникновения, сферы протекания, масштабов и других характеристик» [Авксентьев, 2013, с. 103]. Дискурсивный фактор самоописания и описания противоположной стороны в определенных терминах весьма важен и для идентификации этнополитического конфликта. Также большое значение имеет наличие объективного этнического (культурного) раскола внутри полиэтнического социума. Поэтому «обозначим этнополитический конфликт как тип социального конфликта, субъекты которого идентифицируют себя, противоположную сторону или друг друга в этнических категориях, и содержанием и / или формой которого является борьба за контроль над государственными институтами. Этнополитический конфликт есть проявление, обнаружение существующего в обществе этнического раскола через механизмы политической деятельности» [Авксентьев, 2001, с. 206].

Политизация этничности, этнизация политики и этническое антрепренерство

Как показали события в России в последние годы (обсуждение предложения о принятии закона о российской нации в 2016–2017 гг., острая реакция в подавляющем большинстве республик на внесение поправок в закон о языке в 2018 г., критический настрой в республиках относительно включения в качестве поправки к Конституции России положения о «языке государствообразующего народа»), этничность продолжает играть значительную роль в общественно-политической жизни страны и периодически выступает линией раскола в конфликтах. Сама по себе этничность не является ни источником, ни фактором конфликта, она превращается в таковую в случае политизации. Поэтому проблемы политизации, деполитизации и реполитизации этничности сохраняют актуальность. Вопросы политизированной этничности причисляются к наиболее трудноразрешимым, несмотря на множество исследова-

ний, научных изысканий в данной области. Достаточно большое число публикаций, появившихся в научной литературе в последнее время, свидетельствует, с одной стороны, о массовой терминологической экспансии «политизации этничности», с другой – о необходимости четкого понимания содержания этой научной дефиниции.

Для осмысления понятия «политизация этничности» целесообразно обратиться к современной методологии. В методологическом отношении зарубежная, особенно американско-британская, этнополитология практически с самого начала своей институционализации двигалась в сторону конструктивистского понимания этничности. Можно сказать, что самоопределение этнополитологии началось с публикации статьи М. Паренти «Этнополитика и жизнеспособность этнических идентификаций» (1967), а завершилось выходом в свет работы Дж. Ротшильда «Этнополитика» (1981). Согласно конструктивистской методологической установке, этнические свойства есть некий сырой материал, который поддается организации и которому можно придать тот или иной смысл теми или иными способами [Гринфельд, 2008, с. 18]. Э. Балибар, поддерживая данную точку зрения, обращает внимание на то, что этнической базой по умолчанию не обладает ни одна нация и что она обретается нациями по мере того, как национализируются их общественные формации, а население в результате включения в эти формации постепенно «этнизруется» [Балибар, 2004, с. 114]. То есть, согласно конструктивистскому подходу, этничность образуется в ходе длительного исторического социального конструирования. В результате объективность этничности (национальности) ставится рядом исследователей под сомнение. Так, согласно Р. Брубейкеру, национальности, по существу, являются «способами восприятия, интерпретации и представления социального мира. Они – не вещи-в-мире, а точки зрения на мир... Они включают этнически ориентированные... нарративы», которые приводятся в действие ситуативными сигналами, доставляемыми не в последнюю очередь средствами массовой информации. И, наконец, они содержат «само собой разумеющееся фоновое знание, воплощенное в людях и встроенное в институциональную рутину и практики, через которые люди опознают и воспринимают предметы, места, лиц, действия и ситуации как этнически, расово или национально окрашенные или значимые» [Брубейкер, 2012, с. 42]. Именно в

ходе этого процесса этничность и приобретает политическое оформление, становится политизированной этничностью.

Понятия «политизированная этничность», «политизация этничности» впервые введены в научный оборот Дж. Ротшильдом в 1981 г. в книге «Этнополитика». С его точки зрения, «политизированная этничность» является важнейшим политическим феноменом современности. Под политизацией этнической идентичности, по мнению Дж. Ротшильда, подразумевается такой «уровень ее мобилизации, в результате которой она превращается из психологической, или культурной, или социальной величины в собственно политическую силу с целью изменения или стабилизации сложившихся в обществе конкретных систем неравенства среди этнических групп» [Rothschild, 1981, p. 2].

Политизация этничности достигается путем демонстрации функций, выполняемых этнической идентичностью. В результате придается политический характер этнической принадлежности и конституируется этническая природа политики [Leach, Brown, Worden, 2008, p. 758–768]. «Именно этническая принадлежность, – уточняет Э. Балибар, – позволяет видеть в государстве выражение предсуществующего единства, все время соотносить его с “исторической миссией” на службе нации и, следовательно, идеализировать политику» [Балибар, 2004, с. 114].

Как полагают исследователи, политизированная этничность используется «субэлитами» (Дж. Ротшильд) в качестве основы для политических стратегий, борьбы и движений. И здесь, по утверждению Дж. Ротшильда, немаловажен учет политических целей «субэлит» и той тактики, которой в связи с этими целями должно придерживаться государство [Ротшильд, 2000, с. 162–165].

Среди «субэлит» особо необходимо выделить «специалистов по этничности» вроде дельцов на ниве этнополитики, которые... могут жить не только “ради” этничности, но и “с” этничностью» [Bourdieu, 1991, p. 220; Бурдьё, 2003, с. 50]. Такое выделение важно, поскольку деятельность специалистов по этничности, или этнических антрепренеров, часто носит, по удачному выражению П. Бурдьё, перформативный характер. Согласно Р. Брубейкеру, употребляемые ими этнически окрашенные «категории» нацелены на действие – призваны расшевелить, вызвать, оправдать, мобилизовать, зажечь и придать энергию этническим группам. Этот социальный процесс обозначается как овеществление этнических

групп, что позволяет трактовать их «как субстанциальные вещи-в-мире» [Брубейкер, 2012, с. 28].

Именно овеществление этнических групп «дельцами от этнополитики», полагают конструктивисты, является основой политизации этничности. Уже само по себе овеществление этнических групп как социальный процесс играет главенствующую роль в практике политизированной этничности, по Р. Брубейкеру. При этом, по мнению сторонников конструктивистского понимания этничности, критика «специалистов по этничности» за овеществление этнических групп – категориальная ошибка, поскольку именно данный социальный процесс является бизнесом «деятелей на ниве этнополитики». И когда этническим антрепренерам удается добиться успеха, по утверждению Р. Брубейкера, политическая фикция единства этнической группы может получить кратковременное, но мощное практическое воплощение в результате реального кристаллизования чувств группы [Брубейкер, 2012, с. 42]. Этнические антрепренеры, будучи сознательно заинтересованными в мобилизации этнической принадлежности, используют, как отмечает А. Божич-Робертсон, такие инструменты политизации этничности, как средства массовой информации и политическая риторика. Максимальная возможность политизации этничности, утверждает исследователь, предоставляется этническим предпринимателям в переходных обществах, в которых политизированная этническая принадлежность становится для них важнейшим принципом политической легитимации [Bozic-Roberson, 2001].

Итак, с точки зрения конструктивистского взгляда на проблемы этничности этничность не есть вещь-в-мире, она конструируется в ходе длительного социального процесса и выступает фоновым знанием о мире, воплощенным в людях и встроенным в этнически значимую практику. В процессе своего функционирования этничность в результате деятельности этнических антрепренеров приобретает политический характер и становится важнейшим политическим феноменом современности. Особенно часто этничность мобилизуется этническими антрепренерами в политически и экономически нестабильных обществах для реализации своих политических целей и стратегий.

Однако политические цели и стратегии могут иметь разную направленность. Анализ современной западной литературы в области этнологии показывает, что большинство авторов говорят о

негативных последствиях политизации этничности. Одной из наиболее значимых за последние пять лет работ по изучению практики использования политизированной этничности является исследование А. Вебера, У. Хирса и А. Флескена, результаты которого описаны в монографии «Политизированная этническая принадлежность. Перспективы в сравнительной политике». Авторами обосновано, что страны, для которых свойственен процесс политизации этничности, характеризуются низкой макроэкономической стабильностью, замедлением темпов роста, неэффективностью управления, ростом коррупции, нестабильностью демократической системы, латентностью и / или реальностью насильственных конфликтов [Weber, Hiers, Flesken, 2016]. Другие аналитики обращают внимание на такое наиболее часто фигурирующее следствие политизации этничности, как этнополитические конфликты [Adediji, 2016]. Провоцируя конфликты во имя этнических групп, антрепренеры тем самым усиливают политическое значение этнической принадлежности и создают групповую солидарность [Maksić, 2017].

Во второй половине XX в., как указывают специалисты в области этнополитики, возникла крайне противоречивая ситуация: с одной стороны, для достижения политических целей, направленных на обеспечение коллективного здоровья этноса, мобилизовался этнический фактор. С другой стороны, в результате использования политизированной этничности значительно возросло число этнических конфликтов, демонстрирующих крайние формы насилия, а также нередко приобретающих неразрешимые формы с кратко- и долгосрочными последствиями для благосостояния местного населения [Pedersen, Kienzler, 2017]. Данные теоретические положения делались на основе сложившегося в зарубежной литературе, посвященной проблематике политизации этничности, своеобразного «пула кейсов» [Bozic-Roberson, 2001; Becker, 2018; Posner, 2005; Adediji, 2016].

Обширный и достаточно противоречивый «пул кейсов» по этнической проблематике накоплен и в Российской Федерации, особенно в Северо-Кавказском регионе. Сохранение на протяжении длительного времени интереса к процессам политизации этничности обусловлено поиском новых объяснительных моделей «манифестирования» этничности в регионе.

Следует иметь в виду, что данная проблематика в современной российской науке, как правило, анализируется в контексте

изучения проблем нациестроительства, формирования российской идентичности, вопросов, связанных с федеративным устройством российского государства. Политизированная этничность нередко рассматривалась как фактор достижения, изменения, закрепления и легитимации правового статуса этнонации в этносоциальной и политико-правовой структуре полиэтнического общества [Романов, 2017]. Это нашло отражение в создании достаточно основательной законодательной базы, регулирующей взаимодействие государства и этнических групп, оформлении доктринальной основы этнополитики [Шабаев, 2015].

Все многообразие теоретико-методологических исследований вопроса о роли и значении политизированной этничности в полиэтничном сообществе, о сущности процесса политизации этничности в политико-государственном устройстве можно разделить на несколько научных направлений.

Первое – это рассмотрение политизированной этничности как функциональной детерминанты, необходимой для эффективного развития этнокультурных регионов, обладающих правом в рамках федерализма на определенную степень политической автономии. С точки зрения сторонников данного направления, например Т.А. Нигматуллиной, политизация этничности в региональных процессах носит объективный характер [Нигматуллина, 2016], и поэтому непризнание значимости этнического фактора в политике приводит к разрушению целостности страны и формированию гражданского неповиновения в обществе [Файзуллин, Файзуллин, 2014]. Для поступательного развития полиэтничных регионов нужны организации, координирующие, интегрирующие интересы всех российских национальностей и культур. Это обусловлено, по мнению Р.Г. Абдулатипова и В.А. Михайлова, также тем, что «все они являются активными субъектами государственной этнонациональной политики. Многие этнонациональные и многонациональные организации, как институты гражданского общества, конструктивно взаимодействуют с органами власти в федеральном центре и на местах. В ряде регионов страны обеспечивается представительство национальностей в органах власти. Более полное представительство национальностей страны в федеральных и в местных органах власти и прежде всего в представительных, законодательных органах – одна из мер обеспечения стабильности многонационального государства» [Абдулатипов, Михайлов, 2014, с. 10].

О необходимости учета этничности при распределении властных позиций в полиэтничных республиках, в том числе Северного Кавказа, говорят и другие исследователи, в частности А.З. Адиев, видя в этом фактор этнополитической стабильности в регионе [Адиев, 2018]. Некоторые исследователи акцентируют внимание на отрицательных последствиях деполитизации этничности. Так, И.М. Сампиев видит угрозу региональной политизированной этничности со стороны макросоциальных проектов, инициируемых федеральным центром. По его мнению, разрабатывается некий «неоимперский проект», который крайне деструктивен для многонационального, многоконфессионального, социокультурно расколотого общества, поскольку в этих условиях подобный подход означает провоцирование конфликта ценностей. Конструкт «российская нация» в гибридном неоимперском проекте, полагает ученый, должен помочь без сопротивления создать «империю» – унитарное и, по сути, русское этнократическое государство [Сампиев, 2017].

Сутью следующего направления в трактовке роли политизированной этничности в современной России является понимание ее как прямой угрозы нациестроительству и целостности российского государства, как причины этнополитических конфликтов, роста экстремизма и сепаратизма. В условиях глобализации и универсализации системы ценностей, как утверждают сторонники данного направления, этнические процессы не затухают, как ранее предполагалось, а, напротив, идеологизируются, что выражается в стремлении этнических групп, не обладающих государственностью, к политическому обособлению и сепаратизму [Сикевиц, 2014]. Первоначально политизированная этничность способствовала возникновению национально-культурных движений, что имело позитивную направленность. Однако в настоящее время она сформировалась в деятельную политическую силу и стала орудием борьбы за власть в руках политических элит, инструментом дезинтеграции и роста энтропийных процессов на полиэтничном пространстве России [Скворцов, 2017]. Представители этого направления убеждены, что именно в результате активных усилий этнических антрепренеров – чиновников, политиков, лидеров боевиков, интеллектуалов и т.д. – социально-экономические, этнополитические, конфессиональные и другие различия (реальные или надуманные) и формируемые на этой основе негативные идентич-

ности могут становиться действенным основанием не только для негативного восприятия группами друг друга, но и для их ожесточенного противостояния в ходе этнополитических конфликтов и гражданских войн [Ачкасов, 2015]. По утверждению В.А. Тишкова, «наличие этнонациональных институтов в республиках, сохранение традиционных систем, поддержка и развитие партикулярных этнических культур (литература, народное искусство и ремесло, этнотуризм и другие) поддерживают этническую идентичность среди нерусского населения, придавая ей в ряде ситуаций и случаев первичную значимость. Эта первичность может выливаться в межэтнические противоречия и даже в отторжение общего государства» [Тишков, 2018, с. 5]. Некоторые исследователи полагают, что распространению на Северном Кавказе исламского фундаментализма в немалой степени способствует высокий уровень политизации этничности в регионе, поскольку это ведет к ослаблению общегосударственной и усилению этноконфессиональной идентичности [Козлов, 2017]. Политизация этноконфессиональной идентичности на Северном Кавказе становится одной из угроз региональной стабильности и национальной безопасности на южном направлении.

Далее, следует выделить группу исследователей, которые, отчетливо видя риски политизации этничности, делают акцент на поиске путей снижения рисков и угроз, обусловленных этим процессом. В.А. Тишков главным противовесом этнокультурному центризму считает гражданскую интеграцию, осуществляемую в результате целенаправленных усилий элиты и власти. Подобная интеграция, по его мнению, ведет к формированию общенациональной культуры с ее собственным восприятием существующих ценностей и символов. «Этот процесс опирается на длительный опыт взаимодействия и взаимовлияния представителей разных культур и верований в рамках исторического российского государства: Российской империи, СССР и Российской Федерации» [Тишков, 2018, с. 6]. М.А. Аствацатурова главный барьер на пути возможной политизации этнического фактора в Северо-Кавказском регионе видит в укреплении российской гражданской идентичности [Аствацатурова, 2016]. Этой точки зрения придерживаются и некоторые другие исследователи. Например, Э.А. Паин и С.Ю. Федюнин, отмечая усиление «этнического фактора» в политической жизни России и Северного Кавказа, утверждают, что «для интеграции народов России в единую политическую нацию

необходимо преодолеть конкуренцию идентичностей и найти общие основания для самоидентификации людей со всей страной. Вряд ли можно найти лучшее основание, чем гражданская идентичность в ее связи с гражданскими же практиками: все мы граждане одной страны – Российской Федерации» [Паин, Федюнин, 2017, с. 151]. Формирование гражданской идентичности в качестве важнейшего инструмента деполитизации этничности отмечает также И.С. Семененко [Семененко, 2015]. Кроме того, полагают исследователи, в Северо-Кавказском регионе необходимо идеологически усиливать надэтнический по своему характеру дискурс гражданского равноправия в целях обеспечения примата гражданской идентичности над этнической и религиозной [Аликберов, 2019].

Некоторые ученые делают акцент на культурном понимании современной российской нации, на социокультурной интеграции и видят залог национального единства в формировании и сохранении общей системы ценностей. В настоящее время, по мнению этих исследователей, в частности М.К. Горшкова, в современной России не только сохранила свою устойчивость, но и преобладает ценностно-нормативная система, первоосновой которой является особая роль государства-державы. Державное понимание общества и державная версия патриотизма, согласно социологическим исследованиям, свойственны подавляющему большинству россиян, что проявляется в общности понимания основополагающих норм и ценностей [Горшков, 2017].

Часть этнополитологов полагают, что в современных условиях, с учетом неспособности государственно-гражданской идентичности купировать межэтнические и межконфессиональные противостояния, возникла насущная потребность в таких проектах нациестроительства, которые смогут стать основой для формирования трансэтнической нации-цивилизации и конструирования национально-цивилизационной идентичности в результате консолидации российского общества [Лубский, Посухова, 2016].

Попыткой осуществить перевод этнонациональной проблематики из политического в культурное русло стала утвержденная в 2018 г. новая редакция «Стратегии государственной национальной политики на период до 2025 г.», в которой содержательно, хотя и не терминологически, ставится задача деполитизации этничности. Эти изменения в приоритетах в новой редакции «Стратегии...» далеко не всегда находят понимание и поддержку среди гумани-

тарной интеллигенции в республиках, звучат утверждения, что «Стратегия...» имеет мало отношения к национальной политике, поскольку задача последней – развитие народов России, национальных культур и языков, а не построение интегрированного общества. По мнению ряда исследователей, приоритетным показателем стабильности в регионе остается этнический компонент, определяющий функционирование полиэтнического общества [Хунагов, Шадже, Куква, 2015].

Выводы

В аналитическом плане этнополитические конфликты необходимо рассматривать в контексте этнизации политики и политизации этничности. Именно политизированная этничность является базой для превращения этнических различий в конфликтогенный фактор. Особенностью современных этнополитологических исследований является повышенное внимание к социокультурным, ценностным компонентам этнополитических конфликтов. Часто происходящая трансформация этнополитического конфликта в конфликт идентичностей означает расширение базы и усложнение путей его урегулирования.

Россия в настоящее время переживает очередной виток политизации этничности, что повышает вероятность возникновения этнополитических конфликтов. Этот процесс начался в середине 2018 г. и показал глубину политизации этничности в современном российском обществе. Доктринально оформленный курс российского государства на формирование российской гражданской идентичности, на укрепление интеграционных тенденций не получил пока устойчивой поддержки в научно-экспертной среде в регионах России, где сохраняются установки на дальнейшую этнизацию общества и политическое оформление этничности.

Список литературы

- Абдулатипов Р.Г., Михайлов В.А.* Федеративная демократия и единство многонациональной страны // Публичное и частное право. – 2014. – № 3 (23). – С. 7–18.
- Авксентьев В.А.* Этническая конфликтология: в поисках научной парадигмы. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2001. – 262 с.

- Авксентьев В.А. От этнического конфликта к конфликту идентичностей // Этнические проблемы современности: сборник статей / под ред. В.А. Авксентьева. – Ставрополь: Изд-во СГУ, 2003. – Вып. 8/9. – С. 3–10.
- Авксентьев В.А. Идентификация этнического конфликта как проблема этноконсалтинга и этноконфликтологической экспертизы // Вестник Российской нации. – 2013. – № 5. – С. 88–103.
- Авксентьев В.А., Гриценко Г.Д. Рискогенные факторы в этнополитической сфере Северного Кавказа // Научная мысль Кавказа. – 2018. – № 4. – С. 81–91.
- Адиев А.З. Представительство этнических групп в органах власти как фактор социально-политической стабильности на Северном Кавказе // Ойкумена. Регионоведческие исследования. – 2018. – № 4 (47). – С. 7–16.
- Аклаев А.Р. Этнополитическая конфликтология: анализ и менеджмент. – М.: Дело, 2008. – 471 с.
- Алиберов А.К. Проблема формирования российской идентичности в культурно-сложных обществах Северного Кавказа (системно-коммуникационный дискурс) // Вестник Российской нации. – 2019. – № 1 (65). – С. 45–57.
- Астацатурова М.А. Макрорегиональная этнополитология: некоторые обобщения в управленческом контексте // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки СКАГС. – 2009. – № 3. – С. 112–121.
- Астацатурова М.А. Проект российской гражданской идентичности в контексте нациестроительства: северокавказские проекции // Гуманитарий Юга России. – 2016. – Т. 22, № 6. – С. 23–29.
- Ачкасов В.А. Этнополитический конфликт как следствие этнизации социальных проблем // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. – 2013. – Т. 9, № 2. – С. 41–61.
- Ачкасов В.А. Этнополитическая мобилизация: попытка концептуализации понятия // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6: Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения. – 2014. – № 3. – С. 81–89.
- Ачкасов В.А. Этнополитический конфликт как конфликт идентичностей // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6: Политология. Международные отношения. – 2015. – № 1. – С. 37–43.
- Балибар Э. Национальная форма: история и идеология // Балибар Э., Валлерстайн И. Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности / пер с фр. под ред. О. Никифорова, П. Хицкого. – М.: Логос, 2004. – С. 103–124.
- Брубейкер Р. Этничность без групп / пер. с англ. И. Борисовой. – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2012. – 408 с.
- Бурдые П. Политическая онтология Мартина Хайдеггера / пер. с фр. А. Бикбова. – М.: Праксис, 2003. – 256 с.
- Горшков М.К. О гармонизации межэтнических отношений в пореформенной России: контекстуальный подход // Гуманитарий Юга России. – 2017. – № 2. – С. 14–25.
- Гринфельд Л. Национализм. Пять путей к современности. – М.: ПЕР СЭ, 2008. – 527 с.
- Дробизева Л.М. Гражданская российская идентичность: динамика и потенциал в консолидации полиэтнического общества // Этническое и религиозное много-

- образии России / под ред. В.А. Тишкова, В.В. Степанова. – М.: ИЭА РАН, 2018. – С. 107–118.
- Калинина Е.Ю., Мухудадеев М.О., Сморгунова В.Ю. Этнополитический конфликт как конфликт идентичностей: кризис современного правосознания // Правозащитник. – 2017. – № 4. – С. 14.
- Козлов А.П. Политические проблемы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в регионе Северного Кавказа // Вестник Московского государственного областного университета. Серия История и политические науки. – 2017. – № 3. – С. 129–140. – DOI: <https://doi.org/10.18384/2310-676x-2017-3-129-140>
- Лапкин В.В., Пантин В.И. Этнополитические конфликты на постсоветском пространстве: роль внешнеполитических факторов // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – Т. 60, № 12. – С. 92–103. – DOI: <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2016-60-12-92-103>
- Лубский А.В., Посухова О.Ю. Проекты нациестроительства и модели национальной интеграции в России // Власть. – 2016. – № 8. – С. 39–48.
- Мурадов А.М., Алиева З.М. Специфические особенности этнополитических конфликтов // Научно-практические исследования. – 2019. – № 8/5 (23). – С. 111–114.
- Нигматуллина Т.А. Политизация этничности в условиях регионального федерализма // Вопросы национальных и федеративных отношений. – 2016. – № 3 (34). – С. 89–97.
- Паин Э., Федюнин С. Нация и демократия: перспективы управления культурным разнообразием. – М.: Мысль, 2017. – 266 с.
- Реалии многоукладного региона: потенциал обновления и препятствия развитию: материалы расширенного заседания Ученого совета ИСЭГИ ЮНЦ РАН / под ред. Г.Г. Матишова. – Ростов н/Д.: Изд-во ЮНЦ РАН, 2012. – 142 с.
- Романов А.А. Исследование политизации этничности: методологический дискурс // Теория государства и права. – 2017. – № 2. – С. 47–56.
- Ротшильд Д. Этнополитика // Этнос и политика: хрестоматия / автор-сост. А.А. Праззаскас. – М.: Изд-во УРАО, 2000. – С. 162–165.
- Сампиев И.М. От «гражданской нации» к имперскому проекту: метаморфозы официальной идеологии // Сборник научных трудов Ингушского государственного университета / отв. ред. А.А. Албогачиев. – Магас: ООО «Южный издательский дом», 2017. – С. 108–116.
- Семененко И.С. Нация, национализм, национальная идентичность: новые ракурсы научного дискурса // Мировая экономика и международные отношения. – 2015. – № 11. – С. 91–102.
- Сикевич З.В. Этнический фактор в современном обществе // Вестник Российской нации. – 2014. – № 4 (36). – С. 93–107.
- Скворцов Н.Г. Деструктивные последствия политизации этничности в России: энтропийное измерение // Гуманитарий Юга России. – 2017. – Т. 6, № 4. – С. 63–70.
- Султыгов А.-Х.А. Этнополитические противоречия и формы их разрешения: исторический опыт и современные реалии. – М.: МАКС Пресс, 2006. – 265 с.

- Тишков В.А. Введение // Этническое и религиозное многообразие России / под ред. В.А. Тишкова, В.В. Степанова. – М.: ИЭА РАН, 2018. – С. 5–10.
- Тишков В.А. Этнический конфликт в контексте обществоведческих теорий // Социальные конфликты: экспертиза, прогнозирование, технологии разрешения / отв. ред. Е.И. Степанов. – М.: ИС и ИЭА РАН, 1992. – Вып. 2, ч. I. – С. 20–31.
- Тишков В.А., Шабдаев Ю.П. Этнополитология: политические функции этничности. – М.: Изд-во Московского университета, 2011. – 376 с.
- Файзуллин Ф.С., Файзуллин Т.Ф. Этничность и этнонациональный потенциал развития общества // Вестник ВЭГУ. – 2014. – № 4 (72). – С. 140–147.
- Хунагов Р.Д., Шадже А.Ю., Кукува Е.С. Инновационное управление регионом в контексте укрепления российской идентичности // Социологические исследования. – 2015. – № 3. – С. 127–132.
- Шабдаев Ю.П. Этнополитология и этнополитика в современной России: теория и политические практики // Человек. Культура. Образование. – 2015. – № 1 (15). – С. 92–131.
- Adediji A. The Politicization of ethnicity as source of conflict: The Nigerian situation (Globale Gesellschaft und internationale Beziehungen). – Wiesbaden: Springer VS, 2016. – 544 p.
- Becker M. Politicized identities and social movements // Latin American research review. – 2018. – № 53 (1). – P. 202–210. – DOI: <https://doi.org/10.25222/larr.225>
- Bourdieu P. Language and symbolic power. – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1991. – 301 p.
- Bozic-Roberson A. The politicization of ethnicity as a prelude to ethno-political conflict: Croatia and Serbia in former Yugoslavia. – Michigan: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2001. – 272 p.
- Leach C.W., Brown L.M., Worden R.E. Ethnicity and identity politics // Encyclopedia of violence, peace, & conflict (second edition) / Kurtz L.R. (ed). – London: Academic Press, 2008. – P. 758–768.
- Glazer N., Moynihan D.P. Introduction. In: Ethnicity. Theory and experience / N. Glazer, D.P. Moynihan (eds). – Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1975. – P. 1–28.
- Gurr T. Why do minorities rebel? // Federalism against ethnicity? Institutional, legal and democratic instruments to prevent violent minority conflicts / G. Bächler (ed). – Zurich: Verlag Ruegger, 1997. – P. 8–10.
- Maksić A. Ethnic mobilization, violence, and the politics of affect. – Palgrave Macmillan, 2017. – 264 p.
- Posner D. Institutions and ethnic politics in Africa. – Cambridge: Cambridge university press, 2005. – 360 p.
- Pedersen D., Kienzler H. Ethnic conflict and public health // International encyclopedia of public health. – San Diego, CA: Academic Press, 2017. – Vol. 2. – P. 36–45.
- Rothschild J. Ethnopolitics: a conceptual framework. – New York: Columbia university press Rothschild, 1981. – 302 p.
- Weber A., Hiers W., Flesken A. Politicized ethnicity. Perspectives in comparative politics. – New York: Palgrave, 2016. – 187 p.

V.A. Avksentev, B.V. Aksiumov, G.D. Gritsenko*
Ethnicity in political conflicts:
ethnicization of politics and politicization of ethnicity

Abstract. The article analyzes the definitions and concepts of ethnopolitical conflict and its contradictory nature is shown. Ethnopolitical conflict can function and evolve as an “ethnized” political conflict and as a politically framed ethnic conflict. Being on the thin line between rational-political and irrational-ethnic regimes of existence, ethno-political conflicts, usually arising as conflicts of interests, as a product of ethnic entrepreneurship, most often drift towards a conflict of identities. That is why ethnopolitical conflicts are among the most intractable types of conflicts, some of them turn into protracted conflicts and are destructive in their manifestations and consequences. The article studies risk-related aspects of the interaction of ethnic and political factors of social development, leading to the ethnicization of politics and politicization of ethnicity, and it is shown that the politicization of ethnicity is a prerequisite and one of the most important factors in the genesis of ethnopolitical conflicts. The process of politicization of ethnicity is caused by ethnopolitical tension objectively established in a particular society or region, but often the main factor of this process is the focused activity of ethnic entrepreneurs, who use conditions, favorable for them, or deliberately increase the level of tension. The article discusses the theoretical and methodological aspects of the politicization of ethnicity and ethnicization of politics, analyzes the main scholarly approaches to studying the phenomenon of politicization of ethnicity and its impact on social processes. Most authors mainly accentuate the negative consequences of the politicization of ethnicity, although some researchers point to the functionality of ethnicity in regional political systems where there are long-standing and strong traditions of combining politics and ethnicity.

Keywords: ethnopolitical conflict; politicization of ethnicity; ethnicization of politics; conflict of identities; ethnic entrepreneurs; conflict management.

For citation: Avksentev V.A., Aksiumov B.V., Gritsenko G.D. Ethnicity in political conflicts: ethnicization of politics and politicization of ethnicity. *Political science (RU)*. 2020. N 3, P. 74–97. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.03.04>

References

Abdulatipov R.G., Mikhailov V.A. Federative democracy and the unity of a multinational country. *Public and private law*. 2014, N 3 (23), P. 7–18. (In Russ.)

* **Avksentev Viktor**, Federal Research Centre The Southern Scientific Centre of The Russian Academy of Sciences (Rostov-on-Don, Russia), e-mail: avksentiev@rambler.ru; **Aksiumov Boris**, North-Caucasus Federal University (Stavropol, Russia), e-mail: aksbor@mail.ru; **Gritsenko Galina**, Federal Research Centre The Southern Scientific Centre of The Russian Academy of Sciences (Rostov-on-Don, Russia), e-mail: dissovet@rambler.ru

- Achkasov V.A. Ethnic and political conflict as a result of the ethnicization of social problems. *Political expertise: POLITEX*. 2013, Vol. 9, N 2, P. 41–61. (In Russ.)
- Achkasov V.A. Ethnopolitical mobilization: an attempt to conceptualize the concept. *Bulletin of St. Petersburg University. Series 6. Philosophy. Culture Studies. Political science*. Law. International Relations. 2014, N 3, P. 81–89. (In Russ.)
- Achkasov V.A. Ethnopolitical conflict as a conflict of identities. *Vestnik of St. Petersburg University. Series 6. Philosophy. Culture Studies. Political science. Law. International Relations*. 2015, N 1, P. 37–43. (In Russ.)
- Adediji A. *The Politicization of ethnicity as source of conflict: The Nigerian situation (Globale Gesellschaft und internationale Beziehungen)*. Wiesbaden: Springer VS, 2016, 544 p.
- Adiev A.Z. Representation of ethnic groups in government as a factor in socio-political stability in the North Caucasus. *Ojkumena. Regional Researches*. 2018, N 4 (47), P. 7–16. (In Russ.)
- Aklaev A.R. *Ethnopolitical conflictology: analysis and management*. Moscow: Business, 2008, 471 p. (In Russ.)
- Alikberov A.K. The problem of the formation of Russian identity in culturally complex societies in the North Caucasus (system-communication discourse). *Bulletin of Russian Nation*. 2019, N 1 (65), P. 45–57. (In Russ.)
- Astvatsaturova M.A. Macro-regional ethnopolitology: some generalizations in a managerial context. *State and Municipal Administration. Scholar Notes of SKAGS*. 2009, N 3, P. 112–121. (In Russ.)
- Astvatsaturova M.A. The project of Russian civil identity in the context of nation-building: North Caucasian projections. *Humanitarian of the South of Russia*. 2016, Vol. 22, N 6, P. 23–29. (In Russ.)
- Avksentev V.A. *Ethnic conflictology: in search of a scientific paradigm*. Stavropol: Publishing House of Stavropol State University, 2001, 262 p. (In Russ.)
- Avksentev V.A. From ethnic conflict to conflict of identities. In: *Ethnic Issues of the Present*: Collection of articles. V.A. Avksentev (ed). Stavropol: Publishing House of Stavropol State University, 2003, Vol. 8, 9, P. 3–10. (In Russ.)
- Avksentev V.A. Identification of ethnic conflict as a problem of ethnoconsulting and ethnoconflictological expertise. *Bulletin of Russian nation*. 2013, N 5, P. 88–103. (In Russ.)
- Avksentev V.A., Gritsenko G.D. Risk factors and situations in the ethnopolitical sphere of the North Caucasus. *Scientific Thought of the Caucasus*. 2018, N 4, P. 81–91. (In Russ.)
- Balibar E. National form: history and ideology. In: Balibar E., Waller-Stein I. *Race, nation, class. Ambiguous Identities*. O. Nikiforov, P. Hitsky (transl. eds). Moscow: Logos, 2004, P. 103–124. (In Russ.)
- Becker M. Politicized identities and social movements. *Latin American Research Review*. 2018, N 53(1), P. 202–210. DOI: <https://doi.org/10.25222/larr.225>
- Bourdieu P. *Language and symbolic power*. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1991, 301 p.
- Bourdieu P. *Political ontology of Martin Heidegger*. Trans. from Fr. A. Bikbova. Moscow: Praxis, 2003, 256 p. (In Russ.)

- Bozic-Roberson A. *The politicization of ethnicity as a prelude to ethnopolitical conflict: Croatia and Serbia in former Yugoslavia*. Michigan: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2001, 272 p.
- Brubaker R. *Ethnicity without groups*. Moscow: Publishing House of the Higher School of Economics, 2012, 408 p. (In Russ.)
- Drobizheva L.M. Civil Russian identity: dynamics and potential in the consolidation of a multiethnic society. In: Tishkov V.A., Stepanov V.V. (eds). *Ethnic and religious diversity of Russia*. Moscow: IEA RAS, 2018, P. 107–118. (In Russ.)
- Fayzullin F.S., Fayzullin T.F. Ethnicity and the ethno-national potential of the development of society. *Vestnik VEGU*. 2014, N 4 (72), P. 140–147. (In Russ.)
- Hunagov R.D., Shadzhe A. Yu., Kukva E.S. Innovative regional management in the context of Russia identity strengthening. *Sociological Studies*. 2015, N 3, P. 127–132. (In Russ.)
- Glazer N., Moynihan D.P. Introduction. In: Glazer N., Moynihan D.P. (eds). *Ethnicity. Theory and experience*. Cambridge: Mass.: Harvard University Press, 1975, P. 1–28.
- Gorshkov M.K. The harmonization of interethnic relations in the post-reform Russia: context approach. *Humanitarian of the South of Russia*, 2017, N 2, P. 14–25. (In Russ.)
- Greenfeld L. *Nationalism. Five paths to the present*. Moscow: PER SE, 2008, 527 p. (In Russ.)
- Gurr T. Why do minorities rebel? In: Bächler G. (ed). *Federalism against ethnicity? Institutional, legal and democratic instruments to prevent violent minority conflicts*. Zurich: Verlag Ruegger, 1997, P. 8–10.
- Kalinina E. Yu., Mukhudadayev M.O., Smorgunova V. Yu. Ethnopolitical conflict as a conflict of identities: a crisis of modern legal awareness. *Pravozashchitnik*. 2017, N 4, P. 14. (In Russ.)
- Kozlov A.P. Political problems of ensuring the national security of the Russian Federation in the North Caucasus region. *Bulletin of the Moscow State Regional University (History and Political Science)*. 2017, N 3, P. 129–140. DOI: <https://doi.org/10.18384/2310-676x-2017-3-129-140> (In Russ.)
- Lapkin V.V., Pantin V.I. Ethnopolitical conflicts in the post-Soviet space: the role of foreign policy factors. *World Economy and International Relations*. 2016, Vol. 60, N 12, P. 92–103. DOI: <https://doi.org/10.20542/0131-2227-2016-60-12-92-103> (In Russ.)
- Leach C.W., Brown L.M., Worden R.E. Ethnicity and identity politics. In: Kurtz L.R. (ed). *Encyclopedia of Violence, Peace, & Conflict* (Second Edition). London: Academic Press. 2008. P. 758–768.
- Lubsky A.V., Posukhova O. Yu. Nation-building projects and models of national integration in Russia. *Vlast'*. 2016, N 8, P. 39–48. (In Russ.)
- Matishov G.G. (ed). *The realities of a multi-layered region: the potential for renewal and obstacles to development: materials of an enlarged meeting of the Scientific Council of the ISERHSSC RAS*. Rostov-on-Don, February 7, 2012. Rostov-on-Don: Publishing House of the SSC RAS, 2012, 142 p. (In Russ.)
- Maksić A. *Ethnic mobilization, violence, and the politics of affect*. Palgrave Macmillan, 2017, 264 p.

- Muradov A.M., Aliyeva Z.M. Specific features of ethno-political conflicts. *Nauchno-prakticheskiye issledovaniya*. 2019, N 8–5 (23), P. 111–114. (In Russ.)
- Nigmatullina T.A. The politicization of ethnicity in the conditions of regional federalism. *Questions of National and Federative Relations*. 2016, N 3 (34), P. 89–97. (In Russ.)
- Pain E., Fedyunin S. *Nation and democracy: prospects for managing cultural diversity*. Moscow: Thought, 2017, 266 p. (In Russ.)
- Pedersen D., Kienzler H. Ethnic conflict and public health. In: *International Encyclopedia of Public Health*. San Diego, CA: Academic Press, 2017, Vol. 2, P. 36–45.
- Posner D. *Institutions and ethnic politics in Africa*. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, 360 p.
- Romanov A.A. The study of the politicization of ethnicity: a methodological course. *Russian Journal of Theory of State and Law*. 2017, N 2, P. 47–56. (In Russ.)
- Rothschild D. Ethnopolitics. In: *Ethnos and politics: anthology*. A.A. Przauskas (auth.–comp). Moscow: Publishing House of URAO, 2000, P. 162–165. (In Russ.)
- Rothschild J. *Ethnopolitics: A conceptual framework*. New York: Columbia University Press Rothschild, 1981, 302 p.
- Sampiev I.M. From the “civil nation” to the imperial project: metamorphoses of official ideology. In: Albogachiev A.A. (ed). *Collection of scientific works of the Ingush State University*. Magas: Southern Publishing House, 2017, P. 108–116. (In Russ.)
- Semenenko I.S. Nation, nationalism, national identity: new foreshortenings of scientific discourse. *World economy and international relations*. 2015, N 11, P. 91–102. (In Russ.)
- Shabaev Yu.P. Ethnopolitology and ethnopolitics in modern Russia: theory and political practices. *Chelovek. Kul'tura. Obrazovaniye*. 2015, N 1 (15), P. 92–131. (In Russ.)
- Sikeyev Z.V. Ethnic factor in modern society. *Bulletin of the Russian Nation*. 2014, N 4 (36), P. 93–107. (In Russ.)
- Skvortsov N.G. The destructive consequences of the politicization of ethnicity in Russia: the entropy dimension. *Humanitarian of the South of Russia*. 2017, T. 6, N 4, P. 63–70. (In Russ.)
- Sultigov A.-Kh.A. *Ethnopolitical contradictions and forms of their resolution: historical experience and modern realities*. Moscow: MAKSS Press, 2006, 265 p. (In Russ.)
- Tishkov V.A. Ethnic conflict in the context of social theories. In: *Social conflicts: expertise, forecasting, resolution technologies*. E.I. Stepanov (ed). Moscow: IS and IEA RAS, Vol. 2. Part I, 1992, P. 20–31. (In Russ.)
- Tishkov V.A. Introduction. In: Tishkov V.A., Stepanov V.V. (eds). *Ethnic and religious diversity of Russia*. Moscow: IEA RAS, 2018, P. 5–10. (In Russ.)
- Tishkov V.A., Shabaev Yu.P. *Ethnopolitology: the political functions of ethnicity*. Moscow: Moscow University Press, 2011, 376 p. (In Russ.)
- Weber A., Hiers W., Flesken A. *Politicized ethnicity. Perspectives in comparative politics*. New York: Palgrave, 2016, 187 p.

М.М. ЛЕБЕДЕВА*

**МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ
КАК СОЦИАЛЬНЫЙ И ГУМАНИТАРНЫЙ РЕСУРС
В МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ¹**

Аннотация. В статье международные переговоры рассматриваются как ресурс влияния и созидания в мировой политике, что составляет часть социального и гуманитарного ресурса. Анализируются переговорная практика и исследования международных переговоров начиная со второй половины XX в., т.е. с момента, когда международные переговоры получили интенсивное развитие. Показывается, что был накоплен огромный практический и исследовательский опыт по технологии ведения переговоров, роли и месту переговоров в мире, что и составило социальный и гуманитарный ресурс мировой политики.

В конце XX – начале XXI в. произошел спад переговорной активности и, соответственно, уменьшение количества исследований международных переговоров, что связано с рядом факторов: 1) с изменением характера конфликтов, которые во многом перестали носить межгосударственный характер и начали возникать на этнической и религиозной почве со множеством децентрализованных участников; 2) со значительным уменьшением после распада СССР роли российско-американских отношений в мире. А именно российско-американские переговоры, прежде всего в области разоружения, были важнейшими в международных отношениях второй половины XX в. В результате в XXI в. количество международных переговоров не только уменьшилось, но и достигнутые в прошлом договоры стали денонсироваться, прежде всего Соединенными Штатами. Показывается, что данная ситуация обусловлена глубинными процессами трансформации политической организации мира, охватывающей ее различные уровни, как национальные, так и наднациональные. В результате создается ситуация не-

* Лебедева Марина Михайловна, доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой мировых политических процессов, МГИМО (У) МИД России (Москва, Россия), e-mail: mmlebedeva@gmail.com

¹ Статья подготовлена по гранту РФФИ № 19–014–00004.

© Лебедева М.М., 2020

DOI: 10.31249/poln/2020.03.05

определенности и непредсказуемости, что не способствует поиску переговорных решений. Тем не менее политическая организация мира может быть трансформирована только путем переговоров. С учетом масштабов такой трансформации и огромного количества акторов современного мира международные переговоры будут приобретать все большее значение, выступая ресурсом выстраивания новой политической организации мира.

Ключевые слова: международные переговоры; политическая организация мира; урегулирование конфликтов; ресурс влияния и созидания; мировая политика; переговорная практика.

Для цитирования: Лебедева М.М. Международные переговоры как социальный и гуманитарный ресурс в мировой политике // Политическая наука. – 2020. – № 3. – С. 98–113. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.03.05>

Постановка проблемы

В современном мире возрастает роль социальных и гуманитарных ресурсов [Лебедева, 2014], что проявляется как в практической сфере, когда большое внимание уделяется проблемам здравоохранения, туризма, борьбы с бедностью и т.п., так и в научной – увеличивается число исследований в этих областях, появляются концепции, непосредственно связанные с социальной и гуманитарной сферой (например, концепция «мягкой силы» Дж. Ная [Nye, 2002]). Разумеется, военно-политические и политико-экономические ресурсы не снижают своего «веса» в мировой политике. Речь в данном случае идет о том, что социально-гуманитарные средства влияния становятся не менее действенными по сравнению с традиционными. Кроме того, они применяются в дополнение к другим методам воздействия, в том числе военным, часто усиливая их (примером могут служить «гибридные войны»). При этом весьма действенными оказываются такие средства, как пропаганда и фейковые новости [см.: Гибридные войны ..., 2015].

Инструмент переговоров, используемый для урегулирования конфликтов, можно с уверенностью отнести к ресурсам социальной и гуманитарной сферы. Международные переговоры предполагают, с одной стороны, знания из различных областей (в том числе истории, права, экономики, политологии, психологии и др.), с другой – коммуникативные навыки и умения. В этом отношении примечательно замечание В.М. Сергеева при анализе процесса переговоров. Он пишет, что «естественный способ интеграции индивидуальных разумов, от которого можно было бы ожидать успеха, –

это постараться интегрировать содержащиеся в нем знания о мире» [Сергеев, 1999]. Все это справедливо для социальной и гуманитарной сферы мировой политики [Лебедева, 2014]. Наряду с этим к гуманитарной сфере, разумеется, также относится предоставление гуманитарной помощи участниками конфликта.

В то же время очевидно, что для воздействия на конфликт используются военные ресурсы, охватывающие миротворческие операции [Никитин, 2016], а также политико-экономические средства, которые, в частности, предполагают разнообразные проекты совместной деятельности конфликтующих сторон (например, строительство мостов и других объектов общего пользования) за счет внешнего финансирования [Conflict resolution ..., 1987].

Роль социально-гуманитарных средств воздействия на конфликт менялась на протяжении истории. Так, если изначально социальные и гуманитарные ресурсы, в частности переговоры, использовались главным образом по окончании конфликта, то начиная с середины XX в. они стали применяться все больше в ходе конфликта, в том числе в целях его предотвращения.

Учитывая возрастающую роль социального и гуманитарного ресурса в мире, можно было бы ожидать, что должно увеличиться число ситуаций, в первую очередь конфликтных, которые бы решались переговорными методами. На самом деле все намного сложнее. Например, если говорить о военно-политической сфере, то вооруженные конфликты не исчезли из мировой политики и даже наблюдаются в тех географических областях, где их мало ожидали (например, на Донбассе).

В политико-экономической сфере «торговые войны» стали привычными не только между жесткими конкурентами (например, США и Китаем), но, хотя в более мягких формах, и между союзниками (например, США и ЕС). В этих условиях возникает вопрос о роли переговоров в современной мировой политике при урегулировании конфликтов и в целом при решении международных проблем. Речь здесь идет не столько об увеличении или уменьшении роли международных переговоров в мире, сколько об их качественных характеристиках, которые определяются в том числе значимостью переговорного ресурса (как части социального и гуманитарного ресурса) при урегулировании конфликтов и решении глобальных проблем в их соотношении с военными и экономическими ресурсами. Меняются ли эти характеристики по сравнению,

например, с характеристиками переговоров в XX столетии, и если да, то каковы эти изменения?

Развитие исследований по переговорам во второй половине XX в. Основные итоги

Вторая половина XX в. с полным основанием может быть названа эпохой бурного развития переговоров и их исследований. Прежде всего это касается международно-политической сферы. Появление ядерного оружия заставило искать средства урегулирования конфликтов, позволяющие избежать ядерного столкновения. Одновременно развитие общемировой торговли, а также профсоюзного движения стимулировало переговорную практику в экономической и социальной сферах. Результатом резкого расширения практики ведения переговоров стало развитие исследований процесса переговоров, в том числе сравнительных работ, а как следствие – вычленение переговорных инвариантов, независимых от конкретного содержания переговоров, т.е. от исторических условий или конкретных кейсов в той или иной области.

В середине XX в. на изучение переговоров значительное влияние кроме увеличения количества переговоров в мире оказал еще один фактор, связанный с развитием сциентистского направления в социальных науках. В результате появилось большое число работ, проведенных на материалах игровых ситуаций (в основном матричных играх), где исследовательский вопрос ставился следующим образом: какая стратегия переговоров более успешна – «жесткая», предполагающая отказ от уступок, или противоположная ей – «мягкая», направленная на уступки другой стороне [см., напр.: Siegel, Fouraker, 1960]. Итоги этих исследований оказались крайне противоречивыми, хотя был целый ряд любопытных моментов (например, гендерные, культурные и другие особенности ведения переговоров).

Поворотной точкой в исследованиях переговоров стал отход от первоначальной постановки вопроса об успешности или безуспешности «мягкой» и «жесткой» стратегий. Этому способствовали политические реалии разрядки международной напряженности в 1970-е годы: улучшение советско-американских отношений, выразившееся, в частности, в подписании ряда разоруженческих доку-

ментов, а также Хельсинкский процесс, который в 1975 г. ознаменовался подписанием Заключительного акта Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Реагируя на эти политические процессы, исследователи обратились к анализу реализации интересов участников переговоров. В этой логике стали выделять две стратегии: первая предполагает ориентацию исключительно на собственные интересы (торг), вторая – на учет интересов партнера по переговорам (совместный с партнером анализ интересов) [Raiffa, 1982; Fisher, Ury, 1981]. Если говорить о теоретических школах в области международных отношений, то стратегия торга исходила главным образом из основных положений реализма, в то время как вторая – из неолиберализма.

При этом важным фактором, влияющим на выбор стратегий сторонами, оказалась длительность взаимодействия участников. Р. Аксельрод показал, что в условиях длительного взаимодействия участников ориентация только на собственные интересы оказывается неэффективной, поскольку интересы не реализуются. В итоге участники переговоров начинают понимать необходимость вести себя более кооперативно [Axelrod, 1984]. Тем самым была продемонстрирована условность жесткого разделения двух стратегий. Показано, что в практике ведения переговоров обе стратегии переплетаются, но на том или ином этапе, в тех или иных условиях одна из них доминирует.

Кроме переговорных стратегий был выявлен ряд условий, при которых затрудняется урегулирование конфликтов путем переговоров. Так, конфликт должен «созреть» для переговоров [Zartman, 1985]. Под «созреванием» понимается возникновение таких условий, при которых участники конфликта понимают, что у них нет возможностей разрешения проблемы в одностороннем порядке. В результате они переходят от использования военного ресурса к переговорным методам урегулирования конфликта. Р. Фишер и У. Юри сформулировали это условие как отсутствие наилучшей альтернативы переговорному решению (*BATNA* – от англ. *Best alternative to a negotiated agreement*) [Fisher, Ury, 1981].

Само наличие вооруженных действий между сторонами также порождает препятствия для мирного урегулирования, поскольку особую значимость в вооруженном конфликте приобре-

тают массовые настроения, а также важность для элиты сохранить свое лицо при выходе из конфликта.

В этих условиях во второй половине XX в. были хорошо разработаны, с одной стороны, миротворческие процедуры, с другой – посреднические. Причем миротворческие средства воздействия на конфликт со своей четкой терминологией получили широкое применение в рамках ООН¹.

В 1980-х годах международные переговоры и процесс их ведения привлекли внимание советских авторов. Значительным стимулом здесь послужила книга тогдашнего заместителя министра иностранных дел, активного переговорщика по европейской проблематике А.Г. Ковалева «Азбука дипломатии», выдержавшая пять изданий, где он анализирует процесс ведения переговоров [Ковалев, 1988]. Международные переговоры стали изучаться в МГИМО, Дипломатической академии, ИНИОН (несколько реферативных сборников исследований зарубежных авторов), Институте США и Канады. В международных переговорах были выявлены такие их характеристики, как параметры оценки переговорной позиции [Луков, Сергеев, 1981; Луков, 1988], структура переговорного процесса [Лебедева, 1993], особенности переговорной концепции [Загорский, 1991], специфика ведения двухсторонних и многосторонних переговоров [Израэлян, 1988]. Было предложено проводить мониторинг хода переговоров на основе используемых структурных элементов [Ковалева, Лебедева, 1981]. Отдельные направления изучения переговоров получили высокую оценку американских исследователей. Так, П. Беннетт заметил, что в области исследования тактических приемов советские исследования оказались более продвинутыми, чем американские [Bennett, 1997].

Ряд работ отечественных авторов вышел за рамки собственно переговоров как средства урегулирования конфликтов и иных проблем. В этом отношении примечательны исследования В.М. Сергеева и В.А. Кременюка. В.М. Сергеев показал, что демократия по сути своей представляет переговорный процесс, поскольку предполагает согласование интересов различных групп внутри государства [Сергеев, 1999]. Эта идея, как представляется, может быть применена в глобальном масштабе. В таком случае демократиза-

¹ United Nations Peace Keeping // Website UN. – Mode of access: <https://peacekeeping.un.org/en/terminology> (accessed: 20.03.2020)

ция мира определяется не только, как полагал С. Хантингтон, увеличением количества демократических государств [Huntington, 1991], но и развитием переговорных практик в мире. Понимание переговоров как развитие демократии на глобальном уровне хорошо согласуется с высказыванием В.А. Кременюка о складывающейся системе международных переговоров. Суть этой системы заключается в том, что в нее включаются формальные и неформальные процедуры разрешения конфликтов, конкретные международные переговоры являются частью единой системы международных переговоров [Кременюк, 1988]. Несмотря на то что такая система в организационном плане не существует, проведение одних международных переговоров так или иначе влияет на другие ведущиеся в мире переговоры.

В целом к концу XX в. был накоплен огромный практический и исследовательский опыт по технологии ведения переговоров, роли и месту переговоров в мире, что и составило социальный и гуманитарный ресурс в мировой политике. Этот ресурс использовался, хотя далеко и не в полной мере (что определялось, с одной стороны, желанием или нежеланием вести переговоры, с другой – знакомством с этими технологиями), различными государствами, участниками конфликтов и другими акторами.

Казалось, что переговоры стали прочным инструментом воздействия в мировой политике. Тем не менее в конце XX – в начале XXI в. наблюдается снижение интереса к переговорам. Причин этому несколько. Во-первых, после распада СССР проблематика российско-американских отношений перестала рассматриваться в качестве ключевой. А именно российско-американские переговоры, прежде всего в области разоружения, были важнейшими в международных отношениях второй половины XX в. Во-вторых, возросло число децентрализованных конфликтов. Причем эти конфликты стали носить в основном не межгосударственный характер, который был типичен для периода холодной войны, а этнический и религиозный, что и побудило С. Хантингтона к написанию широко известной статьи [Huntington, 1993]. В эти конфликты часто вовлекалось сразу несколько разных групп, которые, в свою очередь, также нередко раздирались противоречиями. К тому же участники этих конфликтов, в отличие от профессиональных дипломатов, не владели технологиями ведения

переговоров. Все это затрудняло урегулирование этнических и религиозных конфликтов путем переговоров.

В то же время в связи с развитием процессов глобализации интерес к межгосударственным переговорам для решения, в частности, глобальных проблем оставался на достаточно высоком уровне. В результате стали появляться исследования по конкретным переговорным кейсам. Кроме того, этнические конфликты конца XX – начала XXI в. пробудили интерес к национальным особенностям процесса ведения переговоров [см., напр.: *International environmental negotiation*, 1993; Cohen, 1991].

Современное состояние практики ведения международных переговоров и их исследований

Практика международных переговоров в XXI в. остается на спаде. Многие конфликты если и не носят этнический или религиозный характер, также нередко характеризуются множественностью участников, их аморфностью, возникновением и распадом коалиций, т.е. значительной децентрализацией конфликтных отношений. К тому же возникнув относительно недавно, такие конфликты, говоря словами У. Зартмана, «не созрели» еще для разрешения переговорными методами [Zartman, 1985]. Как и в предыдущий период, все эти факторы усложняют использование переговорных методов воздействия на конфликт. В лучшем случае применяются посреднические и миротворческие процедуры, с тем чтобы снизить насильственные методы воздействия в конфликте, что часто ведет лишь к его «заморозке». Такие процедуры осуществляют международные организации (ООН, ОБСЕ и др.), а также отдельные государства и неправительственные организации.

Переговоры по урегулированию современных конфликтов часто ведутся при помощи посредников, а их исследования сводятся главным образом к анализу конкретных кейсов. Примером здесь может служить работа Н.В. Штански, где рассматриваются переговоры по урегулированию ситуации в Приднестровье [Штански, 2014]. Уникальность статьи заключается в том, что автор, будучи министром иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), непосредственно участвовала в переговорах. Н.В. Штански выделяет пять стадий процесса урегулирования

конфликта: «(1) начало процесса урегулирования и формирование переговорного формата (до 1995 г.); (2) поиск взаимоприемлемой формулы построения общего государства (1996–2001); (3) период конфронтации, политики одностороннего давления, завершение полноценного переговорного процесса (2001–2009); (4) период консолидации усилий внешних участников по так называемой реанимации переговорного процесса и определение приемлемого переговорного формата (2009–2011); (5) формирование атмосферы доверия и платформы успешного взаимодействия сторон в рамках согласованного социально-экономического переговорного пространства (2011 г. – по настоящее время)» [Штански, 2014]. Примечательно, что данный конфликт имел сходную динамику развития со многими другими конфликтами, в том числе времен холодной войны: за переговорной стадией наступала стадия усиления конфликтных отношений. В этом случае, как и в большинстве других современных конфликтов, переговоры возобновляются при посредничестве внешних участников. Посредников также бывает несколько, причем часто кто-то из них ближе к одной из конфликтующих сторон, а другой посредник – ближе к противоположной. В ситуации с Приднестровьем посредником выступала ОБСЕ, но в переговоры также были включены ПМР, Республика Молдова, государства-гаранты (Россия и Украина), а начиная с 2005 г. – еще США и ЕС. Примерно та же логика (несколько посредников разной степени близости к тому или иному участнику конфликта) прослеживается в Минских переговорах по урегулированию конфликта на Востоке Украины, в которых в 2015 г. участвовали руководители России, Франции, Германии и Украины. Подобных примеров множество.

В то же время количество и интенсивность межгосударственных переговоров по наиболее острым международным проблемам значительно снизились. Такой спад переговорной активности не был характерен даже для периода холодной войны. Тогда при разрядке международной напряженности переговоры активизировались, но даже в период усиления международной напряженности многие переговоры продолжались. В частности, во время холодной войны в области международной безопасности были проведены переговоры и подписаны такие важнейшие договоры, как Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), Договоры между СССР и США об ограничении стратегических вооружений

(ОСВ-1 и ОСВ-2); Договор между СССР и США об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО).

В XXI в. разоруженческая проблематика не только стала обсуждаться в меньшей степени, но и произошел выход сторон из ранее заключенных ключевых договоренностей. Так, по инициативе США со 2 августа 2019 г. прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заключенный между СССР и США 7 декабря 1987 г. В 2001 г. США заявили о выходе, а в июне 2002 г. вышли из Договора по ПРО. В 2007 г. В. Путин в обращении к Федеральному собранию сообщил о возможном объявлении моратория на исполнение Россией условий Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в связи с тем, что страны НАТО не ратифицировали Соглашение об адаптации ДОВСЕ от 1999 г. В дальнейшем Россия предложила план по восстановлению режима ДОВСЕ, но не получила поддержки от западных стран. Успешные переговоры по ядерной программе Ирана между ним, пятью постоянными членами СБ ООН и Германией, завершившиеся в 2015 г. подписанием Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), оказались под вопросом в связи с заявлением в 2018 г. Д. Трампа о выходе из СВПД. В ответ Иран в 2019 г. объявил о первом этапе прекращения действия ряда пунктов соглашения. Выход из договоренностей касается не только военно-политической сферы, но и других. К примеру, США в 2017 г. отказались от участия в Транстихоокеанском партнерстве, которое затрагивало интересы 12 государств, расположенных по разные стороны Тихого океана. Договор касался таких сфер, как снижение тарифных барьеров, совместное регулирование в области экологии, интеллектуальной собственности, трудового права и др. Кроме того, США заявили о выходе из Парижских соглашений по климату 2015 г. Список примеров выхода из переговорного процесса или из международных соглашений в современном мире довольно обширен.

Таким образом, международные переговоры в XXI в. (особенно в 2010-х годах) характеризуются тем, что: 1) при урегулировании конфликтов продолжается наметившаяся в конце XX в. тенденция по вовлечению в переговорный процесс одновременно нескольких посредников; 2) наблюдается спад переговорной активности по международным проблемам и выход некоторых государств из ряда соглашений.

Каковы причины этого? И если переговорные методы урегулирования международных конфликтов и проблем составляют часть социального и гуманитарного ресурса в мировой политике, то не противоречат ли факты снижения переговорной активности в XXI в. ранее высказанному утверждению о возрастании роли данного ресурса в мире?

Современная мировая политика переживает период сильнейшей турбулентности, начало которого зафиксировал в 1990-х годах Дж. Розенау [Rosenau, 1990]. Однако тогда турбулентность связывалась в основном с активизацией негосударственных акторов, выявленной Р. Кохейном и Дж. Наем [Keohane, Nye, 1971]. Согласно Дж. Розенау, в результате турбулентности мировая политика стала представлять сочетание двух уровней: межгосударственный и уровень взаимодействия негосударственных участников [Rosenau, 1990].

Структурные изменения мировой политики продолжились в конце XX – начале XXI в. и затронули не только уровень Вестфальской системы (акторность негосударственных участников на мировой арене), но и перестройку межгосударственных отношений после окончания холодной войны (распад биполярной структуры пока не привел к формированию иной стабильной конфигурации), и изменения политических систем целого ряда государств, что получило отражение в таких явлениях, как трансформация политических систем социалистических стран, политических процессов в арабских странах и т.п. В итоге политическая организация мира оказалась подвержена «идеальному шторму» [Лебедева, 2016], что означает крайнюю неопределенность, непредсказуемость, хаотизацию как на уровне государств, так и в мире в целом. В таких условиях вести переговоры очень сложно, поскольку неочевидны даже ближайшие изменения, не говоря уже о выполнении возможных договоренностей. В результате участники в современном мире начинают прибегать к средствам, которые обладают быстрым эффектом, т.е. к различного рода силовым воздействиям, таким как военная сила, пропаганда, санкции, часто используя переговоры и другие социальные и гуманитарные ресурсы в тактических целях. Иными словами, они пытаются разрубить «гордиев узел».

Еще один путь поведения в условиях хаотизации связан с изоляционизмом, попыткой оградить свое государство (регион,

город и т.п.) от негативного воздействия процессов хаотизации [Лебедева, 2019]. В этом плане наиболее показательна политика США во время президентства Д. Трампа. Однако хаотизация и неоднозначность ситуации не могут продолжаться долго. Как и любое развитие, политическое развитие мира идет нелинейно, и процессы хаотизации сменяются процессами упорядочивания политических структур.

Мировая политическая система нуждается в трансформации, которая может быть осуществлена только путем переговоров с учетом интересов множества акторов современного мира, поскольку, во-первых, любые кризисы разрешались путем переговоров, во-вторых, современный мир как никогда оказался взаимозависим и взаимообусловлен. Поэтому международные переговоры окажутся крайне востребованным ресурсом политической трансформации мира. А с учетом масштабов такой трансформации и огромного количества акторов современного мира международные переговоры (скорее даже комплекс различных переговоров) будут приобретать все большее значение, выступая ресурсом выстраивания новой политической организации мира.

Список литературы

- Гибридные войны в хаотизирующемся мире XXI века / под ред. П.А. Цыганкова. – М.: Издательство Московского университета, 2015. – 384 с.
- Загорский А.В. Методологические и методические аспекты формирования переговорной концепции и оценки предложений партнера по переговорам // Системный подход: анализ и прогнозирование международных отношений / под ред. И.Г. Тюлина. – М.: МГИМО, 1991. – С. 59–77.
- Исразлян В.Л. Технология двусторонних и многосторонних переговоров. – М.: Дипломатическая Академия МИД СССР, 1988. – 67 с.
- Ковалев Ан. Г. Азбука дипломатии. – 5-е изд., дополн. – М.: Международные отношения, 1988. – 288 с.
- Ковалева О.М., Лебедева М.М. Методика оценки позиций участников международных переговоров на основе анализа выступлений (на примере выступлений представителей Франции на I и III этапах Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе) // Вопросы моделирования многосторонних дипломатических переговоров. – М.: МГИМО, 1981. – С. 113–129.
- Кременюк В.А. Формирование системы международного общения // Дипломатический вестник. Год 1987 / под ред. О.Г. Пересыпкина. – М.: Международные отношения, 1988. – С. 127–142.

- Лебедева М.М. Ресурсы влияния в мировой политике // Полис. Политические исследования. – 2014. – № 1. – С. 99–108. – DOI: <https://doi.org/10.17976/jpps/2014.01.07>
- Лебедева М.М. Вам предстоят переговоры. – М.: Экономика, 1993. – 154 с.
- Лебедева М.М. Система политической организации мира: «Идеальный шторм» // Вестник МГИМО. – 2016. – № 2. – С. 125–133.
- Лебедева М.М. Современные мегатренды мировой политики // Мировая экономика и международные отношения. – 2019. – Т. 63. – № 9. – С. 29–37. – DOI: <http://www.doi.org/10.20542/0131-2227-2019-63-9-29-37>
- Луков В.Б. Современные дипломатические переговоры: проблемы развития // Дипломатический вестник. Год 1987 / под ред. О.Г. Пересыпкина. – М.: Международные отношения, 1988. – С. 117–127.
- Луков В.Б., Сергеев В.М. Методологические и методические основы информационно-логической системы СБСЕ // Вопросы моделирования многосторонних дипломатических переговоров / под ред. И.Г. Тюлина, М.А. Хрусталева. – М.: МГИМО, 1981. – С. 48–70.
- Никитин А.И. Миротворчество ООН: обновление принципов, реформирование практики // Мировая экономика и международные отношения. – 2016. – Т. 6, № 3. – С. 16–26.
- Сергеев В.М. Демократия как переговорный процесс. – М.: МОНФ, 1999. – 147 с.
- Штански Н.В. Особенности урегулирования «конфликтов идентичности». Казус Приднестровья // Международные процессы. – 2014. – Т. 12, № 1/2. – С. 33–50.
- Axelrod R. Evolution of cooperation. – N.Y.: Basic Books, 1984. – X, 241 p.
- Bennett P.R. Russian negotiating strategy: analytic case studies from SALT and START. – N.Y.: Nova Science Publishers, 1997. – 163 p.
- Cohen R. Negotiating across cultures: communication obstacles in international diplomacy. – Wash., D.C.: US Institute of Peace Press, 1991. – 193 p.
- Conflict resolution: track two diplomacy / J.W. McDonald, D.B. Bendahmane (eds). – Wash., D.C.: Foreign Service Institute US Department of State, 1987. – 89 p.
- Fisher R., Ury W. Getting to yes: negotiation agreement without giving in. – Boston: Houghton Mifflin, 1981. – VIII, 162 p.
- Huntington S.P. Democracy's Third Wave // Journal of democracy. – 1991. – Vol. 2, N 2. – P. 12–34. – DOI: <https://doi.org/10.1353/jod.1991.0016>
- Huntington S.P. The Clash of civilization // Foreign affairs. – 1993. – Vol. 72, N 3. – P. 22–49. – DOI: <https://doi.org/10.2307/20045621>
- International environmental negotiation / G. Sjostedt (ed). – Newbury Park London; New Delhi: Sage Publications, 1993. – 344 p.
- Keohane R.O., Nye J.S. Transnational relations and world politics: an introduction // International organization. – 1971. – Vol. 25, N 3. – P. 329–349. – DOI: <https://doi.org/10.1017/s0020818300026187>
- Nye J.S. The paradox of American power: why the world's only superpower can't go it alone. – N.Y.: Oxford University Press, 2002. – 240 p.
- Raiffa H. The art & science of negotiation. – Cambridge (Mass): Harvard University Press, 1982. – 368 p.

- Rosenau J.* Turbulence in world politics. A theory of change and continuity. – Princeton: Princeton University Press, 1990. – 504 p.
- Siegel S., Fouraker L.* Bargaining and group decision-making. – N.Y., a.o.: McGraw Hill, 1960. – X, 198 p.
- Zartman I.W.* Ripe for resolution. – New York: Oxford University Press, 1985. – 259 p.

M.M. Lebedeva*

**International negotiations as a social
and humanitarian resource in world politics¹**

Abstract. The article considers international negotiations as a resource of influence and creation in world politics, which is part of the social and humanitarian resource. The article analyzes the negotiation practice and research of international negotiations, starting from the second half of the twentieth century, i.e. from the moment when international negotiations receive intensive development. It is shown that at this time a huge practical and research experience was accumulated on the technology of negotiations, the role and place of negotiations in the world, which made up a social and humanitarian resource for world politics.

At the end of the twentieth – beginning of the twentieth centuries there is a decline in negotiation activity and, accordingly, decline research on international negotiations, which was caused by: 1) a change in the nature of conflicts that have largely ceased to be interstate in nature and which began to arise on ethnic and religious grounds with many decentralized participants; 2) a significant reduction in the role of Russian-American relations in the world after the collapse of the USSR. Namely, the Russian-American negotiations, primarily in the field of disarmament, were the most important in international relations of the second half of the twentieth century. As a result, in the 21 st century, the number of international negotiations not only decreased, but treaties reached in the past began to be denounced, primarily by the United States. It is shown that this situation is caused by deep processes of transformation of the political organization of the world, covering its various levels, both national and supranational. As a result, a situation of uncertainty and unpredictability is created, which does not contribute to the search for negotiated solutions. However, the political organization of the world can only be transformed through negotiations. Given the scale of this transformation and the huge number of actors in the modern world, international negotiations will become of great importance, serving as a resource for building a new political organization of the world.

* **Lebedeva Marina**, Moscow State Institute of International Relations (University) under the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation (Moscow, Russia), e-mail: mmlebedeva@gmail.com

¹ The article was prepared under RFBR grant no. 19-014-00004.

Keywords: international negotiations; political organization of the world; conflict management; resource of influence and creation; world politics; negotiation practice.

For citation: Lebedeva M.M. International negotiations as resource in world politics. *Political science (RU)*. 2020, N 3, P. 98–113. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.03.05>

References

- Axelrod R. *Evolution of cooperation*. N.Y.: Basic Books, 1984, 241 p.
- Bennett P.R. *Russian negotiating strategy: analytic case studies from SALT and START*. N.Y.: Nova Science Publishers, 1997, 163 p.
- Cohen R. *Negotiating across cultures: communication obstacles in international diplomacy*. Wash., D.C.: US Institute of Peace Press, 1991, 193 p.
- Conflict resolution: track two diplomacy*. Ed. by J.W. McDonald, D.B. Bendahmane. Wash., D.C.: Foreign Service Institute US Department of State, 1987, 89 p.
- Fisher R., Ury W. *Getting to yes: negotiation agreement without giving in*. Boston: Houghton Mifflin, 1981, VIII, 162 p.
- Huntington S.P. Democracy's Third Wave. *Journal of Democracy*. 1991, Vol. 2, N 2, P. 12–34. DOI: <https://doi.org/10.1353/jod.1991.0016>
- Huntington S.P. The clash of civilization. *Foreign Affairs*. 1993, Vol. 72, N 3, P. 22–49. DOI: <https://doi.org/10.2307/20045621>
- Hybrid wars in chaotizing world of the 21 st century*. Ed by P.A. Tsygankov. Moscow: Publishing house of Moscow University, 2015, 384 p. (In Russ.)
- International environmental negotiation*. Ed. by G. Sjostedt. Newbury Park, London, New Delhi: Sage Publications, 1993, 344 p.
- Israelyan V.L. *Technology of bilateral and multilateral negotiations*. Moscow: Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the USSR, 1988, 67 p. (In Russ.)
- Keohane R.O., Nye J.S. Transnational relations and world politics: an introduction. *International organization*. 1971, Vol. 25, N 3, P. 329–349. DOI: <https://doi.org/10.1017/s0020818300026187>
- Kovalev An.G. *ABC of Diplomacy*. 5 th ed. Moscow: International Relations, 1988, 288 p. (In Russ.)
- Kovaleva O.M., Lebedeva M.M. Methodology for assessing the positions of participants in international negotiations on the basis of an analysis of speeches (on the example of speeches by representatives of France at the i and iii stages of the conference on security and cooperation in Europe). In: *Issues of modeling multilateral diplomatic negotiations*. Moscow: MGIMO, 1981, P. 113–129. (In Russ.)
- Kremenyuk V.A. Formation of an international communication system. In: *Diplomatic Bulletin. Year 1987*. Ed. by O.G. Peresyepkin. Moscow: International Relations, 1988, P. 127–142. (In Russ.)
- Lebedeva M.M. Resources of influence in world politics. *Polis. Political Studies*. 2014, N 1, P. 99–108. DOI: <http://www.doi.org/10.17976/jpps/2014.01.07> (In Russ.)

- Lebedeva M.M. *You have to negotiate*. Moscow: Economics, 1993, 154 p. (In Russ.)
- Lebedeva M.M. System of political organization of the world: 'perfect storm'. *MGIMO Review of international relations*. 2016, N 2, P. 125–133. (In Russ.)
- Lebedeva M.M. Modern megatrends of world politics. *World Economy and International Relations*. 2019, Vol. 63, N 9, P. 29–37. DOI: <http://www.doi.org/10.20542/0131-2227-2019-63-9-29-37> (In Russ.)
- Lukov V.B. Modern diplomatic negotiations: problems of development. In: *Diplomatic Bulletin. Year 1987*. Ed. by O.G. Peresypkin. Moscow: International Relations, 1988, P. 117–127. (In Russ.)
- Lukov V.B., Sergeev V.M. Methodological foundations of the information and logical system "CSCE". In: *Issues of modeling of multilateral diplomatic negotiations*. Ed. by I.G. Tyulin, M.A. Khrustalev. Moscow: MGIMO, 1981, P. 48–70. (In Russ.)
- Nikitin A.I. United Nations peace operations: reconsidering the principles, reforming the practice. *Mirovaya ekonomika i mezhdunarodnye otnosheniya*. 2016, Vol. 6, N 3, P. 16–26. (In Russ.)
- Nye J.S. *The paradox of American power: why the world's only superpower can't go it alone*. N.Y.: Oxford University Press, 2002, 240 p.
- Raiffa H. *The art & science of negotiation*. Cambridge (Mass): Harvard University Press, 1982, 368 p.
- Rosenau J. *Turbulence in world politics. A theory of change and continuity*. Princeton: Princeton University Press, 1990, 504 p.
- Sergeev V.M. *Democracy as a negotiation process*. Moscow: MONF, 1999, 147 p. (In Russ.)
- Siegel S., Fouraker L. *Bargaining and group decision-making*. N.Y., a.o.: McGraw Hill, 1960, X, 198 p.
- Shtanski N.V. Settlement of "identity conflicts". The case of Transnistria. *International trends*. 2014, Vol. 12, N 1–2, P. 33–50. (In Russ.)
- Zagorsky An. V. Methodological aspects of forming a negotiation concept and evaluating the proposals of a negotiating partner. In: *System approach: analysis and forecasting of international relations*. Ed. by I.G. Tyulin. Moscow: MGIMO, 1991, P. 59–77. (In Russ.)
- Zartman I.W. *Ripe for resolution*. New York: Oxford University Press, 1985, 259 p.

ИДЕИ И ПРАКТИКА

Л.Н. ТИМОФЕЕВА*

ПУБЛИЧНАЯ КРИТИКА КАК СРЕДСТВО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ НАСИЛИЯ В ОБЩЕСТВЕ

Аннотация. Власть часто трактуется как насилие, ответом которому выступает другое насилие со стороны оппозиции. Чем сильнее тирания власти, тем сильнее сопротивление со стороны оппозиции, вплоть до применения террора. Что выходит из такого противостояния, убедительно показали норвежский конфликтолог Й. Галтунг в своей концепции структурного и культурного насилия и американский политолог Р. Даль, исследовавший отношения власти и оппозиции через общественное соперничество.

Сегодня категорию «власть» чаще рассматривают не столько в традиционном силовом ключе, сколько в коммуникативном, дискурсном – как феномен, возникающий из общения и предполагающий выбор обществом определенных политических кодов из альтернатив, предложенных управляющей группой и возникших в результате их совместного дискурса. В этом случае такие инструменты политической коммуникации, как публичная критика и альтернативные взгляды на происходящее со стороны общественности и оппозиции, помогают избежать насилия и понять не только как возникает власть, но и почему она теряет свой авторитет и укрепляется оппозиция. Основу для такого анализа мы находим в критической теории немецких неомарксистов и, прежде всего, у представителей Франкфуртской научной школы Х. Арендт и Ю. Хабермаса, в генетическом структурализме П. Бурдьё, в теории самореферентных систем Н. Лумана, в постструктурализме у М. Фуко и др.

* Тимофеева Лидия Николаевна, доктор политических наук, профессор кафедры политологии и политического управления, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва, Россия), e-mail: timofeeva-lidiya@inbox.ru

Нежелание сотрудничать друг с другом власти и оппозиции в виде конструктивного дискурса объясняется, в частности, «фундаментализмом» в мышлении как тех, так и других. Исторический концепт-анализ российской радикальной оппозиции показывает, что ее онтогенезис настойчиво воспроизводится всякий раз, как только вырабатывается политический (идеологический) ресурс власти и общество теряет перспективу своего развития, когда власть не создает сама и не воспринимает альтернатив со стороны оппонентов и запрещает публичную критику.

Ключевые слова: власть; насилие; оппозиция; дискурс; фундаментализм; публичная критика; альтернативы в политике.

Для цитирования: Тимофеева Л.Н. Публичная критика как средство предупреждения насилия в обществе // Политическая наука. – 2020. – № 3. – С. 114–146. – DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.03.06>

Власть и оппозиция: возможно ли обойтись без насилия?

Мир, как известно, это отсутствие насилия. Насилие бывает разного рода: от физического до политического. Ввиду сложности этого феномена известный норвежский конфликтолог Йоханн Галтунг предложил выделить главное в нем: «Насилие имеет место, когда люди находятся под таким воздействием, что их фактически существующие соматические и духовные реализации ниже их потенциальных реализаций» [Galtung, 1975, с. 111]. Что он понимает под этим? Если смерть от туберкулеза в XVIII в. была естественной и неизбежной, то смерть от него сегодня в условиях современных достижений медицины может считаться насилием. Ситуация с пандемией, вызванной COVID-19, – сложнее. Ученые всего мира ищут вакцину и жаждут создать лекарство от этого коварного вируса. В таком случае смерть от него не может сегодня называться насилием. По мнению Галтунга, насилие – это то, что увеличивает дистанцию между потенциальным и действительным и препятствует ее сокращению. Другими словами, если потенциальное выше действительного, но этого разрыва можно было бы избежать, то, согласно его определению, мы имеем дело с насилием.

Он ввел также понятие «структурного насилия», когда социальными институтами создаются условия, не позволяющие людям удовлетворять свои основные потребности. Если при каком-нибудь социальном устройстве одни люди проживают в «умных» домах, обеспечивающих их комфортное существование, а другие ютятся в лачугах, которые рушатся при первом земном толчке и

убивают своих жильцов, то мы имеем дело со структурным насилием. Скрытые различия в стандартах жизнеобеспечения, образования, здравоохранения и т.д., поддержанные элитой, находящейся на вершине социальных структур общества, ведут к подобному насилию. При этом трудно применить к таким политикам эпитеты «насильники» или «убийцы». О них говорят как о представителях плохого управления (*bad governance*).

Примером физического насилия со стороны «убийц» служит захват террористами самолетов и таран двух башен-близнецов в Нью-Йорке, в результате которого погибли около 3 тыс. человек 11 сентября 2001 г. Галтунг назвал эти действия «преступным политическим насилием» [Galtung, 2002, p. 14] и задался вопросом не *почему*, а *кто* это сделал? Ответ был однозначным – террористы. А точнее – организация «Аль-Каида» и ее лидер Усама бен Ладен. Казалось бы, чего проще: наказать их, используя такой же метод – террора, что и было сделано чуть позже. Тем более что до сих пор известны два вида террора – «снизу», со стороны общества, и «сверху», со стороны государства. И хотя применяются эти два вида террора давно (развязанный во Франции между жирондистами и якобинцами в конце XVIII в. террор, в результате которого погибло до 40 тыс. человек; в России – «белый» и «красный» террор в начале XX в.; террор, развязанный чеченскими радикалами, и ответный шаг со стороны центра в конце XX – начале XXI в., также унесшие десятки тысяч жизней, и др.), но политическое насилие при этом не прекращается, а память о тех событиях до сих пор жива.

Терроризм – это идеология насилия и устрашения вплоть до капитуляции противной стороны и ее физического уничтожения. «Терроризм снизу» направлен против правительства или государства, представленного организациями и отдельными лицами, и имеет целью политические изменения. Государственный терроризм, или «терроризм сверху», используется против населения и стран и связан с убийствами в целях принуждения к капитуляции и подчинению. Это лейтмотив ведения современных войн: политика США в Ираке, Ливии и Сирии и т.д. Галтунг обращает внимание на то, что в кампании против Югославии в марте – июне 1990 г. пострадало на удивление мало военных объектов, в то время как число жертв среди гражданского населения было весьма значительным, помимо этого была разрушена сербская инфраструктура, фабрики, объекты энергетики, транспортная система, коммуника-

ции, школы и больницы. Это привело к капитуляции страны. Он задается вопросом: что же приводит к такому насилию? Определенный тип мышления – фундаментализм, который покоится на трех основаниях:

- дуализм – мир делится на две части, без нейтральных сторон;
- манихейство – тот, кто не примыкает к добру, примыкает к злу;
- Армагеддон – зло не подчиняется ничему, кроме насилия [Galtung, 2002, p. 16].

В качестве оправдания насилия обычно используется дилемма: ты с нами или против нас? Джордж Буш использовал фразу: «Вы либо с нами, либо с террористами», а бен Ладен делил мир на правоверных и неверных. Естественно, что тип мышления и образ действия влияют друг на друга и оправдывают дальнейшие действия. Отсюда и типы реакции на терроризм:

А – найти и наказать: действия полиции, предписанные судом, надлежащая правовая процедура;

В – найти и уничтожить: односторонние и многосторонние военные действия.

Возмездие может привести к двум типам реакции:

С – возмездие: ненависть и насилие, «дать сдачи», око за око;

Д – выход из цикла возмездия: изменение политики.

Последствия каждого из этих действий различны. Оправдывает ли насилие другой стороны ответное насилие? Большинство людей считают, что нет. Ничто не может оправдать преступлений против мира и человечности, совершаемых они сторонниками бен Ладена или США. Международный институт Гэллага после событий 2001 г. в Нью-Йорке провел опрос 14–18 сентября в 33 странах мира. Социологов интересовало: «По вашему мнению, когда личность террористов будет установлена, должно ли американское правительство предпринять нападение на страну или страны, в которых базируются террористы, или оно должно настаивать на выдаче террористов в целях их привлечения к суду?». Только граждане трех стран высказались в пользу «нападения»: Израиль – 77%; Индия – 72% и США – 54%. Подавляющее большинство высказалось в пользу «привлечения к суду»: около 80% в остальных странах (в Англии – 75%, во Франции – 67%, по всей Латинской Америке – свыше 80%) [Galtung, 2002].

Поддержкой для структурного насилия служит культурное насилие, которое используется для его легитимации. В качестве средств его оправдания применяются религия и идеология, язык искусства, доводы эмпирической и догматизированной науки. В отличие от прямого и структурного насилия культурное насилие является основополагающим принципом расширенного конфликта. Закрепленные нормы становятся убеждениями, догмой и функционируют в культуре как абсолютные истины, воспроизводятся между поколениями *без критики*, что чревато узурпацией власти и ужесточением насилия в отношении несогласных и сомневающихся.

Но как же быть с противостоянием власти и оппозиции в демократическом обществе, где между ними идет законная политическая борьба и где они периодически меняются местами? Роберт Даль рассматривает насилие в соотношении уровня и длительности давления друг на друга со стороны власти и оппозиции, принимая существование последней как один из критериев наличия современной демократии. Автор концепции полиархии¹ измеряет демократию двумя зависящими друг от друга величинами – такими как общественное соперничество через право участия в выборах и в управлении через общественные институты. Чем сильнее конфликт между правительством и оппозицией, тем вероятнее, что каждый из них будет искать возможность исключить другого из эффективного участия в политике. Но может возникнуть и другая ситуация: чем сильнее конфликт между правительством и оппозицией, тем более необходимо одному терпеть другого. Даль формулирует основные предположения как аксиомы о правительствах, терпящих своих оппонентов.

Аксиома 1. Вероятность, что правительство будет терпеть оппозицию, увеличивается, в то время как вероятные размеры терпения уменьшаются при условии, что подавление оппозиции будет стоить правительству очень дорого.

Аксиома 2. Вероятность того, что правительство будет терпеть оппозицию, повышается, в то время как масштабы подавления увеличиваются. Таким образом, вероятность появления конку-

¹ Примечание: термин «полиархия» был введен Р. Далем в 1953 г. и означает политическую систему, основанную на открытой политической конкуренции различных групп в борьбе за поддержку избирателей.

рентоспособной политической системы зависит от размеров терпения и подавления.

Аксиома 3. Чем более размер подавления превосходит размер терпения, тем больше вероятность существования конкурентоспособной системы.

Чем меньше размер терпения, тем больше шансов на стабильность (сохранность) правительства. Чем больше размер подавления, тем больше шансов на стабильность оппозиции. *Поэтому для того, чтобы была гарантирована сохранность правительства и оппозиции, нужно генерировать и сохранять широкие возможности для активного диалога оппозиции и правительства [Dahl, 1971].*

При каких условиях возможен дискурс власти и оппозиции? Знаменитая теорема Томаса гласит: *как только мы признаем ситуацию реальной, она сразу влечет за собой реальные последствия.* Это означает, что когда какое-либо социальное движение пользуется поддержкой лишь того слоя населения, целям которого оно непосредственно служит, тогда оно рискует быть признанным в качестве девиантного, предосудительного и опасного для всех остальных. Но как только его влияние распространится на другие слои населения, а также группы элиты, чьи интересы косвенным путем связаны с целями социального движения, отстаиваемая движением цель уже не будет восприниматься как опасная или предосудительная и сможет легитимно обсуждаться обществом. Даже если цель социального движения является спорной, обсуждение ее становится всеобщим.

**«Не влюбляйтесь во власть»,
но и сами не мыслите, как власть: критикуйте**

Власть как сила, применяемая в ситуации открытого конфликта и принуждения, рассматривалась Т. Гоббсом, К. Марксом, М. Вебером и другими мыслителями. Сегодня категорию «власть» чаще рассматривают не столько в традиционном силовом ключе, сколько в коммуникативном, дискурсном – как феномен, возникающий из общения и предполагающий выбор обществом определенных политических кодов из альтернатив, предложенных управляющей группой и возникших в результате их совместного дискурса. В этом случае такие инструменты политической комму-

никации, как публичная критика и альтернативные взгляды на происходящее, помогает избежать насилия и понять, не только как возникает власть, но и почему она теряет свой авторитет и укрепляется оппозиция. Основу для такого анализа мы находим в критической теории немецких неомарксистов и, прежде всего, у представителей Франкфуртской научной школы Х. Арендт и Ю. Хабермаса, в генетическом структурализме П. Бурдьё, в теории самореферентных систем Н. Лумана, в постструктуралистской позиции М. Фуко.

Х. Арендт рассматривает власть как коллективную собственность, обязательно легитимную и отличную от силы и принуждения. В основу своей модели она положила взаимовлияние и взаимозависимость людей. «Силой является то, чем в определенной степени обладает каждый человек от природы и что он действительно может назвать своим собственным; властью же в сущности не обладает никто, она возникает между людьми, когда они действуют совместно, и она исчезает, как только они снова рассеиваются» [Arendt, 1960, p. 194]. Власть возникает в момент человеческой коммуникации. Ее нельзя накопить, как силу, она нуждается в постоянной актуализации. Демократически избранный представитель должен поддерживать основу своей власти в постоянных общественных дискуссиях и в контакте со своими товарищами по политическим убеждениям. Общественное мнение является хоть и труднодоступной, но неотъемлемой основой власти, которая не сегодня, так завтра может быть утрачена [Arendt, 1986, p. 65].

Увидеть скрытую и могущественную силу внушения, осуществляемого просто через «порядок вещей», помогает концепция власти П. Бурдьё, который ввел в научный оборот понятие габитуса – системы приобретенных схем восприятия и оценивания, сложившейся на практике и позволяющей обеспечивать взаимную коммуникацию в обществе. Достаточно сформировать у индивидов представление об определенном порядке вещей в обществе, как люди начинают воспринимать мир «как само собой разумеющееся». На этом основании Бурдьё обосновал понятия символического капитала, символического насилия и символической власти [Бурдьё, 2007, с. 75, 95].

Постструктуралистская критика традиционной модели власти как структурного насилия М. Фуко дает возможность взглянуть на власть как на отношения выбора нескольких вариантов поведения, реакций и действий, ведь «рабство не есть властное отношение,

поскольку человек находится в цепях» [Foucault, 1994, p. 229]. Н. Луман также считает, что власть не лишает подвластного права выбора, она только сужает его перспективы, производит символическую генерализацию его действий [Луман, 2001]. Общество для него является примером самовоспроизводящейся (аутопоэтической) и самореферентной системы. Управляет процессом передачи результатов селекции код генерализированных символов. Процесс властвования – это процесс постоянного перехода от производства неопределенности к ее устранению. Власть предлагает результаты предпринятого ею отбора и благодаря этому обладает способностью оказывать влияние на селекцию действий (или бездействия) подчиненных перед лицом других возможностей. Таким образом, если с точки зрения коммуникативного подхода власть стремится к монополии на отбор альтернатив, обладанию правом на первоочередную номинацию, определение повестки дня дискурса, то оппозиция пытается ограничить ее в этом, оспаривая эту монополию.

Власть для Фуко не негативная репрессивная сила, «она не только давит на нас, как сила, говорящая “нет”, но и производит вещи: она приносит удовольствие, дает знание, формирует дискурс» [Foucault, 1980, p. 119]. Общество без власти может быть только абстракцией; власть – неизбежная часть создания смыслов, но при этом всегда – предмет борьбы вокруг этих смыслов: «Там, где есть власть, есть и сопротивление» [Фуко, 1996, с. 195–196]. Фуко интересуют техники и технологии власти, опирающиеся на современные знания и способы их использования различными институтами для контроля над людьми. Власть – специфический механизм достижения чего-то, «это способ изменения определенных действий с помощью других действий» [Foucault, 1994, p. 227]. Философ рассматривает власть не как субъект-объектные отношения. Она не находится в чьих-то руках, не присваивается, как товар или часть богатства. Индивиды не являются безвольными и согласными на все винтиками. *Индивиды, конституированные властью, одновременно являются ее двигателем.*

Его знаменитый призыв «Не влюбляйтесь во власть!» истолковывается в отношении ее оппонентов «не мыслите, как власть». Речь идет не о зеркальном, а об адекватном ответе общества, т.е. разумных, целесообразных действиях той же оппозиции, отдающей себе отчет в том, что происходит, и в своих действиях и их

последствиях. Современный философ-неомарксист В.В. Корнев считает, что действия нынешних критиков власти, к сожалению, сродни ее же действиям и поступкам. «Если принцип морального отношения к идеологии – “не влюбляйтесь во власть!”, то принцип интеллектуальной независимости от власти можно сформулировать так: не мыслите, как власть» [Корнев, 2020, с. 31]. Иначе говоря, «не мыслите любую важную проблему в категориях господствующего дискурса, не принимайте правил интеллектуальной игры (стандарты ее хорошо видны в формате популярных ток-шоу, сводящих представителей власти и «оппонентов» в бестолковых «дискуссиях», где стороны остаются при своем, а любая проблема забалтывается)! «Не мыслить, как власть» означает не просто не занимать предназначенное безвредным противникам власти место на любой из сторон телевизионного барьера, но отвергать саму разметку социального пространства, структуру социальных ролей, господствующие слова-вирусы и понятия-паразиты. Построение критической теории власти должно начинаться не только с разбора идеологических завалов, т.е. вскрытия механизмов и приемов манипуляции общественным вниманием... но с деконструкции грамматики властного дискурса. Иначе любое разоблачение вновь будет выглядеть как выступление на ток-шоу, любая критическая публикация – как элемент пиара и необходимого власти публичного скандала. Ну а то, что сам разоблачитель будет невольнo играть роль все того же персонажа-параноика из семейных триллеров и детективов – этого практически не избежать» [Корнев, 2015, с. 144]. Иначе говоря, он призывает вдумываться в смысл, содержание привычных понятий-догм и не поддаваться на провокацию в дискуссиях типа «тезис – антитезис», «белое – черное», «сам дурак» и т.д.

По существу встает вопрос о содержании политической критики. Под политической критикой часто понимают критику власти и режима, деятельность, направленную на совершенствование форм государственного устройства и управления, обновление системы политических организаций и институтов. Если она правильно усвоена теми, кому адресована, то критика способствует пересмотру ими неверных политических решений и политического курса и таким образом спасает от прямых столкновений недовольных с властью. Выливаясь в дебаты в парламентах и на телевидении, на митингах, в совместных круглых столах и научно-практических конференциях, политическая критика является обоюдоострым для

общества оружием, которое рассекает «больную социальную плоть», но одновременно лечит ее, при одном, конечно, условии: если она воспринимается другой стороной политического конфликта. Российский философ Б.В. Межуев понимает эту критику более содержательно. Разбирая наследие Вадима Цымбурского (который по профессии был филологом-античником, но внес также большой вклад в формирование российской теоретической политологии, занимаясь в том числе критикой общественных отношений), Межуев пишет: «Под этим термином я понимаю не столько критику режима, анализ тех или иных действий власти, сколько критику политической реальности с целью обнаружения в этой реальности определенного идеологического содержания, которое могло бы являться основанием для политического решения, для выбора при его принятии одной или нескольких ценностных альтернатив. Реальность всякий раз навязывает нам представление о собственной безальтернативности, понуждает описывать себя в качестве идеологически нейтрального продукта конкретных обстоятельств, “данностей”, как предпочитал говорить Цымбурский, и задача политического критика состоит в том, чтобы деконструировать, “расшить” эту реальность, отыскать в ней то, что относится к сознательной проектной деятельности людей с собственной программой, своими ценностными предпочтениями, групповыми и корпоративными интересами» [Межуев, 2012]. Как видим, он понимает задачи политической критики гораздо шире, чем совершенствование форм государственного устройства и управления, обновление системы политических организаций и институтов. Его интересует содержательная, ценностная составляющая общественного развития.

Автор весьма популярной книги о социальной критике американец Марк Уолцер полагает, что «это, по сути, работа, ведущаяся “изнутри” общества мужчинами и женщинами, приверженными этому обществу, но подвергающими сомнению его политику и практику. Это вовсе не исключает критиков-изгнанников – сочетание весьма характерное для российской истории» [Уолцер, 1999, с. 11].

О позиции критика. Одни считают, что идеальный социальный критик это скорее активный, нежели отстранившийся член общества, ведь существуют разнообразные формы участия в жизни общества (но только один способ отстраниться), которые делают работу критика столь разнообразной и богатой [Уолцер, 1999, с. 12].

Другие, например Жульен Бенда в книге «Предательство интеллектуалов», замечают, что истинный интеллектуал, выступающий социальным критиком, не должен ни под каким видом сближаться с властью или служить ей [Benda, 1955, p. 127]. В противном случае он становится апологетом.

Получается, что социальный критик в любом случае – это публичный человек со своей ярко заявленной позицией, который интересуется не только темой общественной морали и неравенства, но и касается непосредственно политики государства.

Если обобщить эти подходы, то мы увидим, что и политическая, и социальная критика касается лучшего устройства публичной сферы¹, где был бы простор для развития личности и институтов как социальных, так и политических. В таком случае мы могли бы предложить обобщающий два эти подхода термин – «публичная критика». Это деятельность по совершенствованию государственно-общественных отношений в целом. Публичная критика содержит в себе элементы как политической, так и социальной критики. У публичной критики как деятельности обнаруживаются преобразовательная, познавательная, оценочно-ориентировочная и коммуникативная функции, которые, безусловно, способствуют развитию более широкого, панорамного взгляда и политиков, и граждан на все происходящее в стране и в мире.

Необходимо подчеркнуть, что публичная критика была и остается мощным средством общественного контроля, орудием социально-политических перемен.

Для публичной критики важно соотношение нравственной позиции критика и его идеологических воззрений, теоретических построений лучшего будущего для всех. Марк Уолцер считает, что социальная критика возможна, если она опирается на «нравственное чувство». В качестве критика он больше предпочитает видеть человека, восприимчивого к морали, хотя и не имеющего социальной критической теории, чем человека «нравственно неразвитого, но имеющего самую грандиозную теорию» [Уолцер, 1999]. Но отсюда едва ли следует тезис о том, что к концу XX в. для дела социальной критики оказывается ненужной теоретическая мысль

¹ *Примечание:* под публичной сферой понимается сфера жизни, где обсуждение общественно значимых вопросов ведет к формированию информированного общественного мнения.

вообще, к чему склоняется Уолцер, слишком далеко заходящий в противопоставлении теории и морали и в сближении первой с идеологией¹. Действительно, все рассуждения о лучшем будущем у публичных критиков и их борьбе с несправедливостью не могут не опираться на их систему ценностей и в определенном смысле идеологичны. Не случайно мы часто имеем дело с либеральной, социалистической, анархистской, феминистской и т.д. критикой.

Может ли в принципе публичная критика быть абсолютно очищенной от политической позиции ее авторов? Может ли она быть «объективистской»? Возможно ли создание чистых теорий образцового общества, лишенных идейных позиций их авторов? Спор вокруг этого продолжается. Один из убедительных аргументов в пользу идеологической «разноликости» публичной критики приводит в своей книге «Прощай, Россия!» дуайен корпуса иностранных журналистов в России Джульетто Кьеца, который написал о своей собственной негативной позиции относительно российского перехода к демократии 1990-х годов следующее: «Кому-то покажется, что эта книга слишком однобока, слишком эмоциональна, чтобы быть объективной... Я не считаю отстаиваемые мной идеи однобокими и не защищал их просто из любви к полемике. В самой книге достаточно доказательств объективности исследования, и, к счастью, они принадлежат не только мне, но и многим гораздо более авторитетным наблюдателям. Как говорил итальянский философ Пьеро Гобетти: “Когда по одну сторону нет ни капли правды, соломоново решение становится крайне тенденциозным”» [Кьеца, 1998, с. 262].

Учеными замечен еще один феномен – *цикличности публичной критики*, когда она усиливается или сворачивается до минимума. Политическая история имеет немало примеров цикличности, когда демократические периоды, характеризующиеся расширением публичной критики, сменяют автократические, фактически вводящие цензуру на критику. Чаще всего это связано с периодами кризисов и войн.

¹ Визгин В. Последний дюйм // Независимая газета. – 2000. – Режим доступа: http://www.ng.ru/ng_exlibris/2000-06-22/4_lastinch.html (дата посещения: 03.06.2020)

Публичная критика в условиях «заговора молчания»

Считается, что в странах с авторитарным режимом, с ограниченной публичной сферой, где институт публичной критики не закреплен и постоянно подвергается запретам и ограничениям, возникает «заговор молчания», который приводит к застою, а в дальнейшем – к революционному насилию.

О «заговоре молчания» в свое время писали маркиз Астольф де Кюстин, путешествовавший по Российской империи, и Алекс Вайсберг, исследовавший доперестроечный период Советского Союза [де Кюстин, 1990, с. 93]. Как замечает американский исследователь Винсент Остром, «заговор молчания» возникает там, где «подавляются общественное мнение и способность гражданской оценки того, что происходит в обществе, не может развиваться культура исследования. Люди стремятся избежать всего, что может быть поставлено им в вину; они делают то, что им велят. Эти принципы действовали при автократии Сталина, так же как при автократии любого царя. В своих попытках перестроить советское общество Горбачев призвал к гласности, к открытости, признав важное значение открытой публичной сферы для общества, способного к самореформированию. Но обществу, в котором долгое время господствовал “заговор молчания”, трудно прийти к критическому осознанию альтернативных возможностей» [Остром, 1993, с. 251].

С таким подходом не согласна, но фактически подтверждает своей борьбой правозащитница, член Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева, критиковавшая режим и участвовавшая в протестном движении еще в 60-е годы XX в., находившаяся, как она говорит, в разгар «горбимании» в США. Она полагает, что если бы в СССР не было диссидентов, не согласных с политикой КПСС, не было бы внутренней критики – не только «на кухнях», но и на площадях, в распространявшейся среди демократической интеллигенции самиздатовской литературе (добавим – критики и самокритики внутри самой партии), то и не было бы и Горбачева, и самой перестройки. В одном из интервью Алексеева утверждала: «Но меня раздражало, когда спрашивали: “Как такой человек появился в такой стране?” Получалось, что это рабская страна, где люди никогда не знали о свободе и даже не думали о ней... Вот пришел Горби и, что называется, чуть ли не силой готовит страну

к свободе. Но я знала в моем поколении просто десятки, сотни людей, которые сломали свои жизни ради того, чтобы эта страна была свободной. Горби еще не родился, когда они... как-то, по-своему, работали на свободу своей страны. И только поэтому этот Горби появился! И только поэтому он и мог что-то сделать, потому что в убогие номенклатурные мозги проникла какая-то капля из того, что эти люди делали, говорили на кухне, писали в самиздате, кричали по зарубежным радиостанциям и т.д.» [Весёе, 2015, с. 12].

Значит ли это, что в Российской империи и в СССР вообще не было публичной критики, она не была институционализирована (легализована, с установленными правилами, нормами саморегуляции этой деятельности) и именно это привело к революциям в начале и в конце XX в.? Или попытки все же были, но всякий раз пресекались, что и привело, согласно Р. Далю, к укреплению оппозиции? Для ответа на этот вопрос стоит бросить короткий ретроспективный взгляд на нашу историю.

Еще Николай I объявил политику «гласности», но лишь для приближенных, для высших государственных чинов, которые должны были обсуждать возможные реформы в государстве, публичное же обсуждение пресекалось. Однако этого было достаточно, чтобы его сын Александр II пошел на реальные серьезные реформы – отмену крепостного права и послабления для печати. Уже тогда это послужило толчком для более широкого обсуждения либеральной общественностью вопроса о возможности замены Устава о цензуре законом о печати, который дал бы возможность снять цензуру и тем самым создать условия для установления правового государства, где только закон определяет границы свободы и формирует свободное общественное мнение. Но затем, из опасения разгула свободы, Александр II отменил эти послабления. К слову сказать, закон о печати так и не был принят вплоть до конца правления Романовых.

В начале XX в. также велись активные дискуссии в общественных советах, созданных с царского согласия, между сторонниками трех концепций государства: правового, полицейского и социального. Либералы отдавали предпочтение правовому государству, полагая, что сам по себе «господин закон» сможет оградить граждан от притеснений и даст возможность для развития свободы мысли. Вот почему политическая элита России считала необходи-

мым сконцентрировать свое внимание на составлении «хороших» законов, в частности принятии закона о печати, где была бы отменена политическая цензура и разрешалось бы открыто говорить о недостатках правления. Однако многочисленные и затянувшиеся попытки демократизации режима «сверху» с организацией заседаний общественных комиссий, куда приглашались лучшие университетские умы, не привели к желаемому обществом результату. Только после событий первой русской революции, вынудивших Николая II подписать Манифест 17 октября 1905 г., где первым пунктом провозглашалось: «Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов» [Царствование Николая II, 1960, с. 1], забрезжила надежда, но тут же и потухла. Следом за опубликованным манифестом был разослан циркуляр в адрес цензурных комитетов и губернаторов, где указывалось, что «до издания нового закона о печати все правила цензурного устава остаются в полной силе» [Ганфман, 1912, с. 50]. Историки заметили, что чем больше открывалось газет и чем больше их закрывалось по соображениям цензуры, тем отчаяннее шла борьба за гражданские свободы. Именно такая половинчатая политика приводит к стихийному прорыву «заговора молчания» — как потом во времена М.С. Горбачева, который провозгласил в 1985–1986 гг. политику гласности и тезис «разрешено все, что не запрещено законом», но цензура продолжала существовать вплоть до ее отмены в 1989 г., когда точка кипения общественного возмущения дошла до крайности и оппозиция потребовала «ускорить перестройку».

Временное правительство после Февральской революции 1917 г. решилось воплотить свободу печати на практике. 27 апреля было принято постановление о печати, где в первом пункте было заявлено, что «печать и торговля произведениями печати свободны». Таким образом, создавались условия для институционализации публичной критики с помощью свободных СМИ. Хорошо известен случай, когда на телеграмме, присланной главе Временного правительства А.Ф. Керенскому великой княгиней Марией Павловной с просьбой защитить ее от несправедливой критики и клеветы в газетах, Александр Федорович начертал резолюцию: «Пути защиты от клеветы в печати одинаковы для всех граждан — опровержения в газетах и привлечение к суду» [Тимофеева, 1992].

Но для институционализации публичной критики одной свободы печати и закона было мало, надо было еще сформулировать нравственный кодекс поведения журналистов и политиков, осуществляющих публичную критику, который бы не допускал лжи и клеветы в критике. И такие попытки были. Кадетская газета «Речь» с тревогой писала почти сто лет назад: «Наша демократия начинает страдать особой болезнью – “контрреволюционитом”, и это грозит отозваться на плодотворности нашей работы. Нужны единение и творческая работа, а не заподозрения» [Тимофеева, 1992]. Ее поддержала эсеровская газета «Дело народа». Она сформулировала несколько правил, обязательных для печатных органов различной политической ориентации.

Первое. Смакование печатью разных пикантных мелочей интимной жизни, погоня за сенсациями скандальной хроники, будет ли объектом этих своеобразных изысканий первый встречный или низвергнутый Николай II, – одинаково производят крайне неприятное впечатление и, следовательно, должны быть убраны из арсенала демократической прессы.

Второе. Еще резче следует протестовать против полемиического приема, который состоит в том, что факт присутствия в известной группе, организации, партии провокаторов и вообще агентов старого режима иные публицисты делают аргументами против программы и даже политической чистоты самой партии.

Третье. Партии должны воздержаться в своих выступлениях от требуемого существом дела обострения межпартийной полемики.

Четвертое. Выступления министров, членов партий, вошедших в состав правительства, должны быть лишены какой-либо партийно-политической окраски, они должны придерживаться той программы, которая заявлена кабинетом министров, а не своих партийных доктрин.

Пятое. Хватит искать во всем происходящем в России еврейскую и масонскую подоплеку.

Шестое. Нельзя втягивать в политическую борьбу школу, политически незрелые слои населения...¹

¹ *Примечание.* Цитаты и сноски на газеты приведены в диссертации: [Тимофеева, 1992]; см. также: Тимофеева Л.Н. Где границы свободы слова? // Народный депутат. Журнал Верховного Совета Российской Федерации. – 1993. – № 8. – С. 40–42.

Иными словами, здравомыслящие граждане выступали против огульной критики, за «ответственную свободу», но в конце концов победила революционная этика – «нравственно все, что служит упрочению власти и силы твоей партии». Временное правительство запретило всю большевистскую прессу – «Правду», кронштадтский «Голос правды», «Окопную правду» и т.д. И тут уже пошли в ход все приемы из перечисленного выше арсенала.

В условиях интервенции и Гражданской войны с победой большевиков закрепились идеи «партийности» печати, усиленная политической цензурой, вначале как жестокая необходимость, а потом – как обычная практика. В соответствии с Декретом о печати 27 октября 1917 г. было запрещено большое количество «инакомыслящих» изданий. Цензура, отмененная Временным правительством, была восстановлена. Свободу слова и печати, но для своих изданий, декларировали и антибольшевистский Комитет Учредительного собрания в Самаре («Комуч»), генералы Корнилов, Деникин, Врангель (в 1918–1919 гг.).

Известно, что один из основоположников коммунистической идеи Ф. Энгельс в последние годы жизни активно обдумывал вопрос о степени свободы партийной журналистики. У него есть такое соображение: партия должна иметь несколько газет, и среди них такую, которая бы имела возможность постоянно критиковать действия партии, чтобы она не оказалась в арьергарде [Энгельс, 1891, с. 441–442]. Видимо, при переложении этого тезиса в практическую плоскость овладевшие властью люди и желающие ее удержать, а также особенности исторического момента, связанные с иностранной интервенцией и Гражданской войной, истолковали смысл в соответствии с известным принципом «цель оправдывает средства».

Вместе с тем нельзя не заметить, что в советский период – и при В.И. Ленине и И.В. Сталине, так же как при Н.С. Хрущеве и Л. Брежневе, – допускались «критика и самокритика», но в рамках официально объявленной повестки дня и организованных политических кампаний. Понятно, что напряженность в этих условиях возрастала и находила выход за счет нелегально передаваемых из рук в руки листов «самиздата» и писем части интеллигенции «вождям Советского Союза». Теперь известно, что в конце 1960-х группа ученых и представителей творческой интеллигенции из 100 человек подписали документ в Президиум Верховного Совета

СССР, в котором ставился вопрос о том, чтобы сделать работающей статью 125 Конституции СССР, где гарантировалась законом свобода слова и печати. Академик Андрей Сахаров вместе с физиком Валентином Турчиновым и историком Роем Медведевым в своем письме к Брежневу в марте 1970 г. утверждали, что стране нужны демократические реформы. Авторы «письма трех» предлагали в качестве первого шага расширение информации о положении дел в стране и мире. Они писали: «Гласность содействует контролю общественности за законностью, справедливостью всех принимаемых решений, способствует эффективности всей системы, обуславливает научно-демократический характер системы управления, способствует прогрессу, благосостоянию и безопасности страны» [Сахаров, 1976]. Но она была провозглашена только через 15 лет.

И здесь возникает другая важная проблема: как выходить из состояния «заговора молчания» при реформировании авторитарных режимов? Неразрешенные и преследуемые критики режима, объявленные истеблишментом «изгоями» общества, – это одно, а разом разрешенная огульная критика, не ограниченная законом и моральными нормами, – это другая ситуация, опасная для удержания власти и политической стабильности. С ней столкнулись в свое время М.С. Горбачев и Б.Н. Ельцин, один из которых объявил «политику гласности», а второй – ее «ускорение»... Оба в результате своего правления «разрешили» свободу печати и критики. В силу разных причин (и этой – тоже) один потерял власть, а второй оказался на грани ее потери.

И тут «постперестроечная» власть делает шаг назад. В условиях объявленной свободы печати, слова, отсутствия официальной цензуры в России появляется проблема закрытости доступа журналистов к информации, находящейся в руках властей. Цензура перемещается из сферы контроля над содержанием СМИ в сферу контроля за предоставляемой журналистам информации. Согласно опросу, проведенному в 1996 г. под руководством председателя Комиссии по свободе доступа к информации И.М. Дзялошинского, лишь 8,9% журналистов не испытывали проблем с получением информации из органов власти. Зато три четверти журналистов постоянно встречались со сложностями в получении необходимых сведений. Обнаружилась закономерность: чем выше уровень исполнительной власти, тем выше уровень информационной закры-

тости. Прошло почти 20 лет, прежде чем вступил в силу в 2010 г. закон о доступе граждан к информации о деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.

Следующая проблема встала во весь рост во время выборов президента в 1996 г. Неравенство в объеме материалов, представляющих разных кандидатов, а также односторонность критики: хвалебная и некритическая в пользу Б.Н. Ельцина и резко отрицательная в пользу других кандидатов. Причем количество выступлений самого президента или его команды в СМИ в несколько раз превышало объем выступлений других кандидатов. На этом основании директор Европейского Института средств массовой информации, расположенного в Дюссельдорфе (ФРГ), Петер Ланж заявил: «Отсутствия существенных процедурных нарушений недостаточно, чтобы назвать выборы свободными и честными. Поведение СМИ запятнало демократический процесс» [Кьеца, 1998, с. 191–192]. Часть иностранных журналистов, наблюдавших за выборами, посчитали, что тактика президента подорвала моральную ценность его победы, как и мандата, полученного на выборах. «Москоу трибюн» писала 5 июля 1996 г.: «Подсчет голосов, может, и был честным, но сама кампания была просто комедией»¹. И далее газета указала на превышение президентом своих полномочий во время избирательной кампании относительно денег, которых, по ее мнению, было потрачено не только гораздо больше, чем смог потратить противник Б.Н. Ельцина Г.А. Зюганов, но и выше всех приемлемых границ. «А то обстоятельство, что нет никого достаточно честного, кто бы предотвращал, вскрывал и карал этот произвол, заставляет с глубоким скептицизмом взглянуть на весь избирательный процесс» [Кьеца, 1998, с. 193].

Новый скандал разразился в 2011 г., когда на съезде «Единой России» накануне парламентских и президентских выборов В.В. Путин, бывший тогда премьер-министром, и Д.А. Медведев, будучи еще президентом РФ, публично заявили о предстоящей рокировке, т.е. об обмене местами. Многотысячные митинги протестов «За честные и чистые выборы!» прокатились по 15 крупным городам страны. С тех пор отношение российской элиты к выборам несколько изменилось. Кроме того, критика избирательного процесса и контроль за ним со стороны общественности за-

¹ Москоу трибюн. – 1996. – 5 июля.

ставили внести серьезные поправки в закон о партиях и выборах, а протесты москвичей по поводу не совсем вразумительной политики реновации в столице впервые привели уличную оппозицию в здание парламента, где в течение нескольких часов велись дебаты с руководством Думы и было внесено более 500 поправок в проект закона.

Таким образом, если посмотреть на возможности появления элементов публичной критики как института развития в российской исторической ретроспективе, то можно заметить произошедшие изменения в российском обществе. И хотя мы видим, что институт публичной критики в России еще до конца не сформировался, страна проделала уже большой путь к этому. Необходимо не только закрепить в законах и моральных кодексах право на честную и корректную публичную критику, но и сделать ее естественной и повседневной практикой. Кроме того, важно закрепить практику реагирования правящей элиты на критические замечания активной общественности. Сегодня уже можно услышать из уст президента В.В. Путина такое высказывание в обращении к народу по поводу пенсионной реформы, которую многие встретили критически: «Повторю, изменения в пенсионной системе, тем более связанные с повышением возраста выхода на пенсию, волнуют, тревожат людей. И естественно, что все политические силы, прежде всего, конечно, оппозиционные, будут использовать эту ситуацию для саморекламы и укрепления своих позиций. Это неизбежные издержки политического процесса в любом демократическом обществе. Тем не менее я просил Правительство самым серьезным образом изучить и использовать все прозвучавшие конструктивные предложения, в том числе и от оппозиции»¹. Но критика закона продолжилась. Позже появилась информация о принятии в первом чтении нового пакета закона о снижении пенсионного возраста (женщин до 55, мужчин до 60 лет), но он будет касаться негосударственных пенсионных фондов.

Итак, публичная критика как легальный институт при тоталитарных и авторитарных режимах возможна только в пределах разрешенных тем и повестки дня и только для «доверенных лиц», и потому подпольно раздается из уст диссидентов в самиздате или

¹ Обращение Президента к гражданам России. 28 августа 2018 года. – Режим доступа: <http://kremlin.ru/events/president/news/58405> (дата посещения: 28.08.2018)

тамиздате. Этим и опасна вдруг открывшаяся возможность публичной критики во время внезапно объявленных реформ в условиях многолетнего «заговора молчания». Свои проблемы возникают с публичной критикой и в демократических режимах, чреватых забалтыванием важных для общества проблем.

«Критикуй и обращай внимание на критику других»

Считается, что публичная критика легализована и общедоступна в демократических обществах, где можно говорить практически на любые темы. «Не всегда легко вынести громкие жалобы и бесконечные вопли своих сограждан. Но демократия требует большего, чем просто терпимости. Демократическое правление таково: критикуй и обращай внимание на критику других», – считает Майкл Уолцер [Уолцер, 1999, 13].

В условиях демократии, в отличие от тоталитаризма и авторитаризма, возникает другая проблема: как из шумной многоголосицы, «критического шума» выбрать нужную информацию для выхода из сложной ситуации. Мозг способен заниматься решением только одной сложной задачи. Человеку трудно использовать свои познавательные способности критически и в то же время конструктивно, когда множество людей пытаются привлечь его внимание, когда все стремятся высказаться и нет времени для размышлений.

В этом случае должен сработать именно институт публичной критики, если он сформирован и давно устоялся. Напомним, что институты трактуются как нормы и правила поведения в деятельности, состоящие из формальных (конституции, нормативных законов) и неформальных правил (конвенций, моральных и социальных норм) [North, 1990, с. 27]. Такие правила инстинктивно структурируют общество, определяют, по каким правилам идет игра, т.е. строят порядок общественных взаимоотношений. Большое значение при формировании института критики имеет субъект критики и его положение в обществе, а также общедоступные каналы критики и ее конвенциональные нормы. Среди субъектов критики: интеллигенция (часть элиты, занимающаяся умственной деятельностью и критикующая правящую элиту), политическая

оппозиция (параллельное или альтернативное правительство для части общества), журналисты качественных или оппозиционных СМИ.

М. Уолцер главной проблемой для социальной критики не без веских оснований считает установление оптимальной дистанции между критиком с характерным для него концептуальным аппаратом, в котором не могут не отражаться его пристрастия, и теми, к кому его критика обращена. В связи с этим, на наш взгляд, важно выделить правовые, этические и политические основания деятельности политической оппозиции, позволяющие институционализировать ее деятельность и одновременно ограничить «параноидальные», негативные для общества последствия.

Правовые основания и ограничения деятельности оппозиции связаны с политическими свободами, завоеванными народами в буржуазных революциях XVII–XVIII вв., когда было сформулировано право граждан на сопротивление самоуправной власти, а чуть позже обозначены пределы ее деятельности, угрожающие суверенитету, территориальной целостности, республиканской форме правления, демократическому устройству государства и т.д. и т.п. И это должно быть отражено в законах страны.

Этические основания и ограничения деятельности оппозиции определяются правом человека на достойную жизнь и принципом социальной справедливости как моральным базисом демократии, который постоянно обсуждается между властью и оппозицией. В зависимости от приоритета критериев целого и индивидуального выделяют справедливость коммунитаристскую, либеральную, либертатную и т.д. Инструментом борьбы за социальную справедливость выступает гражданское неповиновение, а политическая оппозиция является одним из субъектов этого широкого социального действия. Критерием ограничения действий оппозиции в этическом ключе может выступать легальное насилие и кодекс политической этики.

Политические основания деятельности оппозиции связаны с правом граждан на конвенциональное политическое участие и запрет, пресечение неконвенциональных форм участия. Здесь критерием возможности / невозможности применения той или иной формы участия является захват власти, присвоение властных полномочий, изменение политического строя. Все три основания деятельности политической оппозиции тесно связаны друг с другом [Тимофеева, 2005].

Где мы можем увидеть это на практике хотя бы в первом приближении? Обратимся к опыту Великобритании, которая положила начало институционализации оппозиции и публичной критики с ее стороны. Еще в XVIII в. один из первых теоретиков оппозиции англичанин лорд Болингброк обосновал конституционный принцип, который определял сферу ее лояльной деятельности. Смысл этого принципа заключается в обеспечении баланса власти, контроля и критики со стороны оппозиции действий правительства, внесении предложений, направленных на реформирование государственно-правовых институтов. Процедура распределения функций в парламенте между правительственной партией и оппозиционной партией в современной Великобритании происходит так. Партия, получившая большинство мест, – но не обязательно большинство голосов, – на всеобщих выборах или имеющая поддержку большинства членов палаты общин, как правило, формирует правительство. По традиции монарх обращается с просьбой к лидеру партии большинства сформировать правительство. Около 100 ее членов в палате общин и палате лордов получают должности министров, в том числе и назначение в кабинет министров по представлению премьер-министра.

Самая многочисленная партия меньшинства становится официальной оппозицией со своим лидером и «теневым кабинетом». Лидеры правительства и оппозиции пользуются одинаковым почетом и располагаются на передних скамьях по обе стороны палаты общин, а позади них помещаются их сторонники – рядовые члены парламента, или «заднескамеечники». Подобным же образом располагаются партии и в палате лордов с некоторыми исключениями.

Эффективность существующей партийной системы в парламенте в значительной степени обусловлена взаимоотношениями, сложившимися между правительством и оппозиционными партиями. В зависимости от расклада сил между партиями в палате общин оппозиция может попытаться свергнуть правительство, нанеся ему поражение при голосовании по вопросу доверия. Однако *обычные цели британской политической оппозиции таковы:*

а) содействовать формированию политического курса и осуществлению законодательной власти с помощью конструктивной критики;

б) выступать против тех предложений правительства, которые она считает сомнительными; добиваться внесения поправок в правительственные законопроекты;

в) предлагать свою собственную политическую линию, с тем чтобы улучшить свои шансы на победу на следующих всеобщих выборах.

Оппозиция выполняет свою роль, участвуя в дебатах по различным вопросам, а также внося свои предложения на обсуждение в обеих палатах и действуя через систему парламентских комитетов.

Повестка дня правительства определяется – под руководством премьер-министра и лидеров обеих палат – главным парламентским организатором правительственной партии по согласованию с главным парламентским организатором оппозиционной партии. Главные организаторы правительственной и оппозиционной партий («кнуты») представляют «обычные» каналы, к которым часто прибегают в тех случаях, когда необходимо найти время для обсуждения какого-либо конкретного пункта повестки дня. Лидеры обеих палат обязаны дать возможность членам палат обсудить интересующие их вопросы. Кстати, лидеры оппозиционных партий в Великобритании входят в состав Тайного совета, его главная функция – консультировать королеву по вопросу утверждения «королевских указов в совете», которые, согласно парламентским законам, устанавливают подзаконные нормативные акты, затрагивающие широкий круг вопросов – от конституций зависимых территорий до глобального загрязнения окружающей среды.

Оппозиция осуществляет контроль за политикой правительства. Такая возможность есть у нее при работе в парламентских комитетах; на «Часе вопросов» по понедельникам, вторникам, средам, четвергам, когда министры отвечают на вопросы парламентариев или когда по средам выступает премьер-министр¹; в дебатах во время перерыва между заседаниями; во время так называемых утренних предложений, когда каждый из них имеет право выразить свое мнение по актуальному вопросу; наконец, в течение «20 дней оппозиции» во время каждой сессии, когда оппозиция имеет право выбирать темы для обсуждения. Процедурные возможности кри-

¹ Парламентарии имеют право обратиться с вопросами, на которые надлежит дать ответ в письменной форме. Вопросы и ответы публикуются в справочнике «Хансард». Обычно каждый год поступает около 50 тыс. вопросов.

тики правительства возникают также во время обсуждения речи королевы, с которой она обращается к парламенту в начале каждой сессии; во время дебатов по предложению о вынесении вотума недоверия, на которые правительство специально отводит время, и во время обсуждения законодательных и других предложений, внесенных правительством.

Ежегодная финансовая поддержка из государственных фондов позволяет оппозиционным партиям выполнять свои парламентские обязанности в Вестминстере. Она оказывается только тем партиям, от которых, по крайней мере, два кандидата были избраны на предыдущих всеобщих выборах или избран один кандидат при минимум 150 тыс. проголосовавших. Каждое полученное место в парламенте оценивается в 3743 фунта стерлингов плюс 7,48 фунта стерлингов на каждые 200 поданных голосов [Система государственного управления в Великобритании, 2002, с. 9].

Именно в Великобритании начался процесс юридического признания политической оппозиции, когда закон о министрах короны 1937 г. установил ежегодное жалование лидеру «официальной оппозиции» [Очерки парламентского права, 1993, с. 18]. В 1975 г. в Акте о жаловании министрам и другим лицам в ст. 2 было четко сформулировано понятие «лидер оппозиции». Указанная статья гласит: «В настоящем акте выражение “лидер оппозиции” означает в той или другой Палате парламента члена этой Палаты, который в данное время является в ней лидером партии, находящейся в оппозиции к правительству Ее Величества, имеющей наибольшую цифровую численность в Палате общин» [Очерки парламентского права, 1993, с. 18]. Именно лидер оппозиции назначает члена палаты общин, который наряду со спикером, лидером палаты общин и тремя другими членами палаты общин, назначаемыми этой палатой не из числа лиц, являющихся министрами Короны, входит в Комитет палаты общин, конституирующий весь персонал служб палаты и устанавливающий их численность, вознаграждение и статус их службы. *Лидер оппозиции в британском парламенте утверждается главой государства.*

Аналогичные положения предусматривают и законодательства большинства стран Британского Содружества (Австралия, Индия, Малайзия, Канада и др.). В некоторых из них положение о лидере оппозиции, порядке его назначения и правах включается в Основной закон (Папуа – Новая Гвинея, Сейшельские острова,

Фиджи). К примеру, ст. 84 Конституции Сейшельских островов 1993 г. определяет порядок выборов и смещения лидера оппозиции и устанавливает, что его жалование и пособия не могут быть менее жалования и пособий министра и выплачиваются из консолидированного фонда.

Мировая практика законодательного регулирования оппозиционной деятельности приравнивает оппозицию к параллельному правительству и признает ее равноправие по отношению к закону. В странах, где понимают важность парламентской оппозиции для защиты прав человека, она целиком финансируется государством. В ФРГ, например, согласно закону 1994 г., каждая фракция, которая не поддерживает правительство, получает дополнительную (оппозиционную) надбавку. В Швеции фракции оппозиции получают за каждый депутатский мандат в два раза больше, чем фракции правительственного большинства. Таким образом государство предоставляет оппозиционным партиям дополнительную материальную гарантию, обеспечивающую их плодотворную парламентскую деятельность.

Парламентской оппозиции гарантируется право получения официальной документации и необходимой информации. Права парламентской оппозиции гарантированы правом обращения определенной части депутатов в конституционные суды (в Конституции РФ это право зафиксировано в ст. 125, ч. 2). Но это лишь маленькая толика, подтверждающая права российской оппозиции, которая имеет лишь дисперсную легитимность, рассыпанную по отдельным законам [Тимофеева, 2005]. Сначала оппозиционеры – фракция КПРФ, потом фракция «Яблоко» вносили проект закона о правовых основах деятельности оппозиции, но он так и не был принят. Затем фракция «Справедливая Россия» предложила законопроект о Федеральном собрании, где были бы прописаны права фракции не только большинства, но и меньшинства, чтобы у первых не «возникло желания совсем зажать оппозицию. Понятно, что фильтр “ЕР” проект не прошел»¹. Как сказал лидер фракции С. Миронов, «В том, что сегодня нам позволено высказываться и наше мнение учитывается – в этом личная заслуга Володина. Будь

¹ Сергей Миронов о внесении поправок в Конституцию // Сайт партии «Справедливая Россия». – 2020. – Март. – Режим доступа: <https://spravedlivo.ru/10188510> (дата посещения: 15.05.2020)

на его месте кто-то другой, мы бы имели иной расклад внутри Думы. Но разве это правильно?»¹. Понятно, что парламентская оппозиция в условиях демократического государства борется за власть легальным путем, исключая насильственные действия, но почему ее действия не закрепить юридически, как это сделано в других странах?

В качестве проводника публичной критики выступают так называемые качественные СМИ – как площадка для объективной критики и издания оппозиционных партий, представляющих ту или иную идеологическую картину мира. Как пишет Я.Н. Засурский, много лет возглавлявший факультет журналистики МГУ, «для любителей серьезной журналистики существуют дорогие газеты – их называют качественными – такие как английская “Таймс”, “Нью-Йорк таймс” и “Вашингтон пост” в США, “Франкфуртер альгемайне цайтунг” в Германии, “Монд” во Франции» [Засурский, 2015, 6]. Для нее, как правило, характерно всестороннее и объективное освещение событий, тщательная проверка достоверности фактов. Это площадка и для широкой публичной критики как внешней, так и внутренней политики страны.

Но оказывается, что эта площадка не лишена недостатков, связанных с общими проблемами отношений между властью и крупным бизнесом, этикой журналистского творчества, нередко скрывающего стремление к сенсационности или к материальному интересу. Не случайно Евросоюз в последние годы озаботился ответственностью СМИ перед обществом, развернуты разного уровня международные дискурсы по поводу содержания и соблюдения этических норм, которые для качественной прессы многих стран возведены в профессионально-этические стандарты. Комитет по свободе прессы при ЕС предложил создать национальные медиарегуляторы для 27 стран – членов Евросоюза, которые должен контролировать единый специальный орган ЕС. И это неслучайно. СМИ часто обслуживают те или иные политические или бизнес-элиты, забыв об обязанности журналистов стремиться к объективному и достоверному освещению фактов и публичной критике недостатков. Об этом книга Удо Ульфкотте, редактора «Франкфур-

¹ Сергей Миронов о внесении поправок в Конституцию // Сайт партии «Справедливая Россия». – 2020. – Март. – Режим доступа: <https://spravedlivo.ru/10188510> (дата посещения: 15.05.2020)

тер альгемайне цайтунг» с 1986 по 2003 г. «Продажные журналисты. Любая правда за ваши деньги». Он подробно описывает неприглядные факты и констатирует: «Все названные в этой книге поименно люди отрицают свою отдающую коррупцией подозрительную близость к организациям правящей элиты. Вдобавок они отрицают, что являются лоббистами. Они также отрицают свою “коррумпированность” вследствие их описанной близости к правящей элите. И они отрицают, что, будучи журналистами, близкими к вышеупомянутым группам, утратили обязательную для журналиста профессиональную хватку» [Ульфкотте, 2015, с. 407]. На взгляд автора, журналистика должна служить следующему: «...простые люди должны узнать правду, чтобы получить возможность сопротивляться» [Ульфкотте, 2015, с. 419].

Итак, как правило, субъектом публичной критики выступает критически мыслящая интеллигенция, лидеры политической оппозиции, журналисты качественных или оппозиционных СМИ. Ее объектом становятся нерешенные или плохо решаемые властью социальные, экономические и политические проблемы. Цель публичной критики – поддерживать власть в состоянии постоянной и вдумчивой работы над образом лучшего будущего и исправлением собственных ошибок.

Вывод

Социальный мир вырастает из актуальной публичной критики, предлагающей альтернативы общественного развития. «Фундаментализм» в мышлении как власти, так и оппозиции ведет в конечном плане к войне – насилию и террору. Деятельность «партии критиков» означает, с одной стороны, эскалацию публичных конфликтов в обществе, с другой – одновременно и их легитимацию, институционализацию, структуризацию и решение, что способствует созданию постоянно действующего института публичной критики, который помогает искать наилучшие пути разрешения проблем. Этому служат последовательно сменяющие друг друга конфликтный дискурс и дискурс согласований, составляющие сердцевину государственно-общественного или публичного дискурса о лучшем настоящем и будущем. Для этого необходимо определить четкие политические, этические и правовые основания

деятельности «альтернативного правительства» – конструктивной оппозиции.

Современная российская политология воспринимает власть и как влияние особого рода, и как способность к достижению определенных целей, и как возможность использования тех или иных средств, и как особое отношение между управляющими и управляемыми через дискурс. В свое время М.В. Ильин и А.Ю. Мельвиль определили власть как совокупность трех измерений: 1) директивный аспект – власть трактуется как господство, обеспечивающее выполнение приказа, директивы; б) функциональный аспект – понимание власти как способности и умения реализовать функцию общественного управления; 3) коммуникативный аспект, связанный с тем, что власть так или иначе реализуется через определенный язык, понятный обеим сторонам общественного отношения власти [Ильин, Мельвиль, 1997]. С точки зрения коммуникативного подхода власть всегда стремится к монополии на информацию, обладанию правом на первоочередную номинацию, определение повестки дня дискурса, а оппозиция пытается ограничить ее в этом, оспаривая эту монополию с помощью публичной критики и предложения альтернативных путей решения проблем, тем самым снижая градус насилия в обществе. Важно, чтобы эти процессы проходили в строго определенных институциональных рамках.

Список литературы

- Бурдые П. Социология социального пространства / пер. с франц.; отв. ред. перевода Н.А. Шматко. – М.: Институт экспериментальной социологии; СПб.: Алетейя, 2007. – 288 с.
- Вессье С. За вашу и нашу свободу! Диссидентское движение в России / пер. с франц. Е. Баевской, Н. Кисловой, Н. Мавлевич. – М.: Новое литературное обозрение, 2015. – 576 с.
- Ганфман Я.М. Явочный период свободы столичной печати // Свобода печати при обновленном строе. – Санкт-Петербург: тип. т-ва «Обществ. Польза», 1912. – С. 50–51.
- де Кюстин А. Николаевская Россия: пер. с фр. – М.: Изд. центр «Терра», 1990. – 285 с.
- Засурский Я.Н. Качественная пресса в медийных структурах. – М.: Изд-во ИКАР, 2015. – 344 с.
- Ильин М.В., Мельвиль А.Ю. Власть // Полис. Политические исследования. – 1997. – № 6. – С. 146–153.

- Корнев В.В. Эгоистичный ген идеологии // Идеи и идеалы. – 2015. – Т. 2, № 3 (25). – С. 140–149.
- Корнев В.В. Эгоистичный мем идеологии. – М.: Канон+РООИ «Реабилитация», 2020. – 264 с.
- Кьева Дж. «Прощай, Россия!» / пер с итал. Э. Двин, А. Зафесовой. – М.: ТОО «Гей», 1998. – 271 с.
- Луман Н. Власть / пер. с нем. А.Ю. Автоновского. – М.: Праксис, 2001. – 256 с.
- Межуев Б.В. Политическая критика Вадима Цымбурского. – М.: Издательство «Европа», 2012. – 199 с.
- Остром В. Смысл американского федерализма. Что такое самоуправляющееся общество / пер. с англ., общая ред. и предисловие А.В. Оболенского. – М.: Арена, 1993. – 320 с.
- Очерки парламентского права. Зарубежный опыт / Рос. АН, Ин-т государства и права; под ред. и с предисл. Б.Н. Топорнина. – М.: ИГПАН, 1993. – 178 с.
- Сахаров А.Д. О стране и мире. – Нью-Йорк: Хроника, 1976. – 79 с.
- Система государственного управления в Великобритании. – М.: МИД Великобритании, 2002. – 120 с.
- Тимофеева Л.Н. Альтернативная печать как феномен качественных изменений в политическом процессе России (середина 80-х – начало 90-х): дис. ... канд. полит. наук: 23.00.02. – М.: РАГС, 1992. – 224 с.
- Тимофеева Л.Н. Власть и оппозиция в России: особенности отношений (социально-исторический аспект) // Социология власти. – 2005. – № 1. – С. 140–154.
- Ульфкотте У. Продажные журналисты. Любая правда за ваши деньги: пер. с нем. – М.: Эксмо, 2015. – 476 с.
- Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности / пер. с фр. С. Табачниковой. – М.: Касталь, 1996. – 448 с.
- Уолцер М. Компания критиков. Социальная критика и политические пристрастия XX века: пер. с англ. – М.: Идея-Пресс, Дом интеллектуальной книги, 1999. – 360 с.
- Царствование Николая II. – Л.: Издательский дом: Издательство социально-экономической литературы, 1960. – Т. 2: Витте С.Ю. Воспоминания. – 724 с.
- Энгельс Ф. Письмо Августу Бебелю в Берлин, 1–2 мая 1891 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. – 2-е изд. в 50 т. – М.: Государственное издательство политической литературы, 1955–1981. – Т. 38. – С. 441–444.
- Arendt H. Vita Activa oder: Vom tatigen Leben. – Stuttgart: W. Kohlhammer, 1960. – 375 S.
- Arendt H. Communicative power // Power / S. Lukes (ed). – Oxford: Blackwell, 1986. – P. 59–74.
- Benda J. The Betrayal of intellectuals / Trans. Aldington R. – Boston: Beacon Press, 1955. – 188 p.
- Dahl R. Polyarchy: participation and opposition. – New Haven: Yale University Press, 1971. – 257 p.
- Galtung J. Peace: research – education – action: Essays in peace research. – Copenhagen: Christian Ejlars, 1975. – Vol. 1. – 404 p.

- Galtung J.* September 11, 2001: Diagnoz, prognosis, therapy (forming the second edition of «Searching for peace: the road to TRANSCEND». – London: Pluto Press, 2002. – 338 p.
- North D.C.* Institutions, institutional change and economic performance. – Cambridge: Cambridge University Press, 1990. – 152 c.
- Foucault M.* Truth and power // Foucault M. Power/knowledge: selected interviews and other writings, 1972–1977. – New York: Pantheon Books, 1980. – P. 109–134.
- Foucault M.* The Subject and power // Power: critical concepts / J. Scott (ed). – London: Routledge, 1994. – Vol. 1. – P. 218–233.

L.N. Timofeeva*

Public criticism as an instrument of prevention of violence in society

Abstract. Power is often interpreted as a violence, which is answered by other violence on the part of the opposition. The stronger the tyranny of the government, the stronger the resistance from the opposition, even to the use of terror. The Norwegian conflictologist J. Galtung in his concept of structural and cultural violence and the American political scientist R. Galtung have convincingly shown what comes out of such a confrontation. Dahl, who explored the relationship between the government and the opposition through public rivalry. Today often consider a category of «power» is not so much traditional power key as a communicative, discourse – as a phenomenon arising out of communicating and involving the society to choose a certain political code of the alternatives proposed by the management group and resulting from their joint discourse. In this case, such tools of political communication as public criticism and alternative views on what is happening on the part of the public, the opposition helps to avoid violence and understand not only how power arises, but also why it loses its authority and the opposition strengthens. The basis for this analysis, we find in critical theory of the German marxists and, above all, the scientific representatives of the Frankfurt school H. Arendt and J. Habermas, in genetic structuralism P. Bourdieu in the theory of self-referential systems of N. Luhmann, in post-structuralism in M. Foucault et al. The reluctance of the authorities and the opposition to cooperate with each other in the form of constructive discourse is explained in particular by the «fundamentalism» in the thinking of both. The historical concept analysis of the Russian radical opposition shows that its ontogenesis is persistently reproduced every time a political (ideological) resource of the government is developed and society loses its perspective of development, when the government does not create itself and does not perceive alternatives from its opponents and prohibits public criticism.

Keywords: power; violence; opposition; discourse; fundamentalism; public criticism; alternatives in politics.

* **Timofeeva Lidiya**, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Moscow, Russia), e-mail: timofeeva-lidiya@inbox.ru

For citation: Timofeeva L.N. Public criticism as a prevention of violence in society. *Political science (RU)*. 2020, N 3, P. 114–146. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.03.06>

References

- Arendt H. *Vita Activa or: From active life*. Stuttgart: W. Kohlhammer, 1960, 375 p. (In Germ.)
- Arendt H. Communicative power. In: S. Lukes (ed). *Power*. Oxford: Blackwell, 1986, P. 59–74.
- Benda J. *The betrayal of intellectuals*. Boston: Beacon Press, 1955, 188 p.
- Bourdieu P. *Sociology of social space*. Moscow: Institute of experimental sociology; Saint Petersburg: Aleteia, 2007, 288 p. (In Russ.)
- Chiesa J.H. *Goodbye, Russia!* Moscow: Geya, 1998, 269 p. (In Russ.)
- de Custine A. *Nikolaevskaya Russia*. Moscow: Publishing center “Terra”, 1990, 285 p. (In Russ.)
- Dahl R. *Polyarchy: participation and opposition*. New Haven: Yale University Press, 1971, 257 p.
- Engels F. Letter to August Bebel in Berlin, 1–2 may 1891. In: Marx K., Engels F. *Op. 2 nd ed*. Vol. 38. Moscow: State publishing house of political literature, 1955–1981, P. 441–442. (In Russ.)
- Essays on parliamentary law. Abroad experience*. Moscow: IGPAN, 1993, 178 p. (In Russ.)
- Foucault M. Truth and power. In: Foucault M. *Power/knowledge: selected interviews and other writings, 1972–1977*. New York: Pantheon Books, 1980, p. 109–134.
- Foucault M. The subject and power. In: J. Scott (ed). *Power: critical concepts*. London: Routledge, 1994, Vol. 1, P. 218–233.
- Foucault M. *The will to truth: on the other side of knowledge, power and sexuality*. Moscow: Castal, 1996, 448 p. (In Russ.)
- Galtung J. *Peace: research – education – action: Essays in peace research*. Copenhagen: Christian Ejlers, 1975, Vol. 1, 404 p.
- Galtung J. *September 11, 2001: Diagnoz, prognosis, therapy (forming the second edition of «Searching for peace: the road to TRANSCEND»*. London: Pluto Press, 2002, 338 p.
- Hanfman Y.M. Recruiting period capital printing. In: *Freedom of the press with an updated system*. Saint Petersburg: Public benefit, 1912, P. 5–51. (In Russ.)
- Ilyin M.V., Melville A. Yu. The Power. *Polis. Political Studies*. 1997, P. 146–153. (In Russ.)
- Kornev V.V. Egoistic gene of ideology. *Ideas and ideals*. 2015. Vol. 2, N. 3 (25), P. 140–149. (In Russ.)
- Kornev V.V. *Egoistic meme of ideology*. Moscow: Canon+ROOI “Rehabilitation”, 2020, 264 p. (In Russ.)
- Luman N. *Power*. Moscow: Praxis, 2001, 256 p. (In Russ.)

- Mezhuev B.V. *Political criticism of Vadim Tsybursky*. Moscow: publishing house "Europe", 2012, 199 p. (In Russ.)
- North D.C. *Institutions, institutional change and economic performance*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990, 152 p.
- Ostrom V. *The meaning of American federalism: constituting a self-governing society*. Moscow: "Arena", 1993, 320 p. (In Russ.)
- Sakharov A.D. *About the country and the world*. New York: Chronicle Publishing House, 1976, 79 p. (In Russ.)
- The reign of Nicholas II*. Leningrad: Publishing house: Publishing house of socio-economic literature, 1960, Vol: Witte S. Yu. Memoirs, 724 p. (In Russ.)
- The system of public administration in the UK*. Moscow: MFA of great Britain, 2002, 120 c. (In Russ.)
- Timofeeva L.N. *Alternative press as a phenomenon of qualitative changes in the political process of Russia (mid-80's-early 90's)*. Cand. Sci. Thesis. Moscow: Russian academy of public service, 1992, 224 p. (In Russ.)
- Timofeeva L.N. Power and opposition in Russia: features of relations (socio-historical aspect). *Sociology of Power*. 2005, N 1, p. 140–154. (In Russ.)
- Ulfkotte U. *Corrupt journalists. Any truth for your money*. Moscow: Eksmo, 2015, 476 p. (In Russ.)
- Vaissié S. *For your and our freedom! Dissident movement in Russia*. Moscow: New literary review, 2015, 576 p. (In Russ.)
- Walzer M. *The company of critics: social criticism and political commitment in the twentieth century*. Moscow: Idea-Press, House of intellectual books, 1999, 360 p. (In Russ.)
- Zasursky Ya.N. *Qualitative press in media structures*. Moscow: ICARUS Publishing house, 2015, 344 c. (In Russ.)

Х.А. ГАДЖИЕВ*

ЦИФРОВОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК ПОЛЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ ВЛАСТИ И ОППОЗИЦИИ

Аннотация. Цифровизация, стремительно меняющая облик общественной жизни, включая политическую сферу, серьезно преобразовывает условия конкуренции для двух главных сил внутриполитической арены – власти и оппозиции. Уровень развития цифровых технологий и степень их проникновения в современные общественные процессы столь высоки, что позволяют говорить о возникновении цифрового пространства, с учетом особенностей которого теперь выстраиваются коммуникация и конкуренция в этой паре. И перед оппозицией, и перед властью открылось немало новых возможностей по достижению своих целей и решению задач, но вместе с тем возникло немало проблем и уязвимых мест, с которыми они не могут не считаться. В этом смысле цифровое пространство несет в себе неоднозначную и местами даже противоречивую перспективу для них.

В статье предпринята попытка обозначить ключевые проблемы и дискуссии, связанные с осмыслением цифрового пространства как поля политического противостояния власти и оппозиции. С этой целью проанализированы центральные понятия исследуемой проблематики – «цифровизация» и «цифровое пространство»; рассмотрены наиболее важные условия противостояния власти и оппозиции в цифровом пространстве; очерчены контуры изменений во взаимодействиях общества и власти, связанных с цифровым пространством; дана оценка влиянию цифрового пространства на «традиционные» демократические институты.

Ключевые слова: цифровизация; цифровое пространство; киберпространство; Интернет; власть; оппозиция; цифровая демократия.

* **Гаджиев Ханлар Аляр оглы**, кандидат политических наук, старший преподаватель кафедры политологии и политического управления, Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (Москва, Россия), e-mail: gadzhiev_hanlar@mail.ru

© Гаджиев Х.А., 2020

DOI: 10.31249/poln/2020.03.07

Для цитирования: Гаджиев Х.А. Цифровое пространство как поле политического противостояния власти и оппозиции // Политическая наука. – 2020. – № 3. – С. 147–171. – DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.03.07>

Современное пространство политики стремительно меняется, прежде всего под влиянием развития информационно-коммуникационных технологий, или, говоря точнее, – процесса цифровизации. Как представляется, среди множества аспектов такой трансформации политической сферы наиболее важны три.

Во-первых, контроль над информационными потоками и в целом информационным пространством становится ключевым и даже, возможно, главным властным ресурсом [Куручкин, Антонов, 2017]. Именно те, кто владеет и управляет большими потоками информации, получают значительные преимущества в борьбе за доминирование на политическом пространстве. На это наслаивается масштабность, возникшая за счет развития цифровых технологий: объемы, виды контента, неограниченное количество реципиентов, высокая скорость распространения информации. В результате у политических акторов появилось намного больше простора для манипулирования общественным мнением путем пропагандистского воздействия на массовое сознание [Малашенко, Нисневич, Рябов, 2019, с. 93–94].

Во-вторых, в современном политико-административном процессе существенно вырос уровень внедрения цифровых технологий [Подорова-Аникина, 2016]. Причем это происходит не только в плоскости взаимодействия власти и общества, но также и в плоскости взаимодействия публичных органов власти между собой.

В-третьих, современные общества, активно пользующиеся цифровыми технологиями и Интернетом (по данным авторитетных статистических агентств, к апрелю 2020 г. численность интернет-пользователей по всему миру составляла более 4,57 млрд, из которых порядка 3,81 млрд – это одновременно также пользователи социальных сетей, а уникальных пользователей мобильных устройств насчитывалось более 5,16 млрд человек¹), стали более тре-

¹ Digital around the world in April 2020 // We Are Social Inc. – 2020. – April. – Mode of access: <https://wearesocial.com/blog/2020/04/digital-around-the-world-in-april-2020#> (accessed: 11.05.2020)

бывательными к власти, ее прозрачности и эффективности¹. В первую очередь это обусловлено тем, что в результате такой виртуализации жизни общества происходит интенсивный переход от использования «традиционных» средств массовой информации (прессы, радио и телевидения) к интернет-ресурсам, в которых информационная картина граждан формируется не только под влиянием официальных государственных источников информации, но также и альтернативных источников, на которых могут быть представлены полярные интерпретации социально-политической действительности.

И хотя пока рано говорить о доминировании так называемых «новых медиа» [Володенков, 2015], тем не менее их все большее влияние на формирование социально-политической картины в информационном поле и возникновение нового уровня конкуренции в последнем – весьма очевидные тенденции.

Как следствие, постоянно изменяются условия взаимодействия для ключевой политической пары – власти и оппозиции. Между тем анализ указанных условий крайне важен, поскольку в любом государстве противоборство этих двух сил – неотъемлемая часть внутривластного процесса [Исаков, Олейник, 2009].

Само понятие «цифровизация» в связи с безусловной актуальностью данного явления и связанных с ним процессов очень часто используется в современных научных работах. Вместе с тем редко можно встретить определение данной категории и даже попытки ее интерпретации. А те определения, которые имеются в литературе, в большинстве случаев серьезно отличаются и не отражают всю ее сущность. Не претендуя на всеохватность, приведем лишь наиболее частые дефиниции категории «цифровизация»: 1) процесс преобразования аналоговых ресурсов в двоичную электронную (цифровую) форму [Khan, Khan, Aftab, 2015, p. 139]; 2) изначальное создание нового продукта в цифровой форме; 3) процесс использования компьютерных средств и технологий [Лазар, 2018, с. 171]; 4) процесс внедрения цифровых технологий генерации, обработки, передачи, хранения и визуализации данных в различные сферы человеческой деятельности [Плотников, 2018, с. 17]; 5) массовое использование цифровых сервисов (технологий)

¹ Доклад об итогах внедрения системы «Открытое правительство» и перспективах до 2024 года // Экспертный совет при Правительстве РФ. – Режим доступа: <https://report.open.gov.ru/> (дата посещения: 11.05.2020)

гражданами, предприятиями и государственными органами¹; 6) современный общемировой тренд развития экономики и общества, основанный на преобразовании информации в цифровую форму [Халин, Чернова, 2018, с. 47]; 7) подход к использованию цифровых ресурсов в трансформации различных сфер общественной жизни [Петрова, Бондарева, 2019, с. 353] и т.д.

Столь серьезные разночтения, вероятно, связаны с рядом объективных проблем, среди которых в первую очередь можно назвать: 1) многогранность процесса цифровизации; 2) стремительное усложнение цифровизации, в результате которого у него появляются новые составляющие (новые цифровые технологии) и свойства; 3) перманентный охват цифровизацией новых сфер общественной жизни и т.д.

На наш взгляд, в самом общем плане цифровизацию можно рассматривать в трех основных ипостасях, которые органично дополняют друг друга и всеобъемлюще отражают суть данного явления. Во-первых, ее можно понимать в крайне узком смысле – как глобальный переход от использования аналоговых технологий к цифровым. При таком подходе цифровизация предстает лишь как новый этап развития самих технологий и их качественное улучшение, с которым человечество уже неоднократно сталкивалось на протяжении своей истории. Во-вторых, цифровизацию можно понимать как масштабное внедрение в различные сферы человеческой деятельности и в целом общественную жизнь цифровых технологий (прежде всего компьютерных технологий и Интернета). В такой интерпретации цифровизация предстает уже в облике явления, ведущего к переходу на количественно новый уровень использования обществом высоких технологий в производстве, оказании услуг, информационном обмене и других процессах. И, в-третьих, в наиболее широком смысле цифровизация может трактоваться не просто как процесс внедрения цифровых технологий в различные сферы человеческой деятельности, но также и как повышение роли этих технологий в жизни общества; переход общества на качественно новый уровень их использования и самое

¹ Digitization for economic growth and job creation: regional and industry perspectives. World Economic Forum: The Global Information Technology Report 2013 / K. Sabbagh et. al. – 2013. – P. 35. – Mode of access: <https://pdfs.semanticscholar.org/67f3/a5f8cd578d53a606f8b136beb904ee3dc81c.pdf> (accessed: 11.05.2020)

главное – как изменение самой ценности этих технологий. Последнее предполагает переосмысление соотношения в тандеме «человек – машина» в сторону доминирования именно машины (робота), которая все чаще рассматривается как потенциально превосходящая человека в будущем по многим параметрам (что очень спорно) и обладающая искусственным интеллектом. В соответствии с таким подходом цифровизация есть глобальный процесс, существенно меняющий устоявшиеся черты социума.

Такое сильное влияние цифровизации на ключевые сферы общественной жизни (и в частности, политическую) позволяет ставить вопрос о том, что современное пространство политики – это уже не только реальное пространство, но также и новое – формируемое в результате процессов цифровизации.

Цифровое пространство

Исследуемое новое пространство часто также называют киберпространством, виртуальным пространством, онлайн-пространством, интернет-пространством и т.д. И здесь сразу скажем, что эти понятия не синонимичны понятию «цифровое пространство», как может показаться при изучении некоторых работ [Трофименко, Елисеева, Коробейникова, 2017; Добринская, 2018 и др.]. Так, наиболее основательно разработанная в науке категория «киберпространство», по сути, подразумевает всю совокупность информации и коммуникаций, составляющую Интернет [Ploug, 2009]. Аналогичный смысл, как правило, вкладывается и в понятия «интернет-пространство» [Aurigi, 2005], «онлайн-пространство» [Marshall, 2001]. Между тем известно, что сегодня существуют специальные программы для мобильных устройств, посредством которых люди коммуницируют между собой, обмениваются информацией, но при этом данные программы могут работать без Интернета и сотовой связи. Довольно яркими примерами являются Firechat, Bridgefy, Signal Offline Messenger, Briar и пр. (интересно, что эти и подобные программы начиная с 2014 г. активно использовались в протестных акциях в Гонконге, Венесуэле, Ираке и других странах, когда власти ограничивали использование Интернета).

В свою очередь, другое, более широкое понятие «виртуальное пространство» охватывает указанные программы, но тоже

полностью не включает все явления, связанные с цифровыми технологиями. Например, существуют технологии, создающие так называемую дополненную реальность (Augmented Reality или AR). Она формируется посредством синтеза явлений реального и виртуального пространств для создания объектов нового типа, среди которых такие, как «умные личные помощники» (Amazon Alexa, Google Assistant, Microsoft Cortana и др.), поддерживающие, помимо прочего, процесс оказания государственных услуг и работу с опубликованными государственными данными; цифровые интерактивные 3D-карты в сфере кибербезопасности, в которых связанные госданные представлены в виде зданий виртуального города, позволяющие сотрудникам соответствующих государственных служб предвидеть и предотвращать потенциальные угрозы; цифровые AR-офисы по предоставлению госуслуг [Косоруков, 2020]; технологии по воссозданию исторических событий; технологии распознавания лиц и т.д. С одной стороны, технологии дополненной реальности делают виртуальный мир более реалистичным, а с другой – исключают возможность полной замены действительности виртуальным пространством [Бауэр, Сильвестров, Барышников, 2017, с. 34]. В представление человека об окружающей среде добавляется компьютерная графика для передачи прошлой, настоящей или будущей информации о месте или объекте [Shekhar, Feiner, Aref, 2016, p. 76–77].

Таким образом, на наш взгляд, понятие «цифровое пространство» включает в себя больше явлений, связанных с современными технологиями, и поэтому оно наиболее широкое из всех упомянутых понятий. Но вместе с тем цифровое пространство охватывает все, что принято называть «киберпространством», «интернет-пространством», «онлайн-пространством» или «виртуальным пространством». Поэтому все, что справедливо по отношению к данным категориям, справедливо и применительно к категории «цифровое пространство». И более того, краеугольной составляющей цифрового пространства является именно Интернет. С этим, вероятно, и связано часто встречающееся в научной литературе отождествление всех этих понятий и терминологическая неточность.

В то же время существует другая, не менее сложная теоретическая или, скорее, философская проблема: в научном сообществе до сих пор не выработано компромиссного мнения по поводу соотношения пространства, созданного цифровыми технологиями,

и реального пространства. В самом общем виде можно заметить, что на этот счет есть две крайние позиции. Первая гласит, что цифровое пространство – самостоятельное, автономное явление, которое может существовать независимо от реального пространства. Согласно второй позиции, цифровое пространство – всего лишь информационная проекция реального пространства, искусственно созданная, поддерживаемая и развиваемая последним [Хуторной, 2011, с. 70].

Второй подход, думается, в большей степени соответствует действительности. Очевидно, что компьютеры, как и вся другая техника, не обладают внутренним миром, сознанием и не являются субъектами социальной деятельности. И сложно спорить также с тем, что мыслит не компьютер, а человек с помощью компьютера. Соответственно, цифровое пространство – это скорее вид перцептуального (порядка сосуществования предметов в восприятиях человека) или концептуального пространства (порядка сосуществования идеальных объектов), нежели реального. В него действительно входят не вещи объективной реальности и не люди, а идеи, которые отражают реальность и которые символически выражены в знаках, символах, текстах и т.д. [Волов, 2011, с. 49, 53–54]. В результате цифровое пространство предстает как система идей, ожиданий, практик и операций, которые являются продуктом не только технологий [Gunkel, 2000, p. 805]. Более того, можно даже утверждать, что технологии в большей степени лишь реализуют уже существующие у людей идеи, ожидания, практики и операции.

Анализируя понятие «киберпространство», Д.Е. Добринская предлагает его раскрывать через три аспекта: физический (совокупность всех компьютеров, смартфонов, средств виртуальной реальности и т.п.), информационный (совокупность бесчисленных информационных потоков) и социальный (все социальные взаимодействия, которые происходят в виртуальном пространстве) [Добринская, 2018, с. 63–64].

С нашей точки зрения, указанные составляющие можно отнести и к цифровому пространству, но для полного раскрытия данного феномена следует включить еще один важный аспект, который затрагивался выше, – сегмент цифрового пространства, состоящий из совокупности технологий дополненной реальности.

В целом, констатируя зависимость конкретно Интернета и в целом цифрового пространства от реального пространства и цело-

века, не стоит забывать, что цифровые технологии трансформировали не просто поведение человека, но и его восприятие реальности. Как верно отмечается в ряде работ, главный социально-политический вызов, с которым сталкивается человек в современной (цифровой) эпохе, – это переплетение виртуальности и реальности, иррациональности и рациональности в такой степени, что человеческое сознание зачастую не в состоянии их различить [Чугров, 2017, с. 54]. Как следствие, возникают серьезные проблемы в социализации людей, «воспроизводстве образцов» поведения, усвоении норм и ценностей, сплачивающих общественную систему [Шабров, 2019, с. 240]. Не менее значимо то, что в таких условиях человек не просто воспринимает мир, но также может преобразовывать и конструировать его, как бы приспосабливая к себе [Шарков, 2017, с. 137]. Все это приводит к тому, что очень сложно вывести не только репрезентативную интерпретацию цифрового пространства, но также и ее «экспликацию».

Власть versus оппозиция

Все указанные явления, процессы и тенденции кардинально меняют условия для политики и политиков, для власти и оппозиции. Цифровое пространство придает инновационность дискурсивным рамкам политики, формулированию и выражению новых идей и смыслов для общественного мнения и созданию нового противовеса гегемонии властвующей элиты. Именно в цифровом пространстве на сегодняшний день сложились реальные возможности противодействия (выдвижения альтернативной позиции) СМИ и официальному дискурсу [Тимофеева, 2019]. Здесь же уточним, что цифровые технологии оказывают наиболее сильное влияние, когда они объединяют онлайн- и реальную мобилизацию [Sampedro, Avidad, 2018, p. 35–36] (в частности, это хорошо прослеживается на примере событий «арабской весны»). Или, говоря иначе, использование Интернета и мобильной связи в современном обществе, конечно, имеет важное значение, но по-прежнему сохраняется значимость социальных взаимодействий и общественной реакции в реальном пространстве [Castells, 2012, p. 221].

В цифровом пространстве у граждан появилось множество альтернатив при выборе контента, что меняет индивидуальные

стимулы для получения политической информации и, соответственно, влияет на политическое участие. Более того, граждане систематически опровергают любую информацию, которая идет вразрез с их взглядами, независимо от того, подтверждена она неопровержимыми фактами или нет. Наконец, в новых условиях каждый получил право не только на собственное мнение, но и на свои собственные факты [Political communication in a high-choice media environment ..., 2017, p. 4, 18–19]. И в этом смысле Интернет – гораздо больше, чем просто еще один источник информации. Он представляет собой мощную и доступную платформу для политических дискуссий и политического участия, а также для координации действий политических единомышленников [Campante, Durante, Sobbrío, 2018]. И особую роль в этом процессе играют социальные сети.

Социальные сети все чаще используются в противостоянии власти и оппозиции в качестве инструментов информационно-психологического управляющего воздействия и информационного противоборства [Михайленок, 2019, с. 16]. Как известно, в политических дискурсах в социальных сетях наиболее активны прежде всего участники общественных движений, политики, партийные работники и те, кто преследует определенные политические цели [Loader, Mercea, 2011].

В то же время и социальные сети, и в целом цифровое пространство используется в политических целях не только потому, что с каждым днем все больше людей «включается» в это пространство, но и потому, что здесь для субъектов политики открывается много новых возможностей. Например, востребованными становятся компьютерные программы, созданные по принципу нейронных сетей, которые активно используются для мониторинга интернет-контента и продвижения в цифровом пространстве политических идей (так, программы-боты применяются провластными и оппозиционными акторами для политически окрашенных информационно-сетевых «вбросов»), смыслов и установок; для выстраивания электоральных прогнозов и т.д. [Михайленок, Малышева, 2019, с. 81–82].

Как отмечают Р.А. Фенра и А. Казеро-Рипольес, один из важнейших эффектов цифровой эпохи – новый уровень и масштаб политического мониторинга. Авторы предлагают рассматривать такой мониторинг не только как инструмент представителей вла-

сти и выделяют в нем три основные области: правительственный (государственный), гражданский и общий (проводимый в сотрудничестве государственных структур с гражданским обществом для развития процессов общественного контроля). Более того, в качестве самого значимого выдвигается именно гражданский мониторинг, который открывает перспективу реализации идеи контролируемой (со стороны гражданского общества) демократии. У граждан появляются возможности тщательного изучения центров власти, наблюдения за процессом управления государственными ресурсами и средствами, принятием политических решений, а также в случае злоупотребления властью – осуждения (критики) правящих групп [Feenstra, Casero-Ripollés, 2014, p. 2462–2463].

Сюда же, как видится, следует добавить область мониторинга, проводимого оппозиционными силами. Критика власти, исходящая от оппозиции в онлайн-пространстве, зачастую выстраивается на основе собранных на официальных властных ресурсах данных. Это, с одной стороны, позволяет оппозиции довольно быстро реагировать на формируемую властью информационную картину. С другой стороны, такая критика выглядит более убедительной для целевой аудитории, поскольку базируется на общедоступных для пользователей материалах.

Следующий важный момент противостояния власти и оппозиции в условиях цифрового пространства связан с территориальным аспектом. Сегодня уже сложно рассматривать политическое пространство в неразрывной связи с территорией: политические акторы легко преодолевают любые территориальные ограничения [Пушкарева, 2012, с. 166]. И здесь возникла довольно острая проблема – изменилось контролируемое властью пространство, которое теперь выходит за пределы территории государства, но при этом затрагивает его функции и интересы.

Несмотря на то что контроль власти над физической территорией остается незыблемым, ситуация с «территорией», образующейся посредством цифровых технологий – цифровым пространством, – не так проста. Очевидно, что эти два вида территории не совпадают. И как подчеркивает Д. Ламбах, в этой связи национальные государства предпринимают попытку ретерриториализации своих территорий в цифровом пространстве. То есть они стремятся установить аналогичный контроль в границах распространения и использования Интернета и цифровых техноло-

гий на территории, которая находится под их юрисдикцией. И для этого, по мнению автора, ими применяется множество различных механизмов: нормативно-правовые ограничения; использование национальных брандмауэров (специальных защитных программ, обеспечивающих проверку и фильтрацию данных, поступающих из глобального Интернета); использование технологий геолокации для блокировок нежелательных материалов и площадок; актуализация в официальной повестке дня таких целей, как информационная безопасность и т.д. [Lambach, 2019, p. 25–27].

И здесь примечательны также выводы представителей правовой науки. Ими выдвигается тезис о том, что цифровые технологии и Интернет сформировали самостоятельное юридически значимое пространство, которое, во-первых, лишено однозначной географической определенности [Федотов, 2016, с. 168], а во-вторых, может быть рассмотрено наряду с территорией земли, водным и воздушным пространством, определяющими суверенные границы государства. Все это приводит к тому, что в праве категория «пространство» постепенно вытесняет категорию «территория», поскольку от этого зависит весьма реальная проблема – юрисдикция и суверенитет государства [Талапина, 2018, с. 14–15].

С одной стороны, понятно, что в цифровом пространстве действительно могут появляться деструктивные внешние силы, которые, стремясь изменить расстановку сил, способны вмешиваться в противостояние власти и оппозиции, преследуя свои цели (чаще всего геополитические). И вопрос наличия всеохватывающего (в пространственном аспекте) контроля имеет принципиальное значение с точки зрения государственной безопасности. Однако, с другой стороны, также понятно, что стремление любой власти дублировать и транслировать свой территориальный контроль в цифровое пространство обусловлено не только вопросом государственной безопасности и международных отношений, но также и функцией регулирования социальных отношений на внутренней арене, желанием контролировать общественные процессы и сохранять установленный политический режим.

Относительно территориального аспекта также заслуживает внимания позиция Г.Л. Эрреры. По его мнению, хотя цифровое пространство (киберпространство) и является экстерриториальным, это не означает, что государственная власть, предполагающая привязку к определенной территории, никак не может контро-

лизовать его. Цифровое пространство не существует само по себе, оно существует в неразрывной связи с человеческими правилами и организовано в соответствии с ними. Вопрос должен быть поставлен иначе: в какой степени политические деятели (т.е. правящие группы) отдельных стран способны ограничить данное пространство и преобразовать его в соответствии со своими интересами? [Herrera, 2007, p. 88–89.]

Несмотря на то что цифровое пространство контролируется не так просто, как физическая территория, и здесь работают другие механизмы, действительно было бы преждевременно утверждать, что в этом пространстве возможности власти существенно сузились. Так, высокая активность граждан в виртуальной реальности и все более интенсивная их «привязка» к официальным ресурсам (прежде всего в сегменте предоставления государственных услуг и процедур электронного участия), напротив, скорее расширили возможности для государственного контроля. Как верно отмечается в некоторых исследованиях, даже одни только цифровые профили пользователей позволяют достаточно подробно проанализировать и описать ключевые характеристики индивидов, включая их потенциальную лояльность / нелояльность тому или иному политическому режиму. В итоге возникают широкие просторы для контроля над конкретными пользователями и обществом в целом со стороны субъектов политики, имеющих специальные инструменты для сбора, обработки и использования большого массива данных [Володенков, 2018, с. 43]. Кроме того, для полномасштабной политической конкуренции и политической активности в Интернете власть зачастую устанавливает довольно серьезные ограничения. С одной стороны, наиболее популярные платформы (прежде всего социальные сети) могут быть запрещены и заблокированы в конкретных государствах, в том числе по политико-идеологическим соображениям (яркий пример – Китай), государства также могут выдвигать условия таким платформам по фильтрации контента определенного содержания, для того чтобы они были разрешены. С другой стороны, сами авторы публикуемого контента (и политически активные граждане, и лидеры общественного мнения, и политики) изначально ограничены условиями использования платформ, на которых они публикуют эти материалы: контент может быть легко удален в случае нарушения правил пользования. Причем не всегда такое последствие наступает в ре-

зультате действительного нарушения официально обозначенных ограничений. Опять же, контент может быть удален и исходя из идеологических рамок, которые негласно выступают в качестве своего рода «фильтра»¹. Наконец, власть посредством имеющихся у нее ресурсов может влиять на алгоритмы ранжирования различных площадок в поисковых системах Интернета [Halavais, 2009].

Таким образом, в цифровом пространстве у власти появляется много возможных преимуществ в противостоянии с оппозицией. Однако в то же время немало возможностей появилось и у оппозиции [Şen, Bölümü-Elazığ, 2012, p. 494]. Известно, что ее роль заключается не только в определенных действиях на политической арене (показывать и доказывать свою пользу обществу посредством конкретных шагов), но также в трансляции несогласия с проводимым властью политическим курсом [Бугаец, 2013, с. 167] и в формировании альтернативных позиций по решению ключевых общественных проблем. В цифровом пространстве это реализуется значительно более свободно и масштабно.

Кроме того, известно, что целью оппозиции не всегда является приход к власти. Она может стремиться лишь влиять на действующую власть – как с целью корректировки политического курса [Дмитриев, Татаркова, 2013, с. 131], так и для получения определенных политических дивидендов. При этом причин нежелания вести полноценную борьбу за власть может быть много: и нехватка ресурсов, и недостаточный уровень поддержки, и нежелание брать на себя ответственность за принятие государственных решений и т.д. Но даже при таких целях власть и оппозиция всегда позиционируют себя в обществе как враждебная двоица, стремящаяся занять место другого, в связи с чем «общение» между этими двумя силами всегда намеренно конфликтно [Тимофеева, 2004, с. 136]. И в данном случае цифровое пространство позволяет оппозиции наращивать давление на власть и претендовать на большее влияние. Так, виртуальные площадки (в том числе и социальные сети) позволили ей значительно упростить организацию и коорди-

¹ The shifting landscape of global internet censorship / J. Clark, R. Faris, R. Morrison-Westphal, H. Noman, C. Tilton, J. Zittrain. – Berkman Klein Center for Internet & Society Research Publication, 2017. – Mode of access: https://dash.harvard.edu/bitstream/handle/1/33084425/Internet_Monitor_2017_Filtering_Report_draft_for_SSRN_and_DASH_process.pdf?sequence=2 (accessed: 29.03.2020)

нацию акций протеста. В этом смысле цифровые технологии расширяют организационные ресурсы оппозиции.

Относительно конфликтного характера взаимоотношений и взаимодействий власти и оппозиции важно сделать одну оговорку. Общепринято, что оппозиция условно делится на системную и несистемную. Вторая во время государственных кризисов (прежде всего экономических) нередко расширяет уровень своей общественной поддержки, в результате чего она начинает представлять угрозу не только для власти, но и для системной оппозиции. При таком раскладе первостепенным конкурентом последней может стать именно несистемная оппозиция, а не власть [Lust-Okar, 2004, p. 173] (здесь необходимо также учитывать специфику конкретного политического режима: системная оппозиция может вообще иметь «фасадный» характер, по факту постоянно поддерживать власть и быть частью выстроенного политического режима).

Чаще всего такой специфичный расклад в политической системе свойственен авторитарным режимам. Именно в таких режимах ощутимо проявляется влияние цифровизации на положение пары «власть – оппозиция». Как справедливо подчеркивается в ряде работ, в таких режимах блогеры, онлайн-форумы и другие формы новых СМИ фактически становятся альтернативными источниками новостей и важной информации. Это приводит к уменьшению контроля власти над информационными потоками и повесткой дня [Etling, Faris, Palfrey, 2010].

Современные исследования, демонстрирующие корреляцию между расширением доступа к информации (за счет цифровых технологий) и ростом протестов в авторитарных режимах, указывают на четыре фактора: 1) Интернет снизил издержки и риски для оппозиционных движений, способствуя организации коллективных протестных акций; 2) Интернет может спровоцировать изменение отношения к власти, предоставляя гражданам альтернативную информацию; 3) Интернет может подтолкнуть потенциальных протестующих к действию, снизив информационную неопределенность; 4) Интернет эффективно мобилизует людей посредством видео и фотографий [Ruijgrok, 2017, p. 514].

Сюда же стоит добавить еще один немаловажный фактор. Известно, что существование оппозиции и рост ее поддержки чаще всего обусловлены неудовлетворенным социальным интересом. Как правило, это связано с ситуацией, когда власть либо игнори-

ровала этот интерес, либо ущемляла его [Газимагомедов, Стребков, Рукинов, 2016, с. 127]. Это уже достаточно устоявшееся научное представление. Но в условиях цифровизации данный механизм начинает работать немного иначе: оппозиция (прежде всего несистемная) может в онлайн-пространстве менять сам социальный интерес. В результате смещения акцентов даже при реальной эффективности власти и достижении ею общественно значимых целей все эти результаты могут обесцениваться оппозицией либо преподноситься как не столь значимые. Это, в частности, отчетливо прослеживается в деятельности многих оппозиционно настроенных блогеров, которые имеют иногда миллионы подписчиков и являются лидерами общественного мнения. Успешность власти они могут целенаправленно оценивать и интерпретировать не по достигнутым целям или соотношению целей и затраченных ресурсов, а, например, только по тому, какой ценой дался этот результат. Как правило, в таких случаях говорится о неоправданно высокой цене, сколь бы объективно значимыми для общества ни были достигнутые цели.

Как видно из рассмотренного, цифровое пространство накладывает серьезный отпечаток на взаимоотношения власти и оппозиции, на политическую конкуренцию. И закономерно может встать вопрос: как цифровое пространство влияет на демократию и ее институты?

Цифровое пространство и институты демократии

Использование цифровых технологий в современном политико-административном процессе становится столь обширным явлением, что все активнее говорится о становлении «цифровой демократии» (используются также и другие термины: «виртуальная демократия», «теледемократия», «электронная демократия» и «кибердемократия» [Digital Democracy ..., 2000, p. 1]). Правда, упорно ведутся дискуссии (как в науке, так и на практике) относительно того, что вообще должна подразумевать такая демократия. Для одних специалистов она предполагает использование цифровых инструментов для предоставления информации гражданам и обеспечения прозрачности в политике; для других речь идет о способах, которыми информационно-коммуникационные технологии

могут расширять и углублять участие граждан в политике; для третьих это расширение прав и возможностей граждан в политическом участии вплоть до полноценного, прямого участия в принятии решений по различным вопросам посредством Интернета и цифровых технологий¹.

Такая неопределенность усугубляется наличием другого, близкого и уже устоявшегося в науке понятия «электронное правительство». В самом общем смысле под этой категорией подразумевается компонент «электронной демократии», являющий собой «технологии интерактивного взаимодействия органов власти с населением и институтами гражданского общества». При таком подходе сама «электронная демократия» интерпретируется как «основанный на применении сетевых компьютерных технологий механизм обеспечения политической коммуникации, способствующий реализации принципов народовластия и позволяющий привести политическое устройство в соответствие с реальными потребностями становящегося информационного общества» [Грачев, 2012, с. 269, 278–279].

Несмотря на имеющиеся разночтения в понимании феномена «цифровой демократии» («электронной демократии»), она не означает полной замены реального политического участия и политического дискурса виртуальным. «Цифровая демократия» – это скорее направление развития демократии, предполагающее преобразование некоторых ее институтов и элементов посредством новых (цифровых) технологий. Необходимо понимать, что цифровизация политической сферы нацелена не на изменение сущности современных демократий, а на совершенствование механизмов их функционирования; онлайн-процедуры призваны скорее дополнить и улучшить «традиционные» институты демократии. Иными словами, речь должна идти не о новой форме демократии, а лишь о новом облике существующих форм, вбирающих в себя новые средства (цифровые технологии).

В этом смысле более вероятными выглядят прогнозы об установлении в результате реализации концепции «цифровой демократии» гибридных форм политического участия и гибридного

¹ *Simon J. et al. Digital democracy: the tools transforming political engagement.* – Nesta, 2017. – P. 17. – Mode of access: https://media.nesta.org.uk/documents/digital_democracy.pdf (accessed: 29.03.2020)

политического дискурса, сочетающих виртуальные и реальные формы демократических процедур [Digital democracy ..., 2010, p. 45–46].

Вместе с тем сложно отрицать потенциал цифрового пространства как нового специфичного поля для взаимодействия власти и общества. Так, политики могут улучшать свой имидж в глазах потенциальных избирателей, совершенствовать государственные механизмы [Electronic Democracy ..., 2004, p. 195], значительно более масштабно и эффективно транслировать свою позицию через виртуальные платформы и инструменты, получать более объективную и оперативную обратную связь с целью возможной корректировки проводимого политического курса и т.д. А у граждан, в свою очередь, появляется больше возможностей для участия в политике и политическом дискурсе: они могут быть более информированными о проводимой политике, быть «услышанными» посредством более доступных механизмов обратной связи и, конечно, получать государственные услуги в более удобной форме. Перспектива реального влияния граждан на политический процесс, в частности посредством технологий дистанционного электронного голосования, официальной подачи электронных петиций, возможности обсуждений законопроектов, – довольно привлекательные характеристики «цифровой демократии», и многие из них в ряде стран весьма эффективно используются (наиболее яркие примеры – Эстония и Швейцария). Однако здесь, как отмечалось выше, открывается немало рисков, связанных в первую очередь с манипулированием общественным мнением, целенаправленным искажением результатов политического участия или внешним вмешательством со стороны других государств.

На практике сегодня в наибольшей степени реализуется тот сегмент «цифровой демократии», который касается предоставления государственных услуг. Это вполне объяснимо, поскольку в этой плоскости не стоит такой острый вопрос, как конкуренция между властью и оппозицией, который имеет место в случае с электронным участием и голосованием. И, вероятно, можно согласиться с мнением, согласно которому на современном этапе чаще используются и реализуются те преимущества цифровой демократии, которые открываются именно для политиков, а не для граждан [Grant, Moon, Busby Grant, 2010, p. 579–580]. Поэтому с высокой долей вероятности уже сейчас можно сказать, что в любом варианте реализации «цифровой демократии» ключевая роль со-

хранится за основными политическими институтами. «Цифровизация» современных демократий не предполагает переход от представительной модели власти к прямой. Такая цифровизация, сколь бы масштабной она ни была, может привести лишь к вкраплению определенных элементов прямой демократии для повышения уровня участия граждан в политике, но не к полной замене представительной модели власти.

Список литературы

- Бауэр В.П., Сильвестров С.Н., Барышников П.Ю. Блокчейн как основа формирования дополненной реальности в цифровой экономике // Информационное общество. – 2017. – № 3. – С. 30–40.
- Бугаец А.А. СМИ в контексте взаимоотношений власти и оппозиции: катализатор бунта или организатор диалога? // Вестник Кузбасского государственного технического университета. – 2013. – № 6 (100). – С. 166–169.
- Волов А.Г. Философский анализ понятия «киберпространство» // Философские проблемы информационных технологий и киберпространства. – 2011. – № 2. – С. 49–54.
- Володенков С.В. Интернет-коммуникации в глобальном пространстве современного политического управления. – М.: Издательство Московского университета: Проспект, 2015. – 272 с.
- Володенков С.В. Digital-технологии в системе традиционных институтов власти: политический потенциал и современные вызовы // Вестник Московского государственного областного университета. – 2018. – № 2. – С. 39–48. – DOI: <https://doi.org/10.18384/2224-0209-2018-2-893>
- Газимагомедов Г.Г., Стребков А.И., Рукинов В.А. Власть, современная российская оппозиция и общественная безопасность // Конфликтология. – 2016. – № 1. – С. 125–142.
- Грачев М.Н. «Электронная демократия» и «электронное правительство»: как это работает // Политическая коммуникативистика: теория, методология и практика / под ред. Л.Н. Тимофеевой. – М.: РАПН; РОССПЭН, 2012. – С. 268–285.
- Дмитриев А.В., Татаркова Д.Ю. Трудный путь к компромиссу: неформальная коммуникация власти и оппозиции // Согласие в обществе как условие развития России. – М.: ИС РАН, 2013. – Вып. 3: Политическое согласие: Стратегии и реальность / отв. ред. О.М. Михайленок. – С. 129–140.
- Добринская Д.Е. Киберпространство: территория современной жизни // Вестник Московского университета. Серия 18: Социология и политология. – 2018. – Т. 24, № 1. – С. 52–70.
- Исаков А.И., Олейник А.В. Оппозиция и власть // Обозреватель – Observer. – 2009. – № 11 (238). – С. 6–16.

- Косоруков А.А. Технологии дополненной реальности в сфере государственного управления // Социодинамика. – 2020. – № 1. – С. 1–11. – DOI: <https://doi.org/10.25136/2409-7144.2020.1.31949>
- Курочкин А.В., Антонов Г.К. Особенности информационно-коммуникативного пространства политики в современной России // Общество: политика, экономика, право. – 2017. – № 2. – С. 9–13. – DOI: <https://doi.org/10.24158/per.2017.2.1>
- Лазар М.Г. Цифровизация общества, ее последствия и контроль над населением // Проблемы деятельности ученого и научных коллективов. – 2018. – № 4 (34). – С. 170–181.
- Малащенко А.В. Нисневич Ю.А., Рябов А.В. Становление постиндустриальной цивилизации: от цифровизации до варварства: монография. – М.: Издательство Юрайт, 2019. – 212 с.
- Михайленок О.М. Информационно-коммуникативные риски сетевизации политических отношений // Вестник Института социологии. – 2019. – Т. 10, № 3. – С. 12–21. – DOI: <https://doi.org/10.19181/vis.2019.30.3.584>
- Михайленок О.М., Малышева Г.А. Политические отношения в контексте цифровых сетей // Каспийский регион: политика, экономика, культура. – 2019. – № 3 (60). – С. 79–87.
- Петрова Н.П., Бондарева Г.А. Цифровизация и цифровые технологии в образовании // Мир науки, культуры, образования. – 2019. – № 5 (78). – С. 353–355. – DOI: <http://doi.org/10.24411/1991-5497-2019-00138>
- Плотников В.А. Цифровизация производства: теоретическая сущность и перспективы развития в российской экономике // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. – 2018. – № 4 (112). – С. 16–24.
- Подорова-Аникина О.Н. Коммуникативное пространство политики в условиях глобализации // Вестник Коми республиканской академии государственной службы и управления. Серия Теория и практика управления. – 2016. – № 17 (22). – С. 13–16.
- Пушкарева Г.В. Политическое пространство: проблемы теоретической концептуализации // Полис. Политические исследования. – 2012. – № 2. – С. 166–176.
- Талапина Э.В. Право и цифровизация: новые вызовы и перспективы // Журнал российского права. – 2018. – № 2 (254). – С. 5–17. – DOI: https://doi.org/10.12737/art_2018_2_1
- Тимофеева Л.Н. Политическая коммуникация и ее генеральная пара: власть и оппозиция // Теория и практика общественно-научной информации. – 2004. – № 19. – С. 134–145.
- Тимофеева Л.Н. Альтернативизм в науке и политике // Современная политическая наука: Методология: Научное издание / отв. ред. О.В. Гаман-Голутвина, А.И. Никитин. – М.: Изд-во Аспект Пресс, 2019. – С. 525–550.
- Трофименко А.В., Елисеева С.Н., Коробейникова И.С. Цифровая экономика: проблемы повышения эффективности обеспечения прав предпринимателей в киберпространстве // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. – 2017. – № 4 (68). – С. 73–76.

- Федотов М.А. Конституционные ответы на вызовы киберпространства // *Lex russica* (Русский закон). – 2016. – № 3 (112). – С. 164–182. – DOI: <https://doi.org/10.17803/1729-5920.2016.112.3.164-182>
- Халин В.Г., Чернова Г.В. Цифровизация и ее влияние на российскую экономику и общество: преимущества, вызовы, угрозы и риски // *Управленческое консультирование*. – 2018. – № 10 (118). – С. 46–63. – DOI: <https://doi.org/10.22394/1726-1139-2018-10-46-63>
- Хуторной С.Н. Киберпространство и реальный мир // *Вестник Московского государственного областного университета. Серия Философские науки*. – 2011. – № 2. – С. 67–71.
- Чугров С.В. Post-truth: трансформация политической реальности или саморазрушение либеральной демократии? // *Полис. Политические исследования*. – 2017. – № 2. – С. 42–59. – DOI: <https://doi.org/10.17976/jpps/2017.02.04>
- Шабров О.Ф. Глобальные факторы политического управления: новые возможности и новые риски // *Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС*. – 2019. – Т. 15, № 2. – С. 236–244. – DOI: <https://doi.org/10.21638/11701/spbu23.2019.205>
- Шарков Ф.И. Конвергенция элементов политического медиапространства // *Полис. Политические исследования*. – 2017. – № 3. – С. 135–143. – DOI: <https://doi.org/10.17976/jpps/2017.03.09>
- Aurigi A. Making the digital city: the early shaping of urban internet space. – London: Routledge, 2005. – 236 p. – DOI: <https://doi.org/10.4324/9781315249964>
- Campante F., Durante R., Sobbrio F. Politics 2.0: the multifaceted effect of broadband internet on political participation // *Journal of the European Economic Association*. – 2018. – Vol. 16, N 4. – P. 1094–1136. – DOI: <https://doi.org/10.1093/jeea/jvx044>
- Castells M. Networks of outrage and hope: social movements in the internet age. – Malden, Mass.: Polity Press, 2012. – 300 p.
- Digital democracy: issues of theory and practice / K. Hacker, J. van Dijk (eds). – London: Sage, 2000. – 228 p.
- Digital democracy: reimagining pathways to political participation / H. Gil de Zúñiga, A. Veenstra, E. Vraga, D. Shah // *Journal of information technology & politics*. – 2010. – Vol. 7, N 1. – P. 36–51. – DOI: <https://doi.org/10.1080/19331680903316742>
- Electronic democracy: mobilisation, organisation and participation via new ICTs / R. Gibson, A. Römmele, S. Ward (eds). – L.: Routledge, 2004. – 222 p.
- Etlings B., Faris R., Palfrey J. Political change in the digital age: the fragility and promise of online organizing // *SAIS review of international affairs*. – 2010. – Vol. 30, N 2. – P. 37–49. – DOI: <https://doi.org/10.1353/sais.2010.0016>
- Feenstra R.A., Casero-Ripollés A. Democracy in the digital communication environment: a typology proposal of political monitoring processes // *International Journal of Communication*. – 2014 – Vol. 8 – P. 2448–2468.
- Grant W.J., Moon B., Busby Grant J. Digital dialogue? Australian politicians' use of the social network tool Twitter // *Australian journal of political science*. – 2010. – Vol. 45, N 4. – P. 579–604. – DOI: <https://doi.org/10.1080/10361146.2010.517176>
- Gunkel D.J. Hacking cyberspace // *JAC*. – 2000. – Vol. 20, N 4. – P. 797–823.
- Halavais A. Search engine society. – Cambridge: Polity Press, 2009. – 242 p.

- Herrera G.L.* Cyberspace and sovereignty: thoughts on physical space and digital space // Power and security in the information age. Investigating the role of the state in cyberspace / Cavelti M.D. et al. – Aldershot: Ashgate, 2007. – P. 67–93.
- Khan S., Khan Sh., Aftab M.* Digitization and its impact on economy // International journal of digital library services. – 2015. – Vol. 5, N 2. – P. 138–149.
- Lambach D.* The territorialization of cyberspace // International Studies Review. – 2019. – P. 1–34. – DOI: <https://doi.org/10.1093/isr/viz022>
- Loader B.D., Mercea D.* Networking democracy? Social media innovations and participatory politics // Information, communication & society. – 2011. – Vol. 14, N 6. – P. 757–769. – DOI: <https://doi.org/10.1080/1369118X.2011.592648>
- Lust-Okar E.* Divided they rule: the management and manipulation of political opposition // Comparative politics. – 2004. – Vol. 36, N 2. – P. 159–179. – DOI: <https://doi.org/10.2307/4150141>
- Marshall J.* Cyber-space, or cyber-topos: the creation of online space // Social Analysis: The International Journal of Social and Cultural Practice. – 2001. – Vol. 45, N 1. – P. 81–102.
- Ploug T.* Ethics in cyberspace: how cyberspace may influence interpersonal interaction. – Dordrecht: Springer Publication, 2009. – 223 p. – DOI: <https://doi.org/10.1007/978-90-481-2370-4>
- Political communication in a high-choice media environment: a challenge for democracy? / van Aelst P. et al. // Annals of the International Communication Association. – 2017. – Vol. 41, N 1. – P. 3–27. – DOI: <https://doi.org/10.1080/23808985.2017.1288551>
- Ruijgrok K.* From the web to the streets: internet and protests under authoritarian regimes // Democratization. – 2017. – Vol. 24, N 3. – P. 498–520. – DOI: <https://doi.org/10.1080/13510347.2016.1223630>
- Sampedro V., Avidad M.M.* The digital public sphere: an alternative and counter-hegemonic space? The case of Spain // International journal of communication. – 2018. – Vol. 12. – P. 23–44.
- Şen A.F., Bölümü-Elazığ İ.F.G.* The social media as a public sphere: the rise of social opposition / International conference on communication, media, technology and design. Firat Üniversitesi İletişim Fakültesi-Gazetecilik Bölümü-Elazığ. – 2012. – P. 490–494.
- Shekhar S., Feiner S.K., Aref W.G.* Spatial computing // Commun. ACM. – 2016. – Vol. 59, N 1. – P. 72–81.

Kh.A. Gadzhiev*

Digital space as a field for political confrontation of authorities and opposition

Abstract. Digitalization, rapidly changing the image of the basic social spheres, including the political sphere, transforms the competition conditions for the two basic

* **Gadzhiev Khanlar**, Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Moscow, Russia), e-mail: gadzhiev_hanlar@mail.ru

spheres of the inner political arena – authority and opposition. The level of development of digital technologies and their penetration into modern social processes is so high that it allows speaking about emergence of digital space, which peculiarities are taken into account in building communication and competition in this couple. Both the opposition and authority have seen a lot of new opportunities in reaching their goals and achieving their aims, but at the same time a lot of problems and vulnerabilities, which they can't not consider. In this regard the digital space brings with itself ambiguous and sometimes even controversial prospective for them.

In the article the attempt to state the main problems and discussions connected to understanding the digital space as a new field of political confrontation of authority and opposition is made. For that purpose the central notions of the issue investigated such as “digitalization” and “digital space” are analysed; the most important conditions of confrontation of authority and opposition in the digital space are considered; the main outline of the changes in the interaction of authority and society is drawn; the evaluation of the influence of digital space on the “traditional” democratic institutes is given.

Keywords: digitalization; digital space; cyberspace; internet; authorities; opposition; digital democracy.

For citation: Gadzhiev Kh.A. Digital space as a field for political confrontation of authorities and opposition. *Political science (RU)*. 2020, N 3, P. 147–171. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.03.07>

References

- Aurigi A. *Making the Digital City: The early shaping of urban internet space*. London: Routledge, 2005, 236 p. DOI: <https://doi.org/10.4324/9781315249964>
- Bauer V.P., Sil'vestrov S.N., Baryshnikov P. Yu. The blockchain as a basis of augmented reality in the digital economy. *Information Society*. 2017, N 3, P. 30–40. (In Russ.)
- Bugaets A.A. Mass media in a context of relationship of the power and opposition: catalyst of revolt or organizer of dialogue? *Bulletin of the Kuzbass State Technical University*. 2013, N 6 (100), P. 166–169. (In Russ.)
- Campante F., Durante R., Sobbrío F. Politics 2.0: the multifaceted effect of broadband internet on political participation. *Journal of the European Economic Association*. 2018, Vol. 16, N 4, P. 1094–1136. DOI: <https://doi.org/10.1093/jeea/jvx044>
- Castells M. *Networks of outrage and hope: social movements in the internet age*. Malden, Mass.: Polity Press, 2012, 300 p.
- Chugrov S.V. Post-truth: transformation of political reality or self-destruction of liberal democracy? *Polis. Political Studies*. 2017, N 2, P. 42–59. DOI: <https://doi.org/10.17976/jpps/2017.02.04> (In Russ.)
- Digital democracy: issues of theory and practice*. Hacker K., van Dijk J. (eds). London: Sage, 2000, 228 p.
- Dmitriev A.V., Tatarkova D. Iu. The difficult path to compromise: informal communication between the authorities and the opposition. In: *Consent in society as a condi-*

- tion for the development of Russia. Vol. 3. Political consent: Strategies and Reality. Ed. by O.M. Mikhailenok. Moscow: ISRAS, 2013. P. 129–140. (In Russ.)
- Dobrin'skaya D.E. Cyberspace: territory of contemporary life. *Moscow State University Bulletin. Series 18. Sociology and Political Science*. 2018, Vol. 24, N 1, P. 52–70. (In Russ.)
- Edling B., Faris R., Palfrey J. Political change in the digital age: the fragility and promise of online organizing. *SAIS Review of International Affairs*. 2010, Vol. 30, N 2, P. 37–49. DOI: <https://doi.org/10.1353/sais.2010.0016>
- Fedotov M.A. Constitutional answers for the challenges of cyberspace. «*Lex russica*» (*The Russian Law*). 2016, N 3 (112), P. 164–182. DOI: <https://doi.org/10.17803/1729-5920.2016.112.3.164-182> (In Russ.)
- Feenstra R.A., Casero-Ripollés A. Democracy in the digital communication environment: a typology proposal of political monitoring processes. *International Journal of Communication*. 2014, Vol. 8, P. 2448–2468.
- Gazimagomedov G.G., Strebkov A.I., Rukinov V.A. Power, contemporary Russian opposition and public security. *Konfliktologia*. 2016, N 1, P. 125–142. (In Russ.)
- Gibson R., Römmle A., Ward S. (eds). *Electronic democracy: mobilisation, organisation and participation via new ICTs*. London: Routledge, 2004, 222 p.
- Grachev M.N. «E-democracy» and «E-government»: How it works. In: *Political communication, theory, methodology and practice*. L.N. Timofeeva (ed). M.: RAPN; ROSSPEN, 2012, P. 268–285. (In Russ.)
- Grant W.J., Moon B., Busby Grant J. digital dialogue? Australian politicians' use of the social network tool Twitter. *Australian Journal of Political Science*. 2010, Vol. 45, N 4, P. 579–604. DOI: <https://doi.org/10.1080/10361146.2010.517176>
- Gunkel D.J. Hacking Cyberspace. *JAC*. 2000, Vol. 20, N 4, P. 797–823.
- Halavais A. *Search engine society*. Cambridge: Polity Press, 2009, 242 p.
- Herrera G.L. Cyberspace and sovereignty: thoughts on physical space and digital space. In: Cavelti M.D. et al.: *Power and Security in the Information Age. Investigating the Role of the State in Cyberspace*. Aldershot: Ashgate, 2007, P. 67–93.
- Isakov A.I., Oleynik A.V. The opposition and government. «*Обозреватель – Observer*». 2009, N 11 (238), P. 6–16. (In Russ.)
- Khalin V.G., Chernova G.V. Digitalization and its Impact on the Russian economy and society: advantages, challenges, threats and risks. *Administrative Consulting*. 2018, N 10 (118), P. 46–63. DOI: <https://doi.org/10.22394/1726-1139-2018-10-46-63> (In Russ.)
- Khan S., Khan Sh., Aftab M. Digitization and its impact on economy. *International Journal of Digital Library Services*. 2015, Vol. 5, N 2, P. 138–149.
- Khutornoy S.N. Cyberspace and virtual reality. *Bulletin of the MSRU. Series: Philosophy*. 2011, N 2, P. 67–71. (In Russ.)
- Kosorukov A.A. The technologies of augmented reality in the area of public administration. *Sociodynamics*. 2020, N 1, P. 1–11. DOI: <https://doi.org/10.25136/2409-7144.2020.1.31949> (In Russ.)
- Kurochkin A.V., Antonov G.K. Features of political information and communication space in modern Russia. *Society: Politics, Economics, Law*. 2017, N 2, P. 9–13. DOI: <https://doi.org/10.24158/pep.2017.2.1> (In Russ.)

- Lambach D. The territorialization of cyberspace. *International Studies Review*. 2019, P. 1–34. DOI: <https://doi.org/10.1093/ist/viz022>
- Lazar M.G. Digitization of society, its consequences and population control. *The problems of scientist and scientific groups activity*. 2018, N 4 (34), P. 170–181. (In Russ.)
- Loader B.D., Mercea D. Networking democracy? Social media innovations and participatory politics. *Information, Communication & Society*. 2011, Vol. 14, N 6, P. 757–769. DOI: <https://doi.org/10.1080/1369118X.2011.592648>
- Lust-Okar E. Divided they rule: the management and manipulation of political opposition. *Comparative Politics*. 2004, Vol. 36, N 2, P. 159–179. DOI: <https://doi.org/10.2307/4150141>
- Malashenko A.V., Nisnevich Yu.A., Ryabov A.V. *Formation of post-industrial civilization: from digitalization to barbarism*: Monograph. Moscow: Yurait Publishing House, 2019, 212 p. (In Russ.)
- Marshall J. Cyber-space, or cyber-topos: the creation of online space. *Social Analysis: The International Journal of Social and Cultural Practice*. 2001, Vol. 45, N 1, P. 81–102.
- Mikhailenok O.M., Malysheva G.A. Political relations in the digital networks context. *The Caspian Region: Politics, Economics, Culture*. 2019, N 3 (60), P. 79–87. (In Russ.)
- Mikhaylyonok O.M. The informational-communicative risks of actively transitioning political relations to the web. *Vestnik Instituta Sotziologii*. 2019, Vol. 30, N 3, P. 12–21. DOI: <https://doi.org/10.19181/vis.2019.30.3.584> (In Russ.)
- Petrova N.P., Bondareva G.A. Digitalization and digital technologies in education. *The World of Science, Culture and Education*. 2019, N 5 (78), P. 353–355. DOI: <http://doi.org/10.24411/1991-5497-2019-00138> (In Russ.)
- Plotnikov V.A. Digitalization of production: the theoretical essence and development prospects in the Russian economy. *Izvestiâ Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ékonomičeskogo universiteta*. 2018, N 4 (112), P. 16–24. (In Russ.)
- Ploug T. *Ethics in cyberspace: how cyberspace may influence interpersonal interaction*. Dordrecht: Springer Publication, 2009, 223 p. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-90-481-2370-4>
- Podorova-Anikina O.N. Political communication in the context of globalization. *Vestnik Komi respublikanskoi akademii gosudarstvennoi sluzhby i upravleniia. Seriya: Teoriia i praktika upravleniia*. 2016, N 17 (22), P. 13–16. (In Russ.)
- Pushkaryova G.V. Political space: problems of theoretical conceptualization. *Polis. Political Studies*. 2012, N 2, P. 166–176. (In Russ.)
- Ruijgrok K. From the web to the streets: internet and protests under authoritarian regimes. *Democratization*. 2017, Vol. 24, N 3, P. 498–520. <https://doi.org/10.1080/13510347.2016.1223630>
- Sampedro V., Avidad M.M. The digital public sphere: an alternative and counter-hegemonic space? The case of Spain. *International Journal of Communication*. 2018, Vol. 12, P. 23–44.
- Şen A.F., Bölümü-Elazığ İ.F.G. The social media as a public sphere: the rise of social opposition. In: *International Conference on Communication, Media, Technology and*

- Design*. Firat Üniversitesi İletişim Fakültesi–Gazetecilik Bölümü–Elazığ, 2012, P. 490–494.
- Shabrov O.F. Global political management factors: new opportunities and new risks. *Political Expertise: POLITEX*. 2019, Vol. 15, N 2, P. 236–244. DOI: <https://doi.org/10.21638/11701/spbu23.2019.205> (In Russ.)
- Sharkov F.I. The Convergence of the elements of political media. *Polis. Political Studies*. 2017, N 3, P. 135–143. DOI: <https://doi.org/10.17976/jpps/2017.03.09> (In Russ.)
- Shekhar S., Feiner S.K., Aref W.G. Spatial computing. *Commun. ACM*. 2016, Vol. 59, N 1, P. 72–81.
- Talapina E.V. Law and digitalization: new challenges and prospects. *Journal of Russian Law*. 2018, N 2 (254), P. 5–17. DOI: https://doi.org/10.12737/art_2018_2_1 (In Russ.)
- Timofeeva L.N. Alternativeism in science and politics. In: *Modern political science: methodology: scientific edition*. O.V. Gaman-Golutvina, A.I. Nikitin (eds). Moscow: Aspect Press, 2019. P. 525–550. (In Russ.)
- Timofeeva L.N. Political communication and its general couple: authority and opposition. *Teoriia i praktika obshchestvenno-nauchnoi informatsii*. 2004, N 19, P. 134–145. (In Russ.)
- Trofimenko A.V., Yeliseeva S.N., Korobeynikova I.S. Digital economy: problems of improving the efficiency of business owner's rights protection in cyberspace. *Vestnik of Saratov State Socio-Economic University*. 2017, N 4 (68), P. 73–76. (In Russ.)
- Van Aelst P. et al. Political communication in a high-choice media environment: a challenge for democracy? *Annals of the International Communication Association*. 2017, Vol. 41, N 1, P. 3–27. DOI: <https://doi.org/10.1080/23808985.2017.1288551>
- Volodenkov S.V. Digital-technologies in the system of traditional institutions of power: political potential and contemporary challenges. *Bulletin of Moscow State Regional University*. 2018, N 2, P. 39–48. DOI: <https://doi.org/10.18384/2224-0209-2018-2-893> (In Russ.)
- Volodenkov S.V. *Internet communications in the global space of modern political management*. Moscow: Moscow University Press; Prospekt, 2015, 272 p. (In Russ.)
- Volov A.G. Philosophical analysis of the concept of «cyberspace». *Philosophical Problems of Information Technology and Cyberspace*. 2011, N 2, P. 49–54. (In Russ.)
- Gil de Zúñiga H. et al. Digital democracy: reimagining pathways to political participation. *Journal of Information Technology & Politics*. 2010, Vol. 7, N 1, P. 36–51. DOI: <https://doi.org/10.1080/19331680903316742>

С.А. СЕРГЕЕВ*

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИМВОЛИКА И СИМВОЛИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ ЛЕВОРАДИКАЛЬНЫХ ПАРТИЙ¹

Аннотация. Выдвинутая Шанталь Муфф концепция «агонистической демократии» противостоит и пониманию политического конфликта как антагонистического, стороны которого рассматривают друг друга как непримиримые враги, и фактическому отрицанию конфликта в консенсусных теориях демократии. Эта концепция, в которой политический конфликт рассматривается как борьба между двумя противниками, каждый из которых признает легитимность другого, нашла свою реализацию в деятельности новых леворадикальных партий, возникших в течение последних 10–15 лет в странах Западной Европы. Появление их стало реакцией на кризис и упадок большинства «старых» леворадикальных партий, наступивший после падения Берлинской стены и распада СССР. «Новые» левые радикалы стремятся выработать собственную идентичность, отличную и от коммунистической, и от социал-демократической, что проявляется в изобретаемых ими новых эмблематических символах, не похожих на серп, молот и пятиконечную звезду «старых» левых радикалов, а также в применяемых ими новых дискурсивных стратегиях. На примере испанской партии «Подemos», Левой партии Франции и партии «Непокоренная Франция» рассматривается, каким образом «новые» левые радикалы конструируют субъект политического действия – «народ», «народное большинство» или просто «мы», противопоставляемый «тем, кто наверху», «касте», «олигархии». Но при всей резкости антикапиталистической и антилиберальной риторики конфликт «новых» левых радикалов с системой носит

* **Сергеев Сергей Алексеевич**, доктор политических наук, профессор кафедры политологии, Казанский (Приволжский) федеральный университет (Казань, Россия), e-mail: SASergeev@kpfu.ru

¹ Подготовлено при финансовой поддержке РФФИ (проект № 19–011–00198 «Эволюция леворадикальных партий, движений и групп во Франции, Испании, Греции, России и Канаде в 2007–2018 гг.: сравнительный анализ»).

© Сергеев С.А., 2020

DOI: 10.31249/poln/2020.03.08

скорее агонистический, а не антагонистический характер: они хотят не разрушить старые институты, а отвоевать их у противоположной стороны, не заменять демократию диктатурой передового класса, а «возвратить» ее народу и расширить ее.

Ключевые слова: символ; левые радикалы; «Подemos»; «Непокоренная Франция».

Для цитирования: Сергеев С.А. Политическая символика и символическая политика западноевропейских леворадикальных партий // Политическая наука. – 2020. – № 3. – С. 172–189. – DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.03.08>

*Но на фуражке моей серп и молот и звезда,
Как это трогательно – серп и молот и звезда.*

Е. Летов

«Соперник» вместо «врага»: концепция «агонистического плюрализма» Ш. Муфф

Среди современных политико-философских теорий, трактующих понятия «конфликт», заметное место, на наш взгляд, занимает теория «агонистического плюрализма» Шанталь Муфф, потенциал и значение которой для понимания политических процессов, проходящих в Западной Европе, продемонстрируем в этой статье.

Ш. Муфф – бельгийская исследовательница, активно работающая в сфере политической философии и политологии, испытавшая влияние марксизма (ее взгляды характеризовались как постмарксистские) и Карла Шмитта (отсюда характеристика ее взглядов как левого шмиттеанства)¹. Но если К. Шмитт понимал политический антагонизм с точки зрения различения друга и врага, Ш. Муфф, не отрицая наличия антагонизма, выделила также «агонизм» (от греч. «агон» – борьба, соревнование) – ненасильственное разрешение конфликта между двумя противниками, каждый из которых признает легитимность другого. Если антагонизм – это «борьба между врагами (enemy), агонизм – это борьба между про-

¹ Desmoulières R.B. Chantal Mouffe, the philosopher who inspires Jean-Luc Mélenchon // Verso Books. – 2017. – January. – Mode of access: <https://www.versobooks.com/blogs/3037-chantal-mouffe-the-philosopher-who-inspires-jean-luc-melenchon> (accessed: 20.03.2020)

тивниками (adversary)» [Mouffe, 2000, p. 102–103]. С точки зрения Муфф, цель демократической политики – так сконструировать образ «Их», чтобы «Они» воспринимались не как «враг», подлежащий уничтожению, а как «противник», т.е. тот, с чьими идеями мы боремся, но чье право защищать эти идеи не ставим под сомнение [Mouffe, 1999, p. 15]. Муфф весьма скептически относится к модели «делиберативной демократии», поскольку считает невозможным и вредным для демократии устранение из публичной сферы борьбы и неприменное стремление достичь рационального консенсуса. Категория «противник» не устраняет конфликт, и ее следует отличать от либерального понятия конкурента, с которым ее иногда отождествляют. Противник – это враг, но законный враг, с которым у нас есть общий язык, потому что мы разделяем приверженность этико-политическим принципам либеральной демократии – свободе и равенству. Борьба политических противников (если это противники, а не враги) не только не ставит под угрозу демократию, но и является условием ее существования. Соответственно консенсус в условиях демократии будет «конфликтным консенсусом» и будет представлять собой «энергичное столкновение» различных позиций, представляющих различные интерпретации общих этико-политических принципов в конкретных условиях. Слишком большой акцент на консенсус и отказ от конфронтации приводит к апатии и недовольству политическим участием [Mouffe, 1999, p. 16]. Специфика современной демократии, по мнению Муфф, как раз и состоит в признании и легитимации конфликта и отказе от его подавления путем навязывания авторитарного порядка.

Агонизм занимает промежуточное положение между консенсуалистскими и конфликтными концепциями демократии. С конфликтным подходом его роднит идея о том, что конфликт нельзя искоренить из политики, а с консенсуализмом – идея о том, что есть общая основа определенных ценностей, – разделяемая, однако, не на основе согласия, а на основе конфликта, поскольку конкурирующие акторы интерпретируют их различным образом.

Другой идеей Муфф, сформулированной ею совместно с Эрнесто Лакло, стало представление о «радикальной и плюралистической демократии», которое должно заменить устаревшие концепции диктатуры пролетариата. Дискурс пролетариата сегодня заменило множество голосов, исходящих от широкого круга угнетенных: этнических меньшинств, женщин, экологов, имми-

грантов и пр., каждого из которых конструирует собственную идентичность и претендует на собственный дискурс – антирасистский, антисексистский, антикапиталистический, экологический и т.д. Поэтому субъектом перемен не может быть отдельный класс, им должна стать политически сконструированная коллективная воля, которая сможет объединить различные требования, высказав их от лица «Нас» или «Народа». Эти требования не отрицают либерально-демократическую идеологию, напротив: «...они состоят в ее углублении и расширении в направлении радикальной и плюралистической демократии» [Laclau, Mouffe, 1985, p. 176].

Идеи Лакло и Муффа о конструировании народа из множества разнородных протестных групп были восприняты сначала антиглобалистским движением 1990-х годов, а затем новыми леворадикальными партиями, появившимися в 2000–2010 гг.

Изменить нельзя оставить: западноевропейские левые радикалы и их политическая символика

Левые радикалы – партии, движения и группы, находящиеся левее социал-демократии. Вплоть до 1980-х годов большинство леворадикальных партий были коммунистическими партиями, одни из которых ориентировались на Москву, другие – на Пекин, третьи принадлежали к одному из троцкистских интернационалов, четвертые подчеркивали устарелость ряда положений марксизма-ленинизма, выступая за демократический путь к социализму и против гегемонии КПСС (еврокоммунисты) и т.д. Падение Берлинской стены привело к тому, что одни из этих партий распались, другие эволюционировали в социал-демократические и просто демократические партии, третьи сохранили верность марксизму-ленинизму и даже прежние названия, но утратили свое влияние (последних можно назвать «старыми» левыми радикалами). Однако ряд левых партий и групп смогли преодолеть прежние разногласия, выработать внутренне непротиворечивую программу, модернизировав свои идеологии и отказавшись от архаичных элементов, и занять в политическом пространстве место левее социал-демократии (назовем их новыми левыми радикалами).

Одной из первых на этот путь ступила Левая партия Германии, появившаяся в 2007 г. в результате объединения Партии демократического социализма (наследницы правящей в ГДР СЕПГ) и левых социал-демократов. Параллельно процесс объединения левых радикалов шел в Греции, где к 2004 г. сложилась коалиция радикальных левых (СИРИЗА), объединившая 18 левых организаций, в том числе отколовшихся от Компартии еврокоммунистов, левых социал-демократов, маоистов, пять (!) троцкистских партий и групп и т.д. В 2013 г. СИРИЗА стала партией.

В 2014 г. небольшая группа «Антикапиталистические левые» в Испании на волне протестов против политики «жесткой экономии» смогла на базе протестного движения создать партию «Подemos» («Мы вместе»); основатели партии не скрывали влияния на них теоретических работ Э. Лакло и Ш. Муфф [Iglesias, 2015, p. 26–27]. В 2008–2009 гг., подражая левым радикалам Германии, политик Жан-Люк Меланшон создал Левую партию Франции, ставшую в 2016 г. основой для учрежденной им же другой леворадикальной организации – «Непокоренная Франция».

Даже названия этих леворадикальных организаций четко фиксируют символический разрыв с коммунистическим и марксистско-ленинским прошлым: они предпочитают называть себя «левыми», «антикапиталистическими», предпочитают избегать какой-то классовой определенности, стремясь обращаться к «народу» и строить коллективное «мы», уже не апеллируя к рабочему классу. В то же время они отвергают основные социально-экономические структуры, ценности и практику современного капитализма, отличаясь от социал-демократов, и при этом выступают за углубление экономической и политической демократии посредством трансформации «неолиберального» глобализированного капитализма [March, Rommerskirchen, 2015, p. 41].

Отличия «новых левых радикалов» от «старых» или «традиционных» левых радикалов становятся видны уже при сравнении эмблематической символики тех и других – логотипов и партийных эмблем.

Официальный символ Лево́й партии Германии – логотип DIE LINKE черным шрифтом с красным ударением над буквой «I» в слове «LINKE»; вариантом этого символа является партийный флаг – с надписью «DIE LINKE» белым шрифтом на красном фо-

не¹. Здесь от «красного» прошлого осталось в одном случае лишь красное ударение, в другом – красный цвет флага. Некоторые из союзников Левой партии, в частности Германская коммунистическая партия (ГКП), сохранили в качестве символа серп и молот – но даже на сайте ГКП он не очень заметен, присутствуя как favicon (от англ. FAVorites ICON – «значок для избранного», значок веб-сайта, который появляется в закладках браузера при открытии сайта)². Другой союзник Левой партии – «Международные социалистические левые», организация, являющаяся одной из двух германских секций IV Интернационала, сохранила традиционный символ радикальных левых – пятиконечную звезду, частично закрыв ее своим логотипом ISO³. Еще одна германская секция IV Интернационала, Революционная социалистическая лига (РСЛ), выступает с крайних позиций и, в отличие от большинства мелких леворадикальных групп в Германии, отказывается сотрудничать с Левой партией, не говоря уже об СДПГ. РСЛ при этом сохранила традиционные для коммунистов серп и молот⁴.

Символика Левой партии Франции, основанной в 2009 г. Ж.-Л. Меланшоном, вышедшим из Социалистической партии (а еще ранее состоявшим в «Международной коммунистической организации» П. Ламбера), весьма похожа на символику Левой партии Германии: первоначально это была надпись «Parti de Gauche» белыми буквами на красном фоне, причем слово «Gauche» (левая) было выполнено крупными, хорошо различимыми буквами. После того как Левая партия получила поддержку со стороны части партии Зеленых, красный фон сменился красно-зеленым⁵. Но Меланшон мечтал о более широкой организации, которая опиралась бы на республиканские традиции и традиции французского Сопротивления и могла бы охватить весь или почти весь леворадикальный электорат. В 2016 г. (за год до президентских и парламентских выборов) Меланшон создал партию «Непокоренная Франция» (La France insoumise; название может быть переведено как «Мятежная Франция» или «Восставшая Франция»). Ее логотипом стала греческая буква ф, название которой (фи) совпадает с

¹ Mode of access: <https://www.die-linke.de> (accessed: 01.03.2020)

² Mode of access: <https://dkp.de/> (accessed: 01.03.2020)

³ Mode of access: <http://intersoz.org/> (accessed: 01.03.2020)

⁴ Mode of access: <http://www.rsb4.de/> (accessed: 01.03.2020)

⁵ Mode of access: <https://www.lepartidegauche.fr/> (accessed: 01.03.2020)

аббревиатурой *La France insoumise* – FI¹. Французская компартия, в 2008–2018 гг. сотрудничавшая слевой партией и «Непокоренной Францией», сохранила в качестве своего символа пятиконечную звезду, дополнив ее листочком (также красного цвета), прикрепленным к верхнему лучу, что должно подчеркивать близость коммунистов экологическому движению².

Ж.-Л. Меланшон смог объединить далеко не все силы левее Соцпартии: партия «Рабочая борьба» и Новая антикапиталистическая партия (создана в 2009 г. на основе Революционной коммунистической лиги) участвуют в выборах, как правило, самостоятельно (хотя в 1970–1990-е годы «Рабочая борьба» и РКЛ иногда выдвигали общих кандидатов на выборах различных уровней). «Рабочая борьба» (известная также как («Коммунистический союз (троцкистский)»)) известна как организация с жесткой дисциплиной, так что другие партии левого спектра называли ее «сектой». Характерно, что сохранение марксистско-ленинской догматики или отказ от нее прямо коррелируют с сохранением или отказом от традиционной символики в виде серпа и молота. «Рабочая борьба» эту символику сохранила, а Новая антикапиталистическая партия в качестве эмблемы избрала мегафон как символ уличных акций протеста (этот символ был заимствован у нее, в частности, Российским социалистическим движением)³.

Коммунистическая партия Испании и Коммунистическая партия народов Испании сохранили в качестве своей символики и серп с молотом, и красную пятиконечную звезду, но эмблема коалиции «Объединенные левые», которую они создали в 1986 г., – красный квадрат с белыми буквами IU (*Izquierda Unida* – Объединенные левые)⁴.

Именно испанский опыт создания новой левой, или «постлевой», партии наиболее ярко иллюстрирует символический разрыв с традиционными левыми: партия «Подemos» («Мы можем») использует в качестве символов логотип *PODEMOS* фиолетового

¹ Mode of access: <https://lafranceinsoumise.fr/> (accessed: 01.03.2020)

² Mode of access: <https://www.pcf.fr/> (accessed: 01.03.2020)

³ Mode of access: <https://www.lutte-ouvriere.org/> (accessed: 01.03.2020); Mode of access: <https://npa2009.org/> (accessed: 01.03.2020)

⁴ Mode of access: <https://www.pce.es/> (accessed: 01.03.2020); Mode of access: <https://izquierdaunida.org/> (accessed: 01.03.2020)

цвета и круг¹. Использование круга в качестве эмблемы дистанцирует «Подemos» от социалистической и коммунистической традиций, показывая символическое предпочтение мира гражданина, а не мира рабочего и крестьянина [Franze, 2018, p. 56]. Круг также отсылает к внутренней структуре рабочих групп движения 15 М, которое стало одной из организационных основ «Подemos». Кроме того, фиолетовый цвет ассоциируется с феминизмом. Название партии – «Мы можем» – также подчеркивает разрыв с классовыми партиями для того, чтобы артикулировать интересы нового субъекта политического действия – «мы». Впрочем, эмблемой партии «Антикапиталистические левые», лидеры которой стали идейным и организационным ядром «Подemos», является трехцветная (красная, зеленая и фиолетовая) пятиконечная звезда (красный цвет – коммунизм, зеленый – экологизм, фиолетовый – феминизм)².

Те же цвета присутствуют в символике греческой партии СИРИЗА (Коалиция радикальных левых): три знамени красного, зеленого и фиолетового цветов и маленькая звезда желтого цвета³. В отличие от нее, Компартия Греции, имеющая репутацию одной из наиболее ортодоксальных марксистско-ленинских партий современности, сохраняет в качестве эмблемы серп и молот⁴.

Та же тенденция прослеживается и в политической символике других радикальных левых партий Европы: Рабочая партия Бельгии использует в качестве эмблемы белое сердце с красной звездой на красном фоне, Социалистическая партия Нидерландов (бывшая Коммунистическая марксистско-ленинская партия) – красный помидор (или яблоко) с белой звездой и логотип SP, Левый союз Финляндии – розовую букву «V» («Левый союз» по-фински Vasemmistoliitto), Левая партия Швеции (Vänsterpartiet, ранее Левая партия – коммунисты Швеции) – белую букву «V» на фоне красной гвоздики, у Левого блока Португалии красная звезда трансформировалась в человечка: четыре луча звезды образуют руки-ноги, а пятый луч заменен кружком, изображающим голову, у организации «Левые» Люксембурга эмблема напоминает плакат

¹ Mode of access: <https://podemos.info/> (accessed: 01.03.2020)

² Mode of access: <https://www.anticapitalistas.org/> (accessed: 01.03.2020)

³ Mode of access: <http://www.syriza.gr/> (accessed: 01.03.2020)

⁴ Mode of access: <http://ru.kke.gr/ru/firstpage/> (accessed: 01.03.2020)

Эль Лисицкого «Красным клином бей белых»: черный круг с выделенным в нем красным сектором¹. К антифашистской символике и символике единого фронта отсылает эмблема партии «Люди важнее прибыли» (Ирландия), созданной на основе коалиции нескольких троцкистских групп – рукопожатие белой и зеленой рук на темно-красном фоне².

В то же время часть «старых» радикальных левых сохраняет прежнюю символику – серп и молот, пятиконечную звезду, иногда и то и другое: кроме вышеупомянутых, это Партия итальянских коммунистов, Коммунистическая партия Бельгии, Новая коммунистическая партия Нидерландов, Коммунистическая партия Дании, Коммунистическая партия Норвегии и норвежская партия «Красные», Португальская коммунистическая партия³. В большинстве случаев численность партий «старых» радикальных левых невелика, а их парламентское представительство минимально или отсутствует (из ортодоксальных западноевропейских коммунистических партий исключение составляют коммунистические партии Греции и Португалии).

Таким образом, наличие или отсутствие эмблематических символов, характерных для «старых» леворадикальных партий, служит маркером, позволяющим с достаточной уверенностью отличать «старых и «новых» леворадикалов.

Поскольку эмблематические символы представляют собой наиболее яркую, доходчивую и наглядную часть всего объема символической политики как деятельности, связанной с производством способов интерпретации политической реальности и борьбой за их доминирование [Малинова, 2013, с. 13], их анализ – немаловажная часть анализа символической политики в целом, но явно недостаточная. Символические смыслы содержатся в гораздо

¹ Mode of access: <https://www.ptb.be/> (accessed: 01.03.2020); Mode of access: <https://www.pvda.be/> (accessed: 01.03.2020); Mode of access: <https://www.bloco.org/> (accessed: 01.03.2020); Mode of access: <http://www.dei-lenk.lu/> (accessed: 01.03.2020)

² Mode of access: <https://www.pbp.ie/> (accessed: 01.03.2020)

³ Mode of access: <http://www.comunisti-italiani.it/> (accessed: 02.03.2020); Mode of access: <http://www.particommuniste.be/> (accessed: 02.03.2020); Mode of access: <https://www.ncpn.nl/> (accessed: 02.03.2020); Mode of access: <https://dkp.dk/> (accessed: 02.03.2020); Mode of access: <https://www.rodt.no/> (accessed: 02.03.2020); Mode of access: <https://www.nkp.no/> (accessed: 02.03.2020); Mode of access: <http://www.pcp.pt/> (accessed: 02.03.2020)

большем количестве символических форм, чем эмблематические символы, – в идеях, нарративах и дискурсах политических партий и их лидеров.

Символическая политика в дискурсах «Подемос» и «Непокоренной Франции»

Наиболее интересной и важной представляется символическая политика, проводившаяся четырьмя западноевропейскими леворадикальными партиями – партией СИРИЗА в Греции,евой партией в ФРГ, партией «Подемос» в Испании и «Непокоренной Францией». Две из них смогли принять участие в формировании правительств (СИРИЗА была старшим партнером в коалиционных правительствах в 2015–2019 г., «Подемос» – младший партнер в коалиционном правительстве с ноября 2019 г.), две другие добились в своих странах существенных успехов на парламентских и президентских выборах. Развернутый анализ символических образов и смыслов, используемых четырьмя партиями, далеко вышел бы за пределы статьи, поэтому ограничимся символической составляющей дискурсов «Подемос» и «Непокоренной Франции».

Для испанского политического дискурса 1980-х – начала 2010-х годов, в целом разделявшегося и консерваторами (Народная партия), и социалистами, было характерно противопоставление прошлого, омраченного гражданской войной и диктатурой, и настоящего, связываемого с демократическим транзитом второй половины 1970-х годов. Прошлое (ассоциировавшееся не только с гражданской войной, но и с республикой) представлялось мрачным временем раздора и братоубийства, все участники которого были не лучше друг друга [Franze, 2018, p. 54]. Оно противопоставлялось настоящему, отмеченному духом согласия и гармонии, достигнутым благодаря пакту Монклоа 1978 г. Левым предоставлялась альтернатива: принять установившуюся в конце 1970-х годов политическую систему и играть по ее правилам (что сделали социалисты) или же не принимать ее и тем самым быть представленными как опасные утописты и фанатики, которые «могут повторить» времена братоубийства и хаоса и оказаться в «электоральном гетто» (коалиция «Объединенные левые», куда входили коммунисты, получала на выборах 1986–2011 гг. от 3–4 до 10,5%).

Но рано или поздно дискурс транзита (как называли обособление изложенной выше дихотомии «братоубийственное прошлое – благополучное настоящее») должен был быть оспорен, и оспорили его основатели партии «Подемос».

Вместо дихотомии «гражданская война – мирный транзит» они предложили другие, связанные не с прошлым, а с настоящим: «верхние – нижние», «демократия – олигархия», «народ – каста» (негативная политическая метафора или символ, которым «Подемос» обозначил испанскую политическую элиту, противопоставив ее «простым людям») [Астахова, 2016, с. 25]. Тем самым в острый момент социально-экономического кризиса начала 2010-х годов была сконструирована новая «ось» политического дискурса: «Мы» против «Них», «народ» против «касты».

Основатели «Подемос» смогли уйти и еще от одной «скользкой» для испанских левых темы – противопоставления республики и монархии. Традиционные левые обычно – республиканцы. Между тем после перехода к демократии институт монархии стал пользоваться уважением у большинства испанцев, в том числе и благодаря заслугам Хуана Карлоса I в обеспечении мирного демократического транзита. Когда П. Иглесиас был приглашен на прием к королю Испании, перед ним встала альтернатива: (1) если он не идет на прием, подчеркивая тем самым, что он республиканец, оказывается в пространстве «традиционных левых» и отталкивает от «Подемос» большое число потенциальных избирателей, симпатизирующих монархии; (2) если он идет, то оказывается в окружении партий «касты», которых он незадолго до этого клеймил как предателей и коррупционеров. Как он вышел из этой затруднительной ситуации?

П. Иглесиас пошел на прием, но пошел, пренебрегая протоколом, в своей повседневной одежде, и совершил, по его выражению, «плебейский и иронический жест» – подарил королю DVD с фильмом «Игра престолов». Сам Иглесиас предложил такую интерпретацию этого жеста: фильм «показывает кризис режима, в котором имидж короля – не консолидированная институциональная фигура, а хрупкая фигура, которая постоянно подвергается сомнению и может измениться в любой момент» [Iglesias, 2015, p. 26].

Переозначиванию в дискурсе «Подемос» подверглись и такие понятия, как «Отечество» и «патриот»: они не были частью современного испанского политического языка: левые предпочи-

тали использовать такие слова, как «государство» или «страна», а правые – «нация» и «национальный» [Астахова, 2016, с. 26]. «Подemos» одновременно дистанцировался от дискурса как левых, так и правых, вызвав ассоциации с освободительной борьбой «третьего мира» в 1960-е и 1970-е годы и национал-популизмом в Латинской Америке [Franze, 2018, p. 56–57].

Но первоначально партия «Подemos» выступала скорее как сила, антагонистическая по отношению к политической системе Испании («Подemos» приклеил к ней ярлык «режим-78»), нежели агонистическая; хотя П. Иглесиас и его товарищи стремились в дискуссиях и партийных материалах избегать дихотомии «гражданская война – транзит», процесс демократического транзита, сформировавший современную Испанию, рассматривался «Подemos» скорее негативно как процесс, обусловивший гегемонию «касты», двухпартийную систему, в которой социалисты и бывшие франкисты время от времени меняются у власти, в то время как народ от власти отчужден. Ставилась цель «переучреждения» Испании, подразумевавшего принятие новой конституции и «отвоевание», или «восстановление», демократии, «похищенной» элитами у народа во время транзита [Franze, 2018, p. 61].

Впрочем, достаточно быстро – в 2015–2016 гг. – дискурс «Подemos» переориентировался с критики существующих институтов на их признание. Институты и «каста» перестали отождествляться. Элиты стали рассматриваться как пользователи и выгодоприобретатели институтов, которые они незаконно захватили, но должны вернуть народу. Пакт 1978 г. стал критиковаться все реже, а впоследствии было объявлено о необходимости «восстановления» пакта, который был использован «кастой» в собственных интересах. Причиной и началом отчуждения народа был объявлен не транзит 1978 г., а социально-экономический кризис 2008 г. и неолиберальная политика по преодолению кризиса. «Мы должны признать, – писал П. Иглесиас, – что кризис не имеет ничего общего с транзитом, а связан с неолиберальным управлением испанской политикой» [Iglesias, 2015, p. 32]. Соответственно целью «Подemos» стало продолжение транзита или новый транзит, а не разрыв с транзитом и «переучреждение» институтов [Хенкин, 2016, с. 17].

В 2015–2016 гг. партия «Подemos» не только примирилась со «старыми левыми» (создан блок Unidos Podemos – «Объединенные Подemos»), но и изменила отношение к Испанской социали-

стической рабочей партии (ИСРП). Если ранее социалисты осуждались наряду с «кастой», то теперь была поставлена цель добиться союза с ними, объединив все левые силы. Правда, для этого следовало, по мнению лидеров «Подemos», «превзойти» ИСРП, т.е. набрать на выборах больше голосов, чем ИСРП, и лишь после этого заключить с ними союз, вынудив их отказаться от неолиберальной политики. Однако «превзойти» ИСРП «Объединенным Подemos» не удалось (рост электората «Подemos» в 2015–2016 гг. стабилизировался на 20–21%, а в 2019 г. снизился до 12,8–14,3%¹), и в конце 2019 г. партия «Подemos» как младший партнер вошла в правительство П. Санчеса, чтобы противодействовать усилению правых.

Обратимся теперь к дискурсулевой партии и «Непокоренной Франции» Ж.-Л. Меланшона, изложенных им в программелевой партии и программе кандидата в президенты Франции на выборах 2017 г. «Общее будущее». В них были использованы четыре главных символа – политические метафоры («Подemos» сконструировал и применял не менее десяти подобных символов [Астахова, 2016, с. 24–26], некоторые из которых были рассмотрены выше).

«Каста» и «финансовая олигархия» («сместить касту, которая захватила власть», «тирания финансовой олигархии и касты»²) – первое было явным заимствованием из дискурса «Подemos»; таким же заимствованием выглядит обвинение «касты» в «захвате власти», которая принадлежала народу и которую нужно «вернуть народу». При этом нельзя сказать, что дихотомия «народ – каста» или «верхи – низы» конструировалась в рассматриваемых программах последовательно и настойчиво: будучи несколько раз упомянуто в начале «Общего будущего», противопоставление «народа» и «касты» уступает место детальному перечислению планируемых социальных и экологических реформ.

«Режим 78 года» в дискурсе «Подemos» у Меланшона заменила «президентская монархия», которая, по его мнению, умаляет законодательную власть, обеспечивает привилегии «касты», пре-

¹ Spain – November 2019 general election // Politico. – Mode of access: <https://www.politico.eu/europe-poll-of-polls/spain/> (accessed: 20.03.2020)

² *L'Avenir en commun*, de la programme de la France Insoumise // Laec.fr. – Mode of access: <https://laec.fr/chapitre/1/la-6e-republique> (accessed: 20.03.2020)

пятствует восстановлению демократии и суверенитета народа¹. При этом под потерей суверенитета понимается и невозможность для народа контролировать власть, и утрата страной самостоятельности в международных отношениях из-за Евросоюза и НАТО².

Чтобы устранить «касту» и режим «президентской монархии», необходимо «покончить с Пятой республикой»³ и установить Шестую республику, которая вернет народу власть, Франции – утраченный суверенитет и осуществит «гражданскую революцию» – широкомасштабную программу социальных, экономических и экологических реформ⁴.

Энергичное начало президентской кампании Меланшона и возможность того, что он сможет пройти во второй тур, вызвали среди инвесторов, воспринимавших его как «французскую версию Уго Чавеса», легкую панику (какой не вызвало прохождение во второй тур Марин Ле Пен) [Agustin, Briziarelli, 2018, p. 281]. Впрочем, меры, предлагавшиеся Меланшоном, были скорее умеренными: пересмотр некоторых программ приватизации, поощрение кооперативов работников, поддержка малого и среднего бизнеса, сокращение разрыва в доходах между работниками и высшим менеджментом компаний⁵.

Хотя Меланшон получил в первом туре выборов свыше 7 млн, или 19,58% голосов (в 2012 г. – 11%), он занял все то же четвертое место, что и в 2012 г.⁶ А на выборах в Европарламент

¹ L'Avenir en commun... // Laec.fr. – Mode of access: <https://laec.fr/section/4/abolir-la-monarchie-presidentielle> (accessed: 20.03.2020)

² L'Avenir en commun... // Laec.fr. – Mode of access: <https://laec.fr/chapitre/5/pour-l-independance-de-la-france> (accessed: 20.03.2020)

³ Programme du Parti de Gauche // Parti de Gauche. – Mode of access: <https://www.lepartidegauche.fr/programme-du-parti-de-gauche/> (accessed: 20.03.2020)

⁴ L'Avenir en commun... // Laec.fr. – Mode of access: <https://laec.fr/chapitre/1/la-6e-republique> (accessed: 30.03.2020)

⁵ L'Avenir en commun... // Laec.fr. – Mode of access: <https://laec.fr/section/21/mobiliser-l-argent-pour-financer-les-petites-et-moyennes-entreprises-et-la-creation-d-emploi> (accessed: 30.03.2020); L'Avenir en commun... // Laec.fr. – Mode of access: <https://laec.fr/section/22/proteger-et-generaliser-l-economie-sociale-et-solidaire-et-l-economie-collaborative> (accessed: 20.03.2020); L'Avenir en commun... // Laec.fr. – Mode of access: <https://laec.fr/section/30/augmenter-les-salaires> (accessed: 30.03.2020)

⁶ Résultats de l'élection présidentielle 2017 // Ministère de l'Intérieur. – Mode of access: [https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Presidentielles/elecresult_presidentielle-2017/\(path\)/presidentielle-2017/FE.html](https://www.interieur.gouv.fr/Elections/Les-resultats/Presidentielles/elecresult_presidentielle-2017/(path)/presidentielle-2017/FE.html) (accessed: 30.03.2020)

весной 2019 г. рассыпался и потерпел разгром весь левый фланг французской политики. Хотя «Непокоренная Франция» и получила 6,31% голосов и шесть мандатов (единственная из леворадикальных партий Франции), она потеряла по сравнению с парламентскими выборами 2017 г. 1 млн голосов и по сравнению с президентскими выборами – 5,5 млн¹.

Каковы были причины этого? Скорее всего, избиратели, на которых рассчитывал Меланшон, не поверили ему. Для них он, бывший министр и сенатор, был таким же представителем «касты», как и все другие политики. Не случайно с движением «желтых жилетов», начавшимся в конце 2018 г., не смогли установить контакты ни левые, ни правые, ни тем более центристы [Сергеев, Кузьмина, 2019, с. 136]. Подражать «Подemos» и латиноамериканским лидерам, трансплантируя метафоры и символы, сработавшие в Испании и Латинской Америке, было, вероятно, не лучшей стратегией. Возможно, свою роль в поражении «Непокоренной Франции» также сыграла неопределенность ее стратегии, которая колебалась между «объединением левых» и «объединением народа» и в результате не смогла осуществить ни то ни другое [Сергеев, Кузьмина, 2019, с. 136].

Успехи левых радикалов в Греции и в Испании были во многом обусловлены наличием массового протестного движения, дававшего леворадикальным политикам мощный импульс извне; во Франции такого движения не было ни в 2012 г., ни в 2017 г., а когда оно появилось (хотя было не таким уж массовым), то стало действовать в соответствии со своей логикой, не доверяя никому из политиков (хотя Меланшон и объявил движение «желтых жилетов» проявлением той «гражданской революции», о которой он говорил²). Тем не менее требование «желтых жилетов» об изменении Конституции в интересах полновластия народа может свидетельствовать о влиянии на это движение программы Меланшона³.

¹ Résultats des élections européennes 2019 // Ministère de l'Intérieur. – Mode of access: <https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/Communiqués/Resultats-des-elections-europeennes-2019> (accessed: 10.03.2020)

² Hamlaoui J. Convention. Après des turbulences, FI mise sur les gilets jaunes // l'Humanité. – 2018. – Décembre. – Mode of access: <https://www.humanite.fr/convention-apres-des-turbulences-fi-mise-sur-les-gilets-jaunes-664787> (accessed: 20.03.2020)

³ La charte officielle des 25 revendications des Gilets Jaunes // Le libre penseur. – Mode of access: <https://www.lelibrepenseur.org/la-charte-officielle-des-25-revendications-des-gilets-jaunes/> (accessed: 30.03.2020)

Таким образом, на левом фланге западноевропейской политики в течение последних 10–15 лет появилась группа партий, или «партийная семья», левее социал-демократии, стремящихся выработать новую идентичность, отличную и от коммунистической, и от социал-демократической. Стремление к разрыву с коммунистическим прошлым ярко маркирует их символику – и эмблематическую, и вербальную: «старые» левые радикалы используют пятиконечную звезду, серп и молот, новые – изобретают свои символы. Для дискурсивных стратегий «новых» левых радикалов характерно конструирование «народа», или «народного большинства», противопоставляемого «тем, кто наверху», «касте», «олигархии». Но при всей резкости антикапиталистической и антилиберальной риторики конфликт этих «новых» левых радикалов с системой носит скорее агонистический, а не антагонистический характер: они хотят не разрушить старые институты, а отвоевать их у противоположной стороны, в которой они видят уже не врага, как «старые» левые радикалы, а соперника, за которым признается право на существование.

Список литературы

- Астахова Е.В. «Штурм небес», или Особенности политического дискурса «Подemos» // Ибероамериканские тетради. – 2016. – № 1(11). – С. 21–28.
- Малинова О.Ю. Конструирование смыслов. Исследование символической политики в современной России. – М.: ИНИОН РАН, 2013. – 421 с.
- Сергеев С.А., Кузьмина С.В. Движение «желтых жилетов» и левые радикалы во Франции // Среднерусский вестник общественных наук. – 2019. – № 3. – С. 127–138. – DOI: <https://doi.org/10.22394/2071-2367-2019-14-3-126-138>
- Хенкин С.М. Феномен «Подemos» // Ибероамериканские тетради. – 2016. – № 1(11). – С. 15–20.
- Agustin O.G., Briziarelli M. Left-wing populism and the assault on the establishment // Podemos and the new political cycle. Left-wing populism and anti-establishment politics / O.G. Agustin, M. Briziarelli (eds). – Cham: Palgrave Macmillan, 2018. – P. 281–294. – DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-63432-6>
- Franze J. The podemos discourse: a journey from antagonism to agonism // Podemos and the new political cycle. Left-wing populism and anti-establishment politics / O.G. Agustin, M. Briziarelli (eds). – Cham: Palgrave Macmillan, 2018. – P. 49–69. – DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-63432-6>
- Iglesias P. Spain on edge // New left review. – 2015. – N 93. – May-June. – P. 23–42.
- Laclau E., Mouffe Ch. Hegemony and socialist strategy. Toward a radical democratic politics. – L.: Verso, 1985. – 197 p.

March L., Rommerskirchen Ch. Out of left field? Explaining the variable electoral success of European radical left parties // *Party politics*. – 2015. – Vol. 21, N 1. – P. 40–53. – DOI: <https://doi.org/10.1177/1354068812462929>

Mouffe Ch. Deliberative democracy or agonistic pluralism. – Wien: Institut für Höhere Studien (IHS), 1999. – 18 p. – Mode of access: <https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/1312/> (accessed: 20.03.2020)

Mouffe Ch. The democratic paradox. – L.: Verso, 2000. – 192 p.

S.A. Sergeev*
Political symbols and symbolic policy
of the Western European left radical parties

Abstract. The concept of agonistic democracy put forward by Ch. Mouffe opposes both the understanding of political conflict as antagonistic, the parties of which regard each other as implacable enemies, and the actual denial of the conflict in the consensus theories of democracy. This concept, in which a political conflict is seen as a struggle between two opponents, each of which recognizes the legitimacy of the other, has found its implementation in the activities of new left-wing radical parties that have appeared in Western Europe over the past 10–15 years. Their appearance was a reaction to the crisis and the decline of most of the «old» left-wing radical parties that came after the fall of the Berlin Wall and the collapse of the USSR. The «new» left-wing radicals seek to develop their own identity, which is different from the communist and social-democratic ones, which is also manifested in the new emblematic symbols they invent, which are not like the sickle, hammer, and five-pointed star of the «old» left-wing radicals, and in the new discursive strategies. On the example of the Podemos party (Spain), as well as the Left Party of France and the Party «Unconquered France», it is examined how the «new» left radicals construct the subject of political action – «people», «popular majority» or simply «We», opposed «Those above», «caste», «oligarchy». But with all the harshness of anti-capitalist and anti-liberal rhetoric, the conflict of «new» left-wing radicals with the system is more agonistic than antagonistic: they want not to destroy the old institutions, but to win them back from the opposite side, not to replace democracy with the dictatorship of the advanced class, but to «return» its people and expand it.

Keywords: symbol; left radicals; Podemos; Unconquered France.

For citation: Sergeev S.A. Political symbols and symbolic policy of the Western European left radical parties. *Political science (RU)*. 2020, N 3, P. 172–189. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.03.08>

* **Sergeev Sergey**, Kazan (Volga Region) Federal University (Kazan, Russia),
e-mail: SASergeev@kpfu.ru

References

- Agustin O.G., Briziarelli M. Left-wing populism and the assault on the establishment. In: *Podemos and the new political cycle. Left-wing populism and anti-establishment politics*. O.G. Agustin, M. Briziarelli (eds). Cham: Palgrave Macmillan, 2018, P. 281–294. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-63432-6>
- Astahova E.V. «The storm of heaven» or features of the political discourse «Podemos». *Iberoamerikanskije tetrad*. 2016, N 1(11), P. 21–28. (In Russ.)
- Franze J. The Podemos discourse: a journey from antagonism to agonism. In: *Podemos and the new political cycle. Left-wing populism and anti-establishment politics*. O.G. Agustin, M. Briziarelli (eds). Cham: Palgrave Macmillan, 2018, P. 49–69. DOI: <https://doi.org/10.1007/978-3-319-63432-6>
- Henkin S.M. The phenomenon «Podemos». *Iberoamerikanskije tetrad*. 2016, N 1(11), P. 15–20. (In Russ.)
- Iglesias P. Spain on edge. *New Left Review*. 2015, N 93, P. 23–42.
- Laclau E., Mouffe Ch. *Gegemony and socialist strategy. Toward a radical democratic politics*. L.: Verso, 1985, 197 p.
- Malinova O.Yu. *The construction of meanings. The study of symbolic politics in modern Russia*. M.: INION RAN, 2013, 421 p. (In Russ.)
- March L., Rommerskirchen Ch. Out of left field? Explaining the variable electoral success of European radical left parties. *Party politics*. 2015, Vol. 21, N 1, P. 40–53. DOI: <https://doi.org/10.1177/1354068812462929>
- Mouffe Ch. *Deliberative democracy or agonistic pluralism*. Wien: Institut für Höhere Studien (IHS), 1999, 18 p. Mode of access: <https://irihs.ihs.ac.at/id/eprint/1312/> (accessed: 20.03.2020)
- Mouffe Ch. *The democratic paradox*. L.: Verso, 2000, 192 p.
- Sergeev S.A., Kuz'mina S.V. «Yellow Vest» movement and left radicals in France. *Srednerusskij vestnik obshchestvennyh nauk*. 2019, N 3, P. 127–138. DOI: <https://doi.org/10.22394/2071-2367-2019-14-3-126-138> (In Russ.)

РАКУРСЫ

С.А. БОКЕРИЯ, Д.А. СИДОРОВ*

ЭВОЛЮЦИЯ ПОДХОДОВ СТРАН БРИКС К «ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ЗАЩИТЕ»

Аннотация. Трехступенчатая трансформация «гуманитарная интервенция – личностная безопасность – ответственность по защите (R2 P)» отражает поиски международным сообществом наиболее эффективных форм защиты населения от преступлений против человечества, геноцида, этнических чисток. Доказав свою несостоятельность, концепция гуманитарной интервенции привела к формализации в 2005 г. концепции *responsibility to protect*, призванной стать действенным инструментом в области обеспечения мира и безопасности. В статье рассматриваются подходы стран БРИКС, принявших активное участие в разработке R2 P, к ее интерпретации на современном этапе. Противоречивое смысловое содержание и правовая неоформленность концепции затрудняют ее реализацию на практике и делают исследователей R2 P на две группы. Ключевой целью статьи является исследование эволюции позиций стран БРИКС по R2 P.

Ключевые слова: международное право; международная безопасность; принудительные меры; гуманитарная интервенция; личностная безопасность; ответственность по защите; R2 P; БРИКС; ООН.

Для цитирования: Бокерия С.А., Сидоров Д.А. Эволюция подходов стран БРИКС к «ответственности по защите» // Политическая наука. – 2020. – № 3. – С. 190–214. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.03.09>

* **Бокерия Светлана Александровна**, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры теории и истории международных отношений, Российский университет дружбы народов (Москва, Россия), e-mail: bokeria_sa@pfur.ru; **Сидоров Дмитрий Алексеевич**, кандидат политических наук, старший научный сотрудник отдела политической науки, ИНИОН РАН (Москва, Россия); старший преподаватель кафедры теории и истории международных отношений, Российский университет дружбы народов (Москва, Россия), e-mail: d.a.sidorov@mail.ru

© Бокерия С.А., Сидоров Д.А., 2020

DOI: 10.31249/poln/2020.03.09

Конец XX в. был отмечен изменением характера вооруженных столкновений. Внутренние конфликты в государствах заменили межгосударственные конфликты, и мирные жители стали составлять подавляющее большинство жертв различных происшествий. Акты широкомасштабного насилия потребовали укрепления международно-правовой базы, касающейся государственных обязательств по защите гражданского населения. Геноцид в Руанде, Камбодже и Боснии, преступления в Восточном Тиморе, Косово и Дарфуре обернулись для международного сообщества провалом стратегии предотвращения жестоких преступлений, показав несостоятельность прежних механизмов реагирования и постконфликтного строительства.

Сначала данная ситуация привела к активизации дискуссий в академических кругах по тематике безопасности общества и человека (концепция *human security*), сместив дебаты, посвященные предотвращению кризисов, государству и проблемам суверенитета, на второй план; позже возникла необходимость в пересмотре концепции гуманитарной интервенции и ее трансформации в доктрину *responsibility to protect* (далее – R2 P), как «более решительного ответа на самые грубые нарушения прав человека» [Morris, 2015].

Из анализа динамики цитирования *responsibility to protect* в англоязычной академической литературе, официальных документах и научных статьях за 14 лет видно, что последние шесть лет наблюдается снижение научного интереса к тематике R2 P (рис.).

Это связано с тем, что государства так и не смогли согласовать и утвердить единообразное толкование положений Итогового документа Всемирного саммита 2005 г., в котором официально была оформлена суть R2 P. Однако за 14 лет доктрина *responsibility to protect* суммарно упоминалась в различных источниках более 1,236 млн раз. Это свидетельствует о том, что тематика R2 P стала частью глобального дискурса.

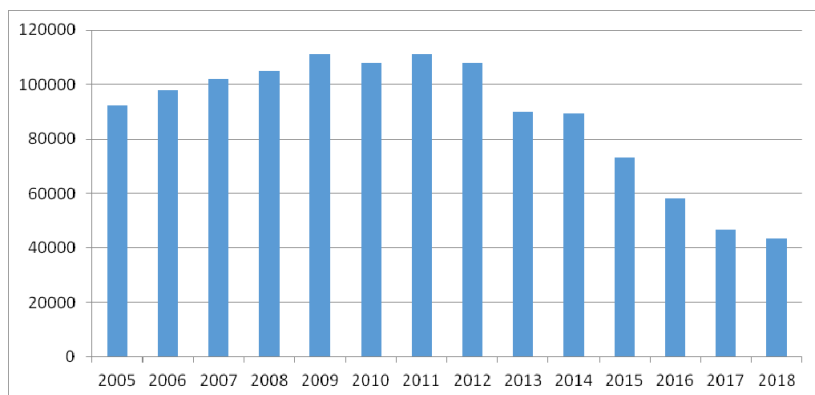


Рис.

Динамика цитирования *responsibility to protect* (2005–2018)

Источник: составлено авторами на основе данных сервиса «Google Scholar»

В научном сообществе концепция R2 P трактуется по-разному. А. Беллами, австралийский эксперт и директор Азиатско-Тихоокеанского центра R2 P Университета Квинсленда, считает, что данная концепция «является не отдельной нормой, но совокупностью общепризнанных мнений, которые апеллируют к разным понятиям» [Bellamy, 2012]. Д. Схеффер, бывший посол США в ООН, пишет, что «принцип R2 P за короткий промежуток времени достиг риторического присутствия в международной политике и праве, вызвав как одобрение, так и скептицизм» [Scheffer, 2009]. Данное суждение лишь подчеркивает антагонистическую двойственность в восприятии концепции.

Среди исследователей сформировались две основные группы, придерживающиеся различных точек зрения о роли концепции в международной политике и праве. Первая группа экспертов связывает концепцию с пересмотром идеологии суверенитета и расширением международного инструментария по предотвращению смертельных конфликтов. Бразильские авторы Э.П. Хаманн и Р. Магга полагают, что R2 P защищает право на предотвращение конфликтов, а не право на вмешательство, что по своей сути является пересмотром суверенитета как ответственности [Hamann, Muggah, 2013]. По словам Кофи Аннана, бывшего Генерального секретаря ООН, который популяризировал данную доктрину, «R2 P утверждает, что, ко-

гда государства не могут или не будут защищать свое население от жестоких преступлений, другие государства, действуя через ООН, должны это сделать»¹. Помощник Генерального секретаря ООН по правам человека И. Шимонович считает, что R2 P является «ответственностью государств по защите населения»² от геноцида, этнических чисток, военных преступлений и преступлений против человечества.

Вторая группа исследователей (в частности, Т. Рейнольд [Reinold, 2010] и Л. Гленвилль [Glanville, 2016]) полагают, что концепция создала новое правовое основание для использования силы, называя R2 P нормой международного права. Э. Лак, специальный советник Генерального секретаря ООН, позиционирует R2 P как «политическую приверженность» [Luck, 2009]. К аналогичному выводу приходит американский исследователь Дж. Итон в результате анализа дебатов в Генеральной Ассамблее ООН 2005 и 2009 гг. Автор предпринял попытку определить сущностное содержание концепции R2 P и ответить на вопрос, чем же на самом деле является эта доктрина: нормой, консенсусом, новым правом или обязанностью [Eaton, 2011]. Профессор Л.В. Павлова позиционирует R2 P как «одну из наиболее актуальных и обсуждаемых проблем в современных международных отношениях» [Павлова, 2013], В.С. Котляр – как концепцию [Котляр, 2012], А.В. Худайкулова – как доктрину, принцип и концепцию [Худайкулова, 2016, с. 420–421].

Проведенный анализ литературы показывает, что правовой статус R2 P неоднозначен. Однако, несмотря на это, данная концепция активно продвигается на различных площадках: *The Global Centre for the Responsibility to Protect*³ (один из главных некоммерческих центров продвижения и реализации нормы R2 P в мире),

¹ *Annan K. Prevention, promotion and protection: our shared responsibility // International coalition for the responsibility to protect. – 2012. – Mode of access: <http://www.responsibilitytoprotect.org/index.php/component/content/article/136-latest-news/4145-kofi-annan-speech-prevention-promotion-and-protection-our-shared-responsibility> (accessed: 26.04.2020)*

² *Statement from Ivan Simonovic on the responsibility to protect // UN Web TV. – 2017. – Mode of access: <http://webtv.un.org/watch/statement-from-ivan-simonovic-on-the-responsibility-to-protect/5360550187001?video=play> (accessed: 29.03.2020)*

³ *The Global Centre for the Responsibility to Protect. – Режим доступа: <http://www.globalr2p.org/> (дата посещения: 14.04.2020)*

*The International Coalition for the Responsibility to Protect*¹ (НПО, созданная с целью усиления нормативного потенциала концепции), *The Asia Pacific Centre for the Responsibility to Protect*² (региональный центр R2 P, имеющий влияние на работу ООН в данном направлении), *World Federalist Movement*³ (НКО, основанная в США с целью содействия глобальному миру и справедливости). Данным целям также служит и специализированное средство массовой информации – журнал *The Global Responsibility to Protect*⁴. Следовательно, R2 P из теоретического концепта трансформировалась в часть глобального дискурса на новых специализированных площадках, способствующих практической реализации доктрины.

От «гуманитарной интервенции» к концепции responsibility to protect (R2 P)

Начиная с 1980-х годов в научном и политическом сообществах активно обсуждалась концепция «гуманитарной интервенции», суть которой в том, что в случае преследований со стороны властей в отношении групп населения в какой-либо стране, сопровождавшихся этнической чисткой или геноцидом, и непринятия мер правительством этой страны для прекращения данных нарушений прав человека другие государства получали право вмешаться в целях защиты населения, используя формат военных операций. Сторонники военного вмешательства под эгидой помощи гражданскому населению отстаивали возможность вторжения в обход санкций Совета Безопасности ООН (СБ ООН). Данный подход был поддержан американским правительством и блоком НАТО, в частности, администрацией Б. Клинтона и Дж. Буша-младшего. Принятые доктрины НАТО в 1999 г. и США в 2002 и 2006 гг. включали полномочия США и НАТО по выполнению

¹ The International Coalition for the Responsibility to Protect. – Режим доступа: <http://www.responsibilitytoprotect.org/> (дата посещения: 14.04.2020)

² The Asia Pacific Centre for the Responsibility to Protect. – Режим доступа: <https://r2pasiapacific.org/> (дата посещения: 14.04.2020)

³ World Federalist Movement. – Режим доступа: <http://www.wfm-igp.org/about/overview> (дата посещения: 14.04.2020)

⁴ The Global Responsibility to Protect Journal. – Mode of access: <http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals/1875984x> (accessed: 14.04.2020)

военных вторжений в любую точку мира в соответствии с решениями президента США или Совета НАТО, причем игнорируя позицию СБ ООН [Котляр, 2012].

Начатые НАТО в одностороннем порядке войны в Югославии в 1999 г. и Вашингтоном в Ираке в 2003 г., невзирая на позицию СБ ООН, имели серьезные последствия для населения, обернувшись кризисом в отношениях между европейскими странами и США в рамках НАТО. Это стало ключевым фактором для пересмотра концепции «гуманитарной интервенции» и коллективной ответственности государств как среди политической элиты мира, так и ученых-международников.

Выражая обеспокоенность последствиями гуманитарных катастроф и игнорированием роли СБ ООН в вопросах военного вмешательства, Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан на Генеральной Ассамблее (ГА ООН) в 1999 и в 2001 гг. инициировал в СБ ООН дискуссию о том, каким образом следует реагировать на ситуации массовых нарушений прав и свобод человека. Аннан заявил, что только СБ ООН уполномочен решать, сложилась ли в государстве угрожающая ситуация, требующая силового вмешательства¹.

Активизация вооруженных конфликтов внутри государств, грубые нарушения основных прав и свобод мирного населения, игнорирование полномочий Совета Безопасности ООН в сфере обеспечения международной безопасности стали правовыми и политическими предпосылками для выработки новой концепции под названием *responsibility to protect* (R2 P).

Концептуальные основы концепции R2 P были официально озвучены в декабре 2001 г., когда правительство Канады использовало этот термин в отчете Международной комиссии по вопросам вмешательства и суверенитета (Комиссия Эванса – Сахнуна). В докладе отмечалось, что право на суверенитет не только предоставляет любому государству возможность осуществлять контроль над внутренними делами, но также обязывает защищать людей, проживающих на территории данной страны. Было подчеркнуто, что в случае неспособности государства защитить своих граждан ответствен-

¹ The Question of Intervention – Statements by the Secretary-General Kofi A. Annan // UN Department of Public Information. – 2000. – 58 p.

ность с целью защиты людей переходит к международному сообществу¹.

Новая концепция была призвана ответить на вопросы, которые беспокоили мировую общественность: какие действия предпринять в ответ на масштабные несоблюдения прав человека и преступления против человечества? Как международному сообществу следует отвечать на геноцид, этнические чистки и массовые злодеяния, если мирные инструменты урегулирования конфликтов исчерпаны или оказались неэффективными? Кто принимает решение о формате и основаниях реагирования на преступления против гражданских лиц? Какие меры надо принять, чтобы предотвратить подобные катастрофы в будущем?

Ключевые положения концепции были изложены в Итоговом документе Всемирного саммита ООН 2005 г.², согласно которому государства несут основную ответственность по защите населения, проживающего на их территории, от геноцида, военных правонарушений, преступных деяний против человечества и этнических конфликтов. Цель международной общественности – оказать им экспертное, дипломатическое и гуманитарное содействие в исполнении данных обязательств. Принудительные меры могут применяться международным сообществом лишь при таких обстоятельствах, когда мирные меры недостаточны и государственные органы власти не могут защитить своих граждан в силу определенных причин. Соответствующая резолюция может быть принята исключительно СБ ООН в соответствии с VII главой Устава Организации Объединенных Наций³.

В 2008 г. Генеральный секретарь ООН назначил Эдварда Лака, специалиста по международным конфликтам, профессора Ко-

¹ The responsibility to protect. Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty // [Responsibilitytoprotect.org](http://responsibilitytoprotect.org). – Canada; Ottawa: ICISS, 2001. – 91 p. – Mode of access: <http://responsibilitytoprotect.org/ICISS%20Report.pdf> (accessed: 14.04.2020)

² Итоговый документ Всемирного саммита 2005 года. Принят резолюцией 60/1 Генеральной Ассамблеи от 16 сентября 2005 года // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. – Режим доступа: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/outcome2005.shtml (дата посещения: 17.04. 2020)

³ Устав ООН // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. – Режим доступа: <http://www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html> (дата посещения: 29.04. 2020)

лумбийского университета, своим специальным советником для развития идей, связанных с тематикой «обязанности защищать», и содействия ГА ООН в этой сфере.

В опубликованном в 2009 г. Докладе Генерального секретаря ООН «Выполнение обязанности защищать» (A/63/677) была представлена трехкомпонентная стратегия по осуществлению плана действий в целях защиты: 1) обязательства государств в отношении защиты; 2) международная помощь и формирование потенциала; 3) своевременное и решительное реагирование¹.

Возник вопрос, должны ли эти компоненты применяться последовательно? Другими словами, когда международное сообщество может предлагать свою помощь государству: прежде, чем главная ответственность государства за защиту своего населения будет полностью исчерпана, или позже?

По словам Генерального секретаря ООН, «все три компонента должны быть готовы к использованию в любой момент, поскольку не существует установленной последовательности перехода от одного к другому, особенно при осуществлении стратегии раннего и гибкого реагирования»². В Докладе Генерального секретаря ООН «Мобилизация коллективных действий: следующее десятилетие обязанности защищать», опубликованном в 2016 г., говорится, что все три компонента являются взаимно поддерживающими, а обязанности, которые связаны с каждым элементом, могут реализовываться одновременно. К примеру, в ходе действий по защите своих граждан от злодеяний государство параллельно может попросить целевую помощь по конкретному политическому направлению в рамках второго компонента с целью укрепления своего потенциала. Однако это не отменяет главной ответственности самого государства перед своими гражданами³.

¹ Implementing the responsibility to protect: Report of the Secretary-General № A/63/677 от 12.01.2009 г. // Официальный сайт ООН. – Mode of access: <https://undocs.org/A/63/677> (accessed 18.04. 2020)

² Там же.

³ Мобилизация коллективных действий: следующее десятилетие обязанности защищать: Доклад Генерального секретаря ООН № A/70/999-S/2016/620 от 22.07.2016 г. // Responsibility to protect.org. – Режим доступа: [http://www.responsibilitytoprotect.org/SG%20Report%202016-%20Mobilizing%20collective%20action-%20the%20next%20decade%20of%20the%20responsibility%20to%20protect%20\(RUSSIAN\).pdf](http://www.responsibilitytoprotect.org/SG%20Report%202016-%20Mobilizing%20collective%20action-%20the%20next%20decade%20of%20the%20responsibility%20to%20protect%20(RUSSIAN).pdf) (дата посещения: 18.04. 2020)

Вопрос о допустимости вмешательства во внутрисостоятельные конфликты, его границах и условиях стал одним из приоритетов международной повестки дня. Этому способствовала реализация на практике подхода, при котором отдавалось предпочтение применению силы в ущерб принципу суверенного равенства государств. Исследователи считают ярким примером реализации данного подхода операцию НАТО в Ливии в 2011 г. Подобное применение концепции повлекло за собой неоднозначные результаты: усугубление конфликтов, дестабилизацию ситуации в регионе и т.д.

Когда речь идет о вторжении в дела другого государства, всегда возникает вопрос о его предпосылках и характере: «Интервенция или защита?». Проблема вмешательства в дела суверенного государства с целью защиты гражданского населения вызывает широкие дискуссии на мировой арене, в рамках которых пересекаются темы прав человека, личностной безопасности, международных отношений, международного гуманитарного права, прав беженцев¹. Заметную роль в возникновении споров относительно «вмешательства» сыграла и многозначность самого понятия, различия в понимании его смысла. Часть исследователей отождествляют вмешательство с военной интервенцией, другие – с дипломатическим давлением, применением политических или экономических санкций [Benner, 2013]. Аналогичная проблема с отсутствием единого международного прочтения существует и в отношении понятия личностной безопасности. Пока академическое сообщество разных стран не придет к консенсусу по поводу определения и компонентного состава концепции human security, политикам сложно будет обосновать ее использование и применение на практике [Бокерия, 2017, с. 322].

Позиции стран БРИКС по R2 P

Россия, Китай и другие страны – партнеры по БРИКС, многие участники Движения неприсоединения единогласно заявляют

¹ Ответственность по защите: своевременное и решительное реагирование. Доклад Генерального секретаря ООН A/66/874-S/2012/578 // Responsibilitytoprotect.org. – 2012. – 25.07. – 20 с. – С. 4. – Режим доступа: <http://responsibilitytoprotect.org/2012%20Russian.pdf> (дата посещения: 18.04. 2020)

о необходимости правильного толкования концепции именно в рамках Итогового документа. Научное сообщество Бразилии и Китая активно разрабатывает данную проблематику, создавая собственные концепции и дополняя существующие положения R2 P.

Бразильская версия R2 P

Бразильская трактовка «ответственность *при* защите» (с англ. *responsibility while protecting*, или RWP), распространенная неофициально в рамках ГА ООН в 2011 г., а затем оформленная официально, изначально не задумывалась как альтернатива первичной концепции R2 P. По сути, обе концепции должны разрабатываться совместно, дополняя друг друга, и в перспективе стать единой доктриной. Бразилия стала первой страной «Большого Юга», предложившей собственное видение R2 P.

В бразильской концепции сделана ставка на превентивную дипломатию в деле снижения риска вооруженных столкновений и подчеркнут приоритет использования всех возможных мирных вариантов защиты населения от насилия. Применение силы предусматривается только с разрешения СБ ООН, в исключительных ситуациях – с санкции ГА ООН по резолюции 377 (V) «Единство в пользу мира»¹. Военные операции должны осуществляться в рамках международного права и согласно мандату СБ ООН или ГА ООН. Разрешение на применение силы должно строго ограничиваться правовыми, временными и оперативными критериями. Военные операции должны быть направлены на уменьшение негативных последствий и не вести к дестабилизации ситуации, соответствовать тем целям, которые обозначены в СБ ООН, при подотчетности Совету Безопасности ООН тех, кто применяет силу².

¹ Резолюция № 377 (V) ГА ООН «Единство в пользу мира» от 03.11.1950 // Официальный сайт ООН. – Режим доступа: <https://undocs.org/ru/A/RES/377%28V%29> (дата посещения: 18.04.2020)

² Обращение постоянного представителя Бразилии при ООН к Генеральному секретарю ООН № A/66/551-S/2011/701 от 11.11.2011 // Security Council Report. – Режим доступа: <https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BF9CF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/POC%20S2011%20701.pdf> (дата посещения: 20.05.2020)

Концепция RWP подчеркивает важность коллективной международной ответственности в целях защиты, которая на практике должна реализовываться преимущественно мирными методами. Тем не менее некоторые аспекты бразильской инициативы представляются спорными. Этот проект дублирует положение отчета комиссии Эванса – Сахнуна, согласно которому разрешается действовать в обход решению СБ ООН и провести военные действия согласно концепции «Ответственность при защите» в том случае, если работа Совета Безопасности будет отмечена разногласиями между постоянными членами. Иначе говоря, в ситуации нанесения населению ущерба в результате мятежа, гражданской войны, репрессий или серьезного нарушения работы государства, его бездействия или неспособности защитить своих граждан принцип невмешательства уступает место международной ответственности за защиту.

Среди спорных моментов бразильского проекта стоит отметить и то, что в нем не прописана роль региональных организаций в ходе военных операций по защите гражданского населения. В статье 52 Устава ООН говорится о предоставлении региональным организациям самостоятельности исключительно в отношении мирных способов урегулирования конфликтов. Однако что касается применения ими силы, то статья 53 строго указывает на необходимость предварительного получения разрешения от СБ ООН¹. Интересно, что доклад Комиссии Эванса – Сахнуна, со ссылкой на опыт Совета Безопасности ООН в ходе операций в Сьерра-Леоне и Либерии в 1990-х годах, допускает получение данных полномочий после начала или завершения операции региональными организациями. Очевидно, что эти ситуации можно расценивать как противоречия статье 53 Устава ООН.

В деле мирного разрешения конфликтных ситуаций компетенции региональной организации распространяются: в границах региона; в масштабе, прописанном в соответствующих документах; применительно только к своим членам. Региональная организация может легитимно применять силу, исключая случаи взаимопомощи членам организации при нападении извне, только когда

¹ Устав ООН. Глава VIII: Региональные соглашения // Официальный сайт Организации Объединенных Наций. – Режим доступа: <https://www.un.org/ru/sections/un-charter/chapter-viii/index.html> (дата посещения: 20.05.2020)

поступило обращение от правительства государства или с санкции СБ ООН. Представляется, что данные нюансы полномочий региональных организаций могли бы быть отражены в обновленной концепции.

Китайский подход к R2 P

Основные положения китайского подхода к R2 P «ответственная защита» (от англ. responsible protection или сокращенно RP) были выработаны Жуанем Цзунцзэ, заместителем директора Института международных проблем при МИД Китая, и опубликованы в июне 2012 г. в формате научной статьи в журнале «Китайские международные исследования» [Zongze, 2012].

Китайский проект характеризуется четкой определенностью в отношении объекта «защиты». Под объектом понимается только гражданское население данного государства, а также мир и стабильность рядом находящихся регионов. В состав понятия «объект защиты» не входят политические партии и объединения, вооруженные силы. Согласно китайскому подходу, предпринимаемые меры в целях защиты должны быть легитимными. Приоритет в плане разрешения операций по защите принадлежит СБ ООН, без мандата которого ни одно государство не имеет права действовать. Применение же военной силы допускается только в том случае, если предварительно были исчерпаны все возможные дипломатические и политические меры разрешения конфликта. При этом должны быть четко определены цели защиты. К основной цели относится предотвращение гуманитарной катастрофы, но без нанесения еще большего вреда государству операциями по защите, так как «защитники» должны нести ответственность не только за проведение военной операции, но также и за ее результат, постконфликтное восстановление. Механизмы контроля за осуществлением мер защиты и после их завершения должна устанавливать ООН [Zongze, 2012]. В целом идея «ответственной защиты» в китайской интерпретации базируется на целях и принципах, закрепленных в Уставе ООН.

Учитывая активную позицию и вовлеченность Китая в международную политику, особого внимания заслуживает интерпретация следующих международных принципов: 1) защита граждан

должна быть «ответственной», т.е. принудительные военные действия могут иметь место только в том случае, если политические интересы помогающих стран не направлены на свержение суверенного правительства; 2) силовое вмешательство может быть осуществлено только после одобрения СБ ООН; 3) ответственность не ограничивается вмешательством, важная роль отводится постконфликтному восстановлению. В этом смысле китайский подход к миростроительству по своей сути связан с целями экономической стабильности и развития государства [Menegazzi, 2012, p. 9].

Существует мнение, что китайская версия R2 P «описывает более узкий набор обстоятельств, при которых военное вмешательство в гуманитарных целях было бы уместным»¹. Исследователи отмечают некоторую двойственность подходов Китая при реализации концепции: с одной стороны, «потенциальная угроза со стороны R2 P в отношении его безопасности объясняет продолжающиеся усилия Пекина по ограничению развития нормы», с другой – «его стремление к статусу ответственной власти побуждает китайское правительство более активно и гибко взаимодействовать с R2 P» [Zheng Chen, 2016]. В 2001–2011 гг. Китай поддерживал R2 P в качестве нового механизма переоценки западных практик гуманитарной интервенции и вклада в постоянно изменяющийся многосторонний глобальный миропорядок, отражающий новый статус Китая как ответственного «глобального гражданина». В ходе глобальной демократической интервенционистской политики 2005–2014 гг., когда концепция R2 P была политизирована Западом, глобалистское видение Китая сменилось подходом, ориентированным на безопасность [Kozyrev, 2016].

В ходе дебатов в ГА ООН по вопросам R2 P Китай предложил долгосрочный подход к защите населения путем создания концепции общей устойчивой безопасности и сообщества «совместного будущего» всего человечества. Также Китай поддержал позицию Генерального секретаря ООН об исключении произвольного толкования R2 P или злоупотребления положениями Итогового документа 2005 г. Кроме того, была подчеркнута необходимость развития превентивной дипломатии и усиления мер

¹ Garwood-Gowers A. China and the responsibility to protect // Oxford Research Group. – 2016. – May. – Mode of access: <https://www.oxford-researchgroup.org.uk/blog/china-and-the-responsibility-to-protect> (accessed: 28.03.2020)

профилактики в очагах конфликтов, а также использования невоенных методов обеспечения безопасности граждан. Согласно позиции Китая, применение принудительных мер можно рассматривать лишь в случае их соответствия Уставу ООН, а также исчерпания всех возможных мирных средств решения проблем¹.

Позиция России в отношении R2 P

В основе внешней политики Российской Федерации лежат принципы верховенства международного права, уважения территориальной целостности и суверенитета государств, невмешательства во внутренние дела, ведущей и координирующей роли ООН в международных отношениях, мирного урегулирования споров и конфликтов. Эти принципы определяют формирование российского подхода к R2 P.

Российская Федерация принимала активное участие в подготовке элементов концепции «ответственности по защите», вошедших в Итоговый документ Всемирного саммита 2005 г. Однако, как отметил бывший постоянный представитель РФ в ООН В.И. Чуркин, с момента принятия этого документа некоторые государства не оставляют попыток расширительной трактовки концепции. Более того, подходы многих стран в рамках Совета ООН по правам человека и Комиссии по миростроительству также характеризуются политизацией и стремлением навязать собственные приоритеты, что в значительной степени снижает эффективность работы этих механизмов².

Поэтому Россия настороженно относилась к R2 P и первым попыткам ее реализации – например, к идее создания экспертной рабочей группы по защите гражданского населения (2008), попыткам произвольной и слишком широкой интерпретации самой кон-

¹ Statement by Counselor Yao Shaojun at the General Assembly Debate on the Responsibility to Protect and the Prevention of Genocide, War Crimes, Ethnic Cleansing and Crimes against Humanity // Permanent Mission of the People's Republic of China to the UN Web-site. – 2018. – Mode of access: <http://chnun.chinamission.org.cn/eng/hyyfy/t1573682.htm> (accessed: 27.04.2020)

² Чуркин В.И. ООН перешагнула седьмой десяток. Что дальше? // Российская газета. – 2015. – Режим доступа: <https://rg.ru/2015/10/23/oon.html> (дата посещения: 25.05.2020)

цепции (2009), предложениям о формировании специального механизма Совета Безопасности по R2 P (2010) [Барановский, 2018, с. 116].

В 2011 г. Россия поддержала бразильский проект RWP как «представляющий несомненный интерес» и согласилась «принять конструктивное участие в его разработке», однако выступила против заложенной в нем идеи о возможности передачи соответствующих полномочий от Совета Безопасности Генеральной Ассамблее ООН¹.

Настороженное отношение России к R2 P прослеживается и в концептуальных внешнеполитических документах, в частности, в Концепциях внешней политики РФ 2013 и 2016 гг., где говорится о недопустимости «осуществления под предлогом реализации концепции “ответственность по защите” военных интервенций и прочих форм стороннего вмешательства, нарушающих нормы международного права, в частности принцип суверенного равенства государств», а также о намерении «противодействовать попыткам использования правозащитных концепций в качестве инструмента политического давления и вмешательства во внутренние дела государств, в том числе в целях их дестабилизации и смены законных правительств»²³.

На площадке ООН российские дипломаты неоднократно обращали внимание мировой общественности на проблемы, связанные с реализацией R2 P. В частности, речь шла о необходимости оказания со стороны ООН самой активной поддержки государствам после прекращения активных боевых действий, на этапе поли-

¹ Выступление постоянного представителя России при ООН В.И. Чуркина на заседании СБ ООН от 09.11.2011 // Официальный сайт МИД России. – 2011. – Режим доступа: https://www.mid.ru/organs/-/asset_publisher/AfvTBPbEYay2/content/id/183918 (дата посещения: 19.04.2020)

² Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 12 февраля 2013 г.) (утратила силу) // Официальный сайт МИД России. – 2013. – Режим доступа: https://www.mid.ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptlCkB6BZ29/content/id/122186 (дата посещения: 25.05.2020)

³ Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации В.В. Путиным 30 ноября 2016 г.) // Официальный сайт МИД России. – 2016. – Режим доступа: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/official_documents/-/asset_publisher/CptlCkB6BZ29/content/id/2542248 (дата посещения: 25.05.2020)

тического урегулирования и миростроительства¹. Говорилось об отсутствии каких-либо единых критериев оценки эффективности выполнения противоборствующими сторонами обязательств по защите гражданских лиц и необходимости учитывать на данном направлении экономическую, социальную, историческую, религиозную и культурную специфику стран и регионов, а также характер каждого конфликта, первопричин и путей его урегулирования². Звучала критика в адрес инициатив по внесению в повестку дня ГА ООН нового пункта «Ответственность по защите» по причине непроработанности концепции, несогласия ряда государств с ее расширительной интерпретацией и серьезных споров относительно ее наполнения³. Подвергался критике и Доклад Генерального секретаря ООН, предлагалось зафиксировать в нем текущее состояние дел в обсуждении концепции, указать все имеющиеся точки зрения и обозначить спорные аспекты, по которым государствам необходимо договориться⁴.

По мере наращивания внешнеполитической активности России и более энергичного использования ею силового потенциала апелляция к логике R2 P тем не менее не стала основой для дейст-

¹ Выступление Постоянного представителя Российской Федерации В.И. Чуркина на заседании Совета Безопасности ООН по теме «Защита гражданских лиц» // Официальный сайт Постоянного представительства Российской Федерации при ООН. – 2011. – Режим доступа: https://russiaun.ru/ru/news/civillians_in_conflicts (дата посещения: 25.05.2020)

² Выступление заместителя Постоянного представителя Российской Федерации С.Н. Карева на заседании Совета Безопасности ООН по теме «Защита гражданских лиц» // Официальный сайт Постоянного представительства Российской Федерации при ООН. – 2012. – Режим доступа: https://russiaun.ru/ru/news/sc_civilians_protection (дата посещения: 25.05.2020)

³ Выступление заместителя Постоянного представителя Российской Федерации при ООН Е.Т. Загайнова при принятии повестки дня Генеральной Ассамблеи ООН (в отношении пункта «Ответственность по защите») // Официальный сайт Постоянного представительства Российской Федерации при ООН. – 2017. – Режим доступа: https://russiaun.ru/ru/news/ga_rtp (дата посещения: 25.05.2020)

⁴ Выступление заместителя Постоянного представителя Российской Федерации при ООН Г.В. Кузьмина на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН по пункту повестки дня «Ответственность по защите и предотвращение геноцида, военных преступлений, этнических чисток и преступлений против человечности» // Официальный сайт Постоянного представительства Российской Федерации при ООН. – 2019. – Режим доступа: <https://russiaun.ru/ru/news/prot280619> (дата посещения: 25.05.2020)

вий Москвы. Даже в ситуациях, когда Россия напрямую была вовлечена в конфликты (например, грузино-осетинский конфликт (2008), сирийский конфликт (с 2015 г.)), а также в других случаях, когда имелись формальные основания для использования R2 P (просьба правительства Киргизии о военной помощи в период революции (2010), воссоединение Крыма с Россией (2014), конфликт на Юго-Востоке Украины (с 2014 г.)), Москва не задействовала механизм R2 P.

Отношение Индии к R2 P

Во время Всемирного саммита 2005 г. представитель Индии крайне критически отнесся к концепции R2 P, к ее правовой основе и целям, заявив, что это будет способствовать повышению вмешательства Запада в дела других государств [Hall, 2013, p. 93].

В 2011 г. Индия заняла место непостоянного члена СБ ООН, вскоре на повестке дня Совета оказался вопрос об урегулировании ситуации в Ливии и применении на практике R2 P. Индия сначала была положительно настроена по отношению к действиям по урегулированию кризиса. Так, в феврале 2011 г. Дели поддержал резолюцию 1970, которая предусматривала, в том числе, введение санкций. Но от голосования по Резолюции 1973 Индия воздержалась. Представитель Дели Манжив Сингх Пури заявил о необходимости делать акцент на политических усилиях, призвал соблюдать суверенитет, целостность и территориальную неприкосновенность Ливии, а также обратил внимание на недостаточную проработанность возможных мер принуждения, так как не было определено, кто будет в них участвовать и какими средствами и как конкретно будут осуществляться такие меры¹.

В октябре 2011 г., когда на рассмотрении СБ ООН был вопрос о ситуации в Сирии, Индия воздержалась при голосовании по резолюции (ветированной Китаем и Россией), которая сформулировала сирийский кризис в терминах R2 P. Манжив Сингх Пури утверждал, что Индия согласна с основополагающими принципа-

¹ Заседание Совета Безопасности ООН по повестке дня «Ситуация в Ливии» 17 марта 2011 г. // Официальный сайт ООН. – Режим доступа: <https://undocs.org/ru/S/PV.6498> (дата посещения: 25.05.2020)

ми R2 P, но настаивает на том, что государства также несут ответственность за «защиту своих граждан от вооруженных групп и ополченцев» [Dunne, Teitt, 2015, p. 384].

Таким образом, позицию Индии в отношении R2 P можно охарактеризовать как сдержанную. Большую озабоченность Дели вызывает третий компонент концепции, предусматривающий использование силы. Представляется, что силовой подход противоречит некоторым культурным ценностями страны – ненасилию, терпимости, плюрализму и иерархии. Как следствие, Индия делает акцент на первые два столпа концепции, отдавая предпочтение мирным мерам, участию посредников и специальных представителей, задействованию наблюдательных миссий, в том числе при участии региональных организаций.

ЮАР и доктрина R2 P

Подход R2 P созвучен заявленным принципам южноафриканской международной политики, включая поощрение прав человека, демократии, справедливости и разрешение конфликтов посредством региональных мирных мероприятий. Однако позиция государства заключается в том, что основную ответственность за урегулирование кризисов под эгидой СБ ООН должны нести региональные организации, так как они способны обеспечить лучшее понимание проблем региона и выработку средств для их решения [Bokeriya, Omo-Ogbebor, 2016, p. 282].

Южноафриканская Республика принимала активное участие в работе Африканского союза по урегулированию кризиса в Ливии, а при обсуждении ситуации в Ливии в рамках СБ ООН в 2011 г. ЮАР стала единственным государством среди стран БРИКС, поддержавшим Резолюцию 1973. Представитель Южной Африки Б. Сангку отметил важность введения дополнительных мер, таких как прекращение огня и установление закрытой для полетов зоны, которые были призваны стать элементом обеспечения защиты гражданских лиц и безопасных условий доставки гуманитарной помощи тем, кто

наиболее уязвим, и тем, кто отчаянно в ней нуждается¹. При этом ЮАР выступала за сохранение суверенитета и территориальной целостности Ливии и против любой иностранной оккупации или одностороннего военного вторжения под предлогом защиты гражданского населения².

Однако последовавшие за этим события повлияли на изменение позиции ЮАР по отношению к R2 P. Хотя Южная Африка по-прежнему поддерживает идею защиты гражданского населения, она выступает за консультативный, региональный подход и все более критически относится к избирательному применению и милитаризации R2 P [Smith, 2016]. Претория подчеркивает свою поддержку первому и второму компонентам R2 P, считая, что обеспечение безопасности требует всеобъемлющего политического, экономического и военного подхода. Но после практического использования концепции в Ливии Южная Африка стала одним из самых яростных критиков интервенции [Verhoeven, Murthy, Oliveira, 2014].

Заключение

В целом страны БРИКС поддерживают концепцию R2 P в том виде, в котором она нашла отражение в Итоговом документе 2005 г., и, несмотря на некоторые различия в подходах, признают авторитет ООН в обеспечении надлежащей защиты мирных граждан. Когда дело дошло до реализации этой концепции в конкретных ситуациях, все страны БРИКС оказались недовольны результатом. Их критика в отношении процесса реализации концепции не означает отказ от R2 P, а скорее призывает к более детальной регламентационной структуре того, как и когда она применяется. Подходы стран БРИКС во многом сходятся в отношении необходимости проработки существующих противоречий, недопущения злоупотреблений, значимости превентивной дипломатии и важности постконфликтного миростроительства.

¹ Заседание Совета Безопасности ООН по повестке дня «Ситуация в Ливии» 17 марта 2011 г. // Официальный сайт ООН. – Режим доступа: <https://undocs.org/ru/S/PV.6498> (дата посещения: 25.05.2020).

² Там же.

Важную роль в формировании R2 P играют официальные дискуссии и дебаты в Генассамблее ООН. Во-первых, данные мероприятия содействуют открытым обсуждениям и популяризации тематики R2 P в академической среде и между государствами, помогая определить проблемы в реализации концепции на практике. Во-вторых, позволяют государствам обмениваться опытом и своими наработками. Являясь ключевой структурой ООН, принимающей решения, ГА ООН может устанавливать план развития и приоритеты R2 P. Поскольку группа стран БРИКС все активнее участвует в формировании международных норм и правил, представляется целесообразным ее участие в проработке аспектов концепции R2 P – с акцентом на ненасильственные, дипломатические и превентивные методы. Отдельные элементы бразильской концепции RWP и китайских предложений RP могли бы стать основой для будущего обсуждения R2 P в рамках БРИКС и выработки согласованных подходов группы для оглашения на заседаниях ГА ООН.

Предметом обсуждения в рамках БРИКС могла бы стать тема содержания докладов Генерального секретаря ООН с целью включения в них информации о текущем состоянии дел в обсуждении концепции, указания всех имеющихся точек зрения и спорных аспектов, по которым государствам необходимо договариваться. Помимо этого, совместными усилиями страны БРИКС могли бы инициировать дополнение трехкомпонентной стратегии по осуществлению плана действий в целях защиты четвертым компонентом «Помощь международного сообщества в посткризисном урегулировании и восстановлении».

Ливийский прецедент, в рамках которого страны НАТО вышли далеко за рамки Резолюции СБ ООН 1973, оказал существенное влияние на эволюцию подходов стран группы БРИКС в отношении R2 P. Представляется значимой выработка в рамках БРИКС согласованных подходов по вопросам регулярной отчетности «защитников» перед СБ ООН, содержащих этапы восстановления правопорядка и улучшения жизни населения.

На фоне общего обострения отношений России с западными странами возможности R2 P как инструмента коллективно согласованной реакции на возникающие в международной среде проблемы гуманитарного плана сокращаются, поскольку все так или иначе вовлеченные в новую конфронтацию страны демонстрируют снижение готовности к взаимодействию и сотрудничеству и вза-

имную подозрительность. При этом причины, приведшие к возникновению R2 P, остаются и будут сохранять актуальность и после вступления международных отношений в посткризисную фазу. Имеющийся опыт развития и реализации R2 P неоднозначен, но он показывает как серьезные проблемы, так и потенциал для сотрудничества. Координация в рамках БРИКС в отношении R2 P будет способствовать не только минимизации разногласий между странами – участницами группы, но и, возможно, формированию более широкого консенсуса в отношении R2 P как действенного механизма формирующейся системы международных отношений.

Список литературы

- Барановский В.Г. Россия: эволюция взглядов на «ответственность по защите» // Пути к миру и безопасности. – 2018. – № 1 (54). – С. 115–128. – DOI: <https://doi.org/10.20542/2307-1494-2018-1-115-128>
- Бокерия С.А. Концепция личностной безопасности в практике ООН // Вестник РУДН. Серия: Международные отношения. – 2017. – Т. 17, № 2. – С. 312–324. – DOI: <https://doi.org/10.22363/2313-0660-2017-17-2-312-324>
- Котляр В. «Ответственность при защите» и «арабская весна» // Международная жизнь. – 2012. – № 9. – Режим доступа: <https://interaffairs.ru/jauthor/material/740> (дата посещения: 30.04.2020)
- Павлова Л.В. Концепция «ответственность за защиту»: анализ и правовая оценка // Журнал международного права и международных отношений. – 2013. – № 4. – С. 2–8.
- Худайкулова А.В. Теории безопасности третьего мира // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. – 2016. – № 3. – С. 412–425.
- Bellamy A. Massacres and morality: mass atrocities in an age of civilian immunity. – Oxford: Oxford University Press. – 2012. – 392 p. – DOI: <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199288427.001.0001>
- Benner T. Brazil as a norm entrepreneur: the “Responsibility While Protecting” initiative // GPPi working paper. – 2013. – March. – 11 p. – Mode of access: https://www.gppi.net/media/Benner_2013_Working-Paper_Brazil-RWP.pdf (accessed: 10.05.2020)
- Bokeriya S.A., Omo-Ogbebor D.O. Boko Haram: a new paradigm to West Africa security challenges // Vestnik RUDN. International Relations. – 2016. – Vol. 16, N 2. – P. 274–284.
- Dunne T., Teitt S. Contested intervention: China, India, and the responsibility to protect // Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations. – 2015. – Vol. 21, N 3. – P. 371–391. – DOI: <https://doi.org/10.1163/19426720-02103003>

- Eaton J.* An Emerging norm – determining the meaning and legal status of the responsibility to protect // *Michigan Journal of International Law*. – 2011. – Vol. 32, N 4. – P. 766–804.
- Glanville L.* Does R2 P matter? Interpreting the impact of a norm // *Cooperation and Conflict*. – 2016. – Vol. 51, N 2. – P. 184–199. – DOI: <https://doi.org/10.1177/0010836715612850>
- Hall I.* Tilting at Windmills? The Indian debate on responsibility to protect after UNSC 1973 // *Global Responsibility to Protect*. – 2013. – Vol. 5, N 1. – P. 84–108.
- Hamann E.P., Muggah R.* Implementing the responsibility to protect: new directions for international peace and security? – Brasilia: IGARAPÉ Institute. – 2013. – 90 p.
- Kozyrev V.* Harmonizing ‘Responsibility to Protect’: China’s vision of a post-sovereign world // *International Relations*. – 2016. – Vol. 30, N 3. – P. 328–345. – DOI: <https://doi.org/10.1177/0047117816659589>
- Luck E.* Sovereignty, choice, and the responsibility to protect // *Global Responsibility to Protect*. – 2009. – Vol. 1, N 1. – P. 10–21. – DOI: <https://doi.org/10.1163/187598409X405451>
- Menegazzi S.* China reinterprets the liberal peace. – 2012. – December. – 17 p. – (IAI Working Papers; N 12 (30)). – Mode of access: <http://www.iai.it/sites/default/files/iaiw1230.pdf> (accessed: 29.04.2020)
- Morris J.* The responsibility to protect and the use of force: remaking the Procrustean bed? // *Cooperation and Conflict*. – 2015. – Vol. 51, N 2. – P. 200–215. – DOI: <https://doi.org/10.1177/0010836715612852>
- Reinold T.* The Responsibility to protect – much about nothing? // *Review of International Studies*. – 2010. – Vol. 36, N 51. – P. 55–78. – DOI: <https://doi.org/10.1017/s0260210510000446>
- Smith K.* South Africa and the responsibility to protect: from champion to sceptic // *International Relations*. – 2016. – Vol. 30, N 3. – P. 391–405. – DOI: <https://doi.org/10.1177/0047117816659596>
- Scheffer D.* Atrocity crimes framing the responsibility to protect // *Responsibility to protect: the global moral compact for the 21 st century* / R.H. Cooper, J.V. Kohler (eds). – New York: Palgrave. – 2009. – P. 77–98. – DOI: https://doi.org/10.1057/9780230618404_6
- Verhoeven H., Murthy C.S.R., Oliveira R.S.* “Our identity is our currency”: South Africa, the responsibility to protect and the logic of African intervention // *Conflict, Security & Development*. – 2014. – Vol. 14, N 4. – P. 509–534. – DOI: <https://doi.org/10.1080/14678802.2014.930594>
- Zheng Chen.* China and the responsibility to protect // *Journal of Contemporary China*. – 2016. – Vol. 25, N 101. – P. 686–700. – DOI: <https://doi.org/10.1080/10670564.2016.1160500>
- Zongze R.* Responsible protection: building a safer world // *China International Studies*. – 2012. – June. – Vol. 34. – Mode of access: http://www.ciis.org.cn/english/2012-06/15/content_5090912.htm (accessed: 19.04.2020)

S.A. Bokeriya, D.A. Sidorov*
**Evolution of the BRICS countries’
approaches to the «responsibility to protect»**

Abstract. The three-stage transformation in the framework of «humanitarian intervention – personal security – responsibility to protect (R2 P)» reflects the international community's search for the most effective forms of protecting the population from crimes against humanity, genocide, and ethnic cleansing. The concept of humanitarian intervention turned out to be untenable, and in 2005 the «responsibility to protect» was formalized. Responsibility to protect concept was intended to become an effective tool in the field of ensuring peace and security. The article deals with the approaches of the BRICS countries, which took an active part in the development of the R2 P, to its interpretation at the present stage. The contradictory semantic content and legal non-formality of the concept make it difficult to implement it in practice and divide R2 P researchers into two main groups. The key goal of the article is to study the evolution of the positions of the BRICS countries on R2 P.

Keywords: international law; international security; enforcement measures; humanitarian intervention; personal security; responsibility to protect; R2 P; BRICS; UN.

For citation: Bokeriya S.A., Sidorov D.A. Evolution of the BRICS countries' approaches to the «responsibility to protect». *Political science (RU)*. 2020, N 3, P. 190–214. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.03.09>

References

- Baranovsky V. Evolution of Russia's approaches to the «responsibility to protect». *Pathways to Peace and Security*. 2018, N 1 (54), P. 115–128. DOI: <https://doi.org/10.20542/2307-1494-2018-1-115-128> (In Russ.)
- Bellamy A. *Massacres and morality: mass atrocities in an age of civilian immunity*. Oxford: Oxford University Press, 2012, 392 p. DOI: <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199288427.001.0001>
- Benner T. Brazil as a norm entrepreneur: the «Responsibility While Protecting» initiative. *GPPi working paper*. 2013, March, 11 p. – Mode of access: https://www.gppi.net/media/Benner_2013_Working-Paper_Brazil-RWP.pdf (accessed: 10.05.2020)
- Bokeriya S.A., Omo-Ogbebor D.O. Boko Haram: a new paradigm to West Africa security challenges. *Vestnik RUDN. International Relations*. 2016, Vol. 16, N 2, P. 274–284.

* **Bokeriya Svetlana**, Peoples' friendship university of Russia (Moscow, Russia), e-mail: bokeria_sa@pfur.ru; **Sidorov Dmitry**, Institute of Scientific Information for Social Sciences of the Russian Academy of Sciences (INION RAS); Peoples' friendship university of Russia (Moscow, Russia), e-mail: d.a.sidorov@mail.ru

- Bokeriya S.A. Human security concept in the UN practice. *Vestnik RUDN. International Relations*. 2017, Vol. 17, N 2, P. 312–324. DOI: <https://doi.org/10.22363/2313-0660-2017-17-2-312-324> (In Russ.)
- Dunne T., Teitt S. Contested intervention: China, India, and the responsibility to protect. *Global Governance: A Review of Multilateralism and International Organizations*. 2015, Vol. 21, N 3, P. 371–391. DOI: <https://doi.org/10.1163/19426720-02103003>
- Eaton J. An emerging norm – determining the meaning and legal status of the responsibility to protect. *Michigan Journal of International Law*. 2011, Vol. 32, N 4, P. 766–804.
- Glanville L. Does R2 P matter? Interpreting the impact of a norm. *Cooperation and Conflict*. 2016, Vol. 51, N 2, P. 184–199. DOI: <https://doi.org/10.1177/0010836715612850>
- Hall I. Tilting at Windmills? The Indian Debate on Responsibility to Protect after UNSC 1973. *Global Responsibility to Protect*. 2013, Vol. 5, N 1, P. 84–108.
- Hamann E.P., Muggah R. *Implementing the responsibility to protect: new directions for international peace and security?* Brasilia: IGARAPÉ Institute, 2013, 90 p.
- Khudaykulova A.V. Third world security theories. *Vestnik RUDN. International Relations*. 2016, Vol. 16, N 3, P. 412–425. (In Russ.)
- Kotlyar V. «Responsibility to protect» and «the Arab spring». *International affairs*. 2012, N 9. Mode of access: <https://interaffairs.ru/jauthor/material/740> (accessed: 30.04.2020) (In Russ.)
- Kozyrev V. Harmonizing ‘Responsibility to Protect’: China’s vision of a post-sovereign world. *International Relations*. 2016, Vol. 30, N 3, P. 328–345. DOI: <https://doi.org/10.1177/0047117816659589>
- Luck E. Sovereignty, Choice, and the Responsibility to Protect. *Global Responsibility to Protect*. 2009, Vol. 1, N 1. P. 10–21. DOI: <https://doi.org/10.1163/187598409X405451>
- Menegazzi S. China reinterprets the liberal peace. *IAI Working Papers*. 2012, December. Vol. 12 (30), 17 p. Mode of access: <http://www.iai.it/sites/default/files/iaiw1230.pdf> (accessed: 29.04.2020)
- Morris J. The responsibility to protect and the use of force: remaking the Procrustean bed? *Cooperation and Conflict*. 2015, Vol. 51, N 2, P. 200–215. DOI: <https://doi.org/10.1177/0010836715612852>
- Pavlova L. The concept «responsibility to protect»: analysis and legal evaluation. *Journal of international law and international relations*. 2013, N 4, P. 2–8. (In Russ.)
- Reinold T. The Responsibility to Protect – much about nothing? *Review of International Studies*. 2010, Vol. 36, N S1, P. 55–78. DOI: <https://doi.org/10.1017/s0260210510000446>
- Smith K. South Africa and the responsibility to protect: From champion to sceptic. *International Relations*. 2016, Vol. 30, N 3, P. 391–405. DOI: <https://doi.org/10.1177/0047117816659596>
- Scheffer D. Atrocity crimes framing the responsibility to protect. In: R.H. Cooper, J.V. Kohler (eds). *Responsibility to protect: the global moral compact for the 21 st century*. New York: Palgrave, 2009, P. 77–98. DOI: https://doi.org/10.1057/9780230618404_6

- Verhoeven H., Murthy C.S.R., Oliveira R.S. «Our identity is our currency»: South Africa, the responsibility to protect and the logic of African intervention. *Conflict, Security & Development*. 2014, Vol. 14, N 4, P. 509–534. DOI: <https://doi.org/10.1080/14678802.2014.930594>
- Zheng Chen. China and the responsibility to protect. *Journal of Contemporary China*. 2016, Vol. 25, N 101, P. 686–700. DOI: <https://doi.org/10.1080/10670564.2016.1160500>
- Zongze R. Responsible protection: building a safer world. *China International Studies*. 2012, Vol. 34. Mode of access: http://www.cis.org.cn/english/2012-06/15/content_5090912.htm (accessed: 19.04.2020)

А.Л. ГУРИНСКАЯ*

**КОНФЛИКТЫ ЦЕННОСТЕЙ В ПРАВОТВОРЧЕСТВЕ:
ПОЛИТИКО-ПРАВОВАЯ ПРИРОДА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ОХРАННЫХ ОРДЕРОВ КАК ИНСТРУМЕНТА
ПРОФИЛАКТИКИ СЕМЕЙНО-БЫТОВОГО НАСИЛИЯ¹**

Аннотация. В работе констатируется существование длительного политико-юридического конфликта по поводу принятия закона о профилактике семейно-бытового насилия и утверждается, что этот конфликт отражает несовпадение ценностных представлений о пределах вмешательства государства в жизнь граждан в целях обеспечения безопасности. Охранный ордер (защитное предписание) рассматривается как ключевой объект конфликта в области правотворчества и уголовно-правовой политики. Анализ отношения сторон противоборства с этой мерой выявляет, что инициаторы принятия закона стоят на позиции о приоритете права на безопасность и государственную защиту для потерпевших, а их оппоненты отдают приоритет ценности права на неприкосновенность частной жизни. На основе обзора литературы о политико-правовой природе охранных ордеров, их законодательном регулировании, а также их обоснованности делается вывод о том, что эта мера носит принудительный характер, а ее применение не сопровождается должными процессуальными гарантиями. Защитные предписания относятся к категории принудительных превентивных мер, широкое распространение которых в качестве решений для профилактики преступности вызывает озабо-

* **Гуринская Анна Леонидовна**, доктор юридических наук, доцент, доцент кафедры междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук, Санкт-Петербургский государственный университет (Санкт-Петербург, Россия); доцент кафедры уголовного права, Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург, Россия), e-mail: a.gurinskaya@spbu.ru

¹ Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19–111–50667 «Экспансия» «Охранный ордер как инструмент профилактики семейно-бытового насилия: правовая природа и эффективность».

© Гуринская А.Л., 2020

DOI: 10.31249/poln/2020.03.10

ченность у юристов и криминологов. Выводы значительного числа исследований эффективности применения защитных предписаний не дает возможность однозначно утверждать, что этот инструмент позволяет снизить уровень рецидива и обеспечить защиту потерпевшему. Защитное предписание обладает конфликтно-генным потенциалом и в ряде случаев может приводить к эскалации насилия. Как один из способов разрешения правотворческого конфликта предлагается рассмотреть вариант об отказе от института защитных предписаний как основы профилактики семейных конфликтов и насилия в быту.

Ключевые слова: уголовная политика; ценностный конфликт; разрешение конфликтов; правотворчество; предупреждение преступности; защитные предписания; семейно-бытовое насилие.

Для цитирования: Гуринская А.Л. Конфликты ценностей в правотворчестве: политико-правовая природа и эффективность охранных ордеров как инструмента профилактики семейно-бытового насилия // Политическая наука. – 2020. – № 3. – С. 215–242. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.03.10>

Конфликты между группами, представляющими различные слои общества и различные политические интересы, по поводу и в процессе принятия нормативных правовых актов не являются редкостью. Большинство вносимых законопроектов сталкивается с критикой, а зачастую и с непримиримой оппозицией. В ходе предусмотренных законом процедур по общественному и парламентскому обсуждению законопроектов сторонам, как правило, удается согласовать позиции и прийти к консенсусу. Таким образом, эти конфликты являются частью нормального процесса правотворчества. Вместе с тем в ряде случаев конфликт обостряется до такой степени, что конструктивный диалог становится невозможен, и это исключает возможность принятия значимых для общества законов. Одним из ярких примеров такого конфликта является спор, разгоревшийся в конце 2019 г. по поводу принятия Закона «О профилактике семейно-бытового насилия». Закон в различных редакциях за последние 25 лет вносился в Государственную думу неоднократно, но до сих пор его принятие наталкивается на непреодолимые препятствия. Последний вариант законопроекта 29 ноября был опубликован на сайте Совета Федерации и за две недели собрал 11 186 комментариев¹, однако даже по прошествии

¹ Проект закона о профилактике семейно-бытового насилия // Совет Федерации. – Режим доступа: <http://council.gov.ru/services/discussions/themes/110611/> (дата посещения: 11.05.2020)

нескольких месяцев после завершения обсуждения ни одна из версий не была внесена на рассмотрение в Государственную думу.

Камнем преткновения, со слов одной из инициаторов принятия закона О. Пушкиной, является такой инструмент противодействия домашнему насилию, как охранный ордер. В одном из интервью депутат заявила: «По сути, это [охранный ордер] все, за что сейчас бьются копыя, все остальное – это накрутка и надумка, которая исходит от тех, кто считает, что семья – закрытая ячейка»¹. Ордер, предписывающий нарушителю избегать контактов с пострадавшей стороной, воздерживаться от дальнейших посягательств на нее под угрозой ответственности, действительно является краеугольным камнем законодательства о борьбе с домашним насилием во всем мире.

В настоящей работе мы рассмотрим конфликт по поводу принятия этого закона и такой меры, как защитные предписания, не просто как спор юридино-технического характера по поводу формулировок отдельных нормативных положений, а как фундаментальный спор о ценностях, лежащих в основе уголовной политики. Этот конфликт носит политико-правовой характер, поскольку затрагивает существо понимания различными группами границ государственного регулирования семейных отношений, степени их открытости для внешнего контроля, степени автономности личности, ее способности к принятию ответственных решений. Конфликт явно обнажает существование в обществе по меньшей мере двух принципиально отличных позиций по поводу того, насколько общественная и частная жизнь подлежит государственному регламентированию (пусть даже и в целях обеспечения безопасности личности или общества). Кроме того, противоборство по поводу законопроекта делает явным наличие конфликта о ценности определенных прав человека. В нем сталкиваются позиции сторонников приоритета права каждого человека и особенно потерпевших, на безопасность и государственную защиту, с одной стороны, и право каждого индивида на защиту частной жизни – с другой. Объектом конфликта являются многие положения законопроекта, но в первую очередь – предложение о введении института защит-

¹ «У мужчин нет воли признать эту проблему» // Meduza. – 2019. – 29 ноября. – Режим доступа: <https://meduza.io/feature/2019/11/29/u-muzhchin-net-voli-priznat-etu-problemu> (дата посещения: 11.05.2020)

ных предписаний, призванных изолировать стороны домашнего конфликта. Однако охранные ордера стали этим объектом не в силу несовершенства юридических конструкций, регламентирующих их применение. Они имеют политическое значение. Защитные предписания олицетворяют неолиберальные подходы к уголовной политике, приоритетом которых являются ценности безопасности, принудительной превенции, опоры на уголовно-правовые, регулятивные и правоохранительные механизмы борьбы с преступностью [Gurinskaya, Nalla, 2018]. Они символизируют отказ от социальной превенции, от опоры на общественные механизмы контроля, на внесударственные способы урегулирования конфликтов.

А.В. Глухова и Л.Н. Тимофеева диагностируют острую потребность в объяснении происходящих социально-политических процессов сквозь линзу политического конфликта, прогнозируя траекторию его развития, с целью регулирования и минимизации негативных последствий, являющихся результатом столкновений различных интересов в сфере политики [Глухова, Тимофеева, 2016]. В настоящей работе мы рассмотрим охранный ордер как объект продолжающегося политико-юридического конфликта, выявим, какие интересы и ценностные ориентации сталкиваются в ходе этого конфликта, каковы позиции его сторон. Далее мы подробно рассмотрим механизм действия защитных предписаний¹, который не был в достаточной степени проанализирован в отечественной литературе. Зарубежный опыт и международные стандарты в области противодействия насилию в отношении женщин описаны довольно подробно [Атагимова, 2018; Голованова, 2014; Голованова, 2020; Заброда, Заброда, 2016; Домашнее насилие ..., 2011], но охранные ордера получили лишь незначительное внимание [Евсикова, Жигулина, 2015; Тунина, 2010]. Исследовав литературу о политико-правовой природе охранных ордеров, их законодательном регулировании, а также их обоснованности как средства противодействия насилию, мы обратимся к вопросу об эффективности данной меры. На основе проделанного анализа в

¹ Здесь и далее, говоря об охранных ордерах, мы будем взаимозаменяемо использовать словосочетания «охранные ордера», «охранные предписания», «защитные предписания», «защитные ордера», «охранные приказы», «защитные приказы», а также аббревиатуру ЗП.

заключении мы представим некоторые идеи о возможных путях выхода из конфликта по поводу законодательного регулирования противодействия семейно-бытовому насилию.

Стороны конфликта и их позиции

Одной из сторон конфликта являются инициаторы законопроекта (депутаты Государственной думы О. Пушкина, О. Савостьянова, И. Роднина, Т. Касаева, Е. Вторыгина, адвокаты М. Давтян и А. Паршин, а также активистка и правозащитница А. Попова). Кроме того, в рабочие группы по подготовке разных вариантов законопроекта входили также и представители Совета Федерации, Совета по правам человека и развитию гражданского общества при Президенте РФ, Следственного комитета и судебных органов. Как следует из интервью инициаторов проекта, необходимость в его принятии назрела давно, поскольку действующее законодательство показывает неэффективность имеющихся мер, о чем свидетельствуют официальная статистика, число обращений в кризисные центры, а также «громкие» дела последних лет¹. Более 70 общественных организаций (правозащитных, феминистских и работающих с жертвами насилия) подписали открытое письмо в поддержку закона². Аргументами сторонников законопроекта являются утверждения об отсутствии четких и прозрачных механизмов противодействия семейному насилию; данные о том, что в отсутствие государственной защиты потерпевшие вынуждены прибегать к самозащите; высокий уровень обеспокоенности населения проблемой семейного насилия; позиция Европейского суда по правам человека об отсутствии в России норм, способных адекватно защитить пострадавших от насилия в семье; наличие аналогичных законов в 146 странах мира.

¹ Интервью с М. Давтян // Эхо Москвы. – 2019. – 27 ноября. – Режим доступа: https://echo.msk.ru/programs/a_team/2544087-echo/ (дата посещения: 11.05.2020)

² Более 70 правозащитных организаций и благотворительных фондов потребовали принять закон о домашнем насилии. Открытое письмо // Новая газета. – 2019. – 9 сентября. – Режим доступа: <https://novayagazeta.ru/news/2019/09/09/155147-pravozaschitniki-potrebovali-prinyat-zakon-o-domashnem-nasilii> (дата посещения: 11.05.2020)

Другой стороной конфликта являются представители ряда патриотических, родительских и «просемейных» общественных организаций, которых поддерживают и религиозные организации, прежде всего РПЦ. В октябре 2019 г. более 180 общественных организаций подписали обращение к Президенту РФ с призывом не допустить принятия закона¹. Основные аргументы противников следующие: чрезмерная широта дефиниций в законе; несовершенство института «охранного ордера»; наличие значительного числа иных нормативных правовых актов, которые позволяют бороться с семейным насилием, в связи с чем закон является избыточным; манипулирование статистикой со стороны инициаторов законопроекта; укорененность законопроекта в западной феминистской и «гендерной» идеологии; посягательство на конституционные права граждан (на жилище, частную собственность, свободу передвижения); противоречие семейным и нравственным ценностям.

Несмотря на существенные разногласия конфликтующих сторон по вопросу о достоверности статистики о семейном насилии, тот факт, что семейное насилие существует и наносит ущерб гражданам страны, не оспаривается ни одной из них. Споры между сторонниками и противниками законопроекта идут по поводу конкретных цифр: сколько человек ежегодно погибает от рук членов семьи, скольким наносятся физические увечья, психологические травмы, экономический ущерб. В условиях, когда в течение десятилетий реагирование на семейные конфликты не было для полиции приоритетным, а систематические, спонсируемые государством, масштабные опросы жертв (виктимологические опросы) не проводятся, любые заявления о росте, снижении или отсутствии преступлений на семейной почве спекулятивны. Вместе с тем, по данным ООН, уровень убийств, являющихся наименее латентным преступлением, в России в 2018 г. составил 8,2 на 100 тыс. населения (13 для мужчин и 4,1 для женщин). Всего было убито 3173 женщины. Для сравнения: уровень убийств составляет в Великобритании – 1,2, в Германии – 0,9, в США – 5 (7,8 для мужчин,

¹ Более 180 организаций выступили против закона о профилактике «семейного насилия» // МОО «За права семьи». – 2019. – 14 октября. – Режим доступа: <http://profamilia.ru/read/1427> (дата посещения: 11.05.2020)

2,2 для женщин), в Финляндии – 1,6¹. При этом от рук партнера в этих странах погибло в Великобритании (2015) 84 женщины, 31 мужчина; в Германии (2016) – 164 женщины, 17 мужчин; в Финляндии (2016) – 15 женщин, пять мужчин; в США (2016) – 1284, а в России (2016) – 860 женщин, 716 мужчин². Показатели насильственной преступности в России снижаются за последние 15 лет, продолжая оставаться высокими в сравнении с показателями европейских соседей, а вот показатели числа убийств от рук партнера – растут.

В условиях распространения коронавирусной инфекции и введенного режима самоизоляции страны сообщают о росте числа случаев семейного насилия. Генеральный секретарь ООН А. Гуттериш на своей странице в Twitter написал о вспышке домашнего насилия в мире в связи с пандемией и назвал ее «ужасающей»³. Об ухудшении ситуации, ссылаясь на данные НКО и журналистов, сообщает Уполномоченный по правам человека Т. Москалькова. Она заявила РИА «Новости» о том, что с начала эпидемии число обращений от потерпевших выросло в 2,5 раза⁴. Ряд общественных организаций, ранее поддерживавших инициаторов принятия закона, обратились к премьер-министру РФ М. Мишустину с просьбой принять экстренные меры по защите потерпевших в условиях карантина⁵. Другая сторона конфликта пока громких заявлений не

¹ Victims of Intentional homicide rate by sex/ counts and rates per 100,000 population // UNODC. – Mode of access: <https://dataunodc.un.org/data/homicide/Homicide%20rate%20by%20sex> (accessed: 11.05.2020)

² Victims of Intentional homicide rate by Intimate Partner/ Family Member, counts // UNODC. – Mode of access: <https://dataunodc.un.org/data/homicide/Intentional%20homicide%20by%20intimate%20partner> (accessed: 11.05.2020)

³ Генсек ООН увидел рост домашнего насилия на фоне карантина из-за вируса // РБК. – 2020. – 6 апреля. – Режим доступа: <https://www.rbc.ru/rbcfreeneews/5e8aa3589a79472edcace995> (дата посещения: 11.05.2020)

⁴ Татьяна Москалькова: домашнее насилие участилось за время самоизоляции // РИА Новости. – 2020. – 5 мая. – Режим доступа: <https://ria.ru/20200505/1570953246.html> (дата посещения: 11.05.2020)

⁵ Общественные организации попросили правительство защитить пострадавших от домашнего насилия в условиях карантина // Новая газета. – 2020. – 2 апреля. – Режим доступа: <https://novayagazeta.ru/news/2020/04/02/160362-obschestvennye-organizatsii-poprosili-pravительство-zaschitit-postradavshih-ot-domashnego-nasiliya-v-usloviyah-karantina> (дата посещения: 11.05.2020)

делает. Однако очевидно, что складывающаяся ситуация имеет потенциал для новой фазы обострения конфликта.

Политико-юридическое содержание института охранных ордеров и практика их применения за рубежом

Пионер в применении защитных предписаний – США. Впервые ордера были введены в штате Пенсильвания в 1976 г. Постепенно этот инструмент получил законодательное закрепление и с 1994 г., после принятия Акта о насилии в отношении женщин (Violence Against Women Act), в том или ином виде был введен во всех 50 штатах [Richards, Tudor, Gover, 2018], постепенно стал ключевой мерой и распространился по миру. Опыт использования защитных предписаний накоплен в более чем 120 странах, в том числе в ряде стран СНГ [Григорьев, Федорович, 2015; К вопросу о совершенствовании государственной семейной политики ..., 2019]. На международном уровне Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция) 2011 г.¹ предполагает как возможность издания срочных запретительных приказов, так и иных приказов об ограничениях или защите. Российская Федерация не подписала и не ратифицировала данную конвенцию. Ордер – наиболее часто используемый инструмент для противодействия семейному насилию. Ежегодно в США около 1 млн жертв обращаются за получением этого документа [No Contact, Except ..., 2016], в Канаде – около 17% потерпевших [No-contact orders ..., 2015], а в Швеции – около 30% [Strand, 2012]. В Австралии ордера также являются самой популярной мерой противостояния семейному насилию [Douglas, Fitzgerald, 2013].

Законодательное регулирование использования ордеров имеет свои отличия не только в целом в мире, но даже в рамках одной страны [Logan, Walker, 2009]. В них может различаться перечень случаев домашнего насилия, которые дают право на обращение за защитным предписанием: например, если физическое насилие яв-

¹ Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием // Council of Europe. – Режим доступа: <https://rm.coe.int/168046253f> (дата посещения: 11.05.2020)

ляется основанием для обращения за ордером во всех 50 штатах США, то психологическое – лишь в половине из них [Variation in state laws on access to civil protection orders ..., 2020]. Законодательство юго-восточных штатов США в наименьшей степени соответствует требованиям Акта о противодействии насилию в отношении женщин, получение ордера в этом регионе для потерпевшей сопряжено с наибольшими сложностями, в то время как штаты Среднего Запада гораздо более «дружелюбны» по отношению к женщине [DeJong, Burgess-Proctor, 2006, p. 77]. Постепенно штаты меняли свое законодательство, и к 2014 г. нормативные правовые акты стали более прогрессивными [Richards, Tudor, Gover, 2018]. Таким образом, защитное предписание – живой и постоянно развивающийся правовой инструмент.

В отечественном законопроекте «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ» предусмотрены две разновидности предписаний: внесудебные (на срок от 30 до 60 суток) и судебные (на срок до года). Право на их получение имеют лица, подвергшиеся насилию со стороны супругов, бывших супругов, лиц, с которыми у них имеются общие дети, близких родственников, а также совместно проживающих и ведущих совместное хозяйство лиц, связанных свойством. Предписание призвано защитить от такого умышленного деяния, которое причиняет или содержит угрозу причинения физического и / или психического страдания и / или имущественного вреда, но при этом не содержит признаки административного правонарушения или уголовного преступления. Предписание может содержать ряд запретов: совершать насилие; вступать в контакты с потерпевшим, в том числе телефонные или онлайн; выяснять место пребывания потерпевшего. Суд может обязать нарушителя покинуть место совместного жительства или пребывания с потерпевшим на срок действия предписания, но лишь в том случае, если у того есть возможность проживать в ином жилом помещении, например арендовать жилье.

Внимательное изучение положений законопроекта заставляет прийти к выводу, что мировая практика существенно отличается от механизма, предложенного в отечественном законопроекте. Во-первых, отечественный закон предлагает ограничить насильственные действия лишь незначительными проявлениями насилия – такими, которые не охватываются административным или уголовным законодательством. Во-вторых, российский законопроект не

содержит положений, позволяющих применить ордер в ситуации возбуждения производства по делу об административном правонарушении или уголовного дела. В-третьих, за рубежом жилищная ситуация нарушителя не принимается во внимание, и предписание не содержит указания на то, что в случае отсутствия возможности покинуть жилище нарушитель может продолжать проживать с жертвой. В-четвертых, в российском законопроекте имеется возможность выдачи предписания должностным лицом органа внутренних дел, т.е. вне судебной процедуры. Следует иметь в виду, что предписание налагает существенные ограничения на нарушителя, в связи с чем внесудебный порядок его издания вряд ли может быть признан оправданным.

Механизм действия и политико-правовая природа защитных предписаний

Механизм действия защитных предписаний может быть объяснен при помощи нескольких теорий. Прежде всего, значение имеют теория сдерживания и теория рутинных действий, являющиеся разновидностью криминологической теории возможностей (*opportunity theory*). Сдерживание достигается в результате следующих обстоятельств. Во-первых, предписания увеличивают риск задержания и наказания нарушителя: поскольку он знает, что реакция полиции на его действия более вероятна, он будет менее склонен идти на повторный риск. Во-вторых, предписания увеличивают объем затрат, необходимых для совершения преступления: нарушителю необходимо преодолевать дополнительные барьеры на пути к жертве, которая становится менее доступной [Protection orders for domestic violence ..., 2018]. С точки зрения теории рутинных действий задачей ордера является ограничение или исключение возможности совершить преступление: нарушитель проводит с жертвой меньше времени, что снижает вероятность совершения им повторного преступления. Однако исследование Л. Дуган и ее коллег 2001 г., основанное на анализе шести волн данных об убийствах за период с 1976 по 1996 г., показывает, что, несмотря на то что стратегия «снижения доступа» интуитивно кажется эффективной, в реальности положение дел зависит от множества дополнительных обстоятельств – пола, расы, семейного

положения, наличия детей, типа вмешательства [Dugan, Nagin, Rosenfeld, 2001].

Вместе с тем, используя теории напряжения Р. Мертон и Р. Эгню, криминология объясняет, почему предписания будут иметь эффект, прямо противоположный ожидаемому. Эти теории предполагают, что вероятность совершения преступления выше в той ситуации, когда партнер продолжает ценить отношения с жертвой, а возможность общения с ней исчезает, либо же в ситуации, когда индивид сталкивается с негативными стимулами [Merton, 1968; Agnew, 1992]. Итак, в теоретическом отношении ордер – это мера, которая с помощью угрозы санкций или путем воздействия на ситуативные факторы совершения преступления призвана не допустить совершения акта домашнего насилия в будущем. Охранные ордера относятся к специфической группе мер [Гурина, 2018, с. 217], которые в континентальной правовой традиции называются «мерами безопасности» [Понятовская, 2013, с. 99; Шестаков, 2014, с. 14; Щедрин, 1999, с. 23], а в англо-американской – «принудительными превентивными мерами» (*coersive preventive measure*) [Ashworth, Zedner, 2014, p. 20]. Их сущностью является то, что они применяются с целью предотвращения вреда интересам государства, общества или отдельной личности к индивиду, который рассматривается как представляющий угрозу этим интересам, носят принудительный характер и влекут за собой ограничение прав и свобод этого индивида. В соответствии с уголовным законодательством они не относятся к наказанию и вряд ли могут быть отнесены к мерам уголовно-правового воздействия. Вместе с тем Европейский суд по правам человека в своих решениях по делам *Энгель и др. против Нидерландов* (Engel et al. v. Netherlands), а также *М. против Германии* (M. v. Germany) указал, что в том случае, если мера по своему характеру, продолжительности или способу исполнения считается наносящей ощутимый ущерб, то ее следует признавать наказанием, а процедуру по ее применению считать уголовным преследованием и распространять на индивида все гарантии уголовного судопроизводства¹.

¹ См. пп. 80–85 Постановления ЕСПЧ по делу *Энгель (Engel) и другие против Нидерландов* от 8 июня 1976 г. – Режим доступа: http://europeancourt.ru/uploads/ECHR_Engel_and_Others_v_The_Netherlands_08_06_1976.pdf (дата посещения: 13.05.2020); *Case of M. v. Germany*. December 17. 2009. – Режим доступа:

Возникает вопрос, в какой степени позиция Суда может распространяться на процедуру издания такой превентивной меры, как защитное предписание?

Практика применения защитных приказов не идет по пути предоставления расширенного перечня процессуальных гарантий лицам, к которым эти меры применяются. В результате серьезные ограничения прав применяются к лицам, чья вина не была доказана в установленном законом порядке, а только предполагается. При принятии решения о применении этой меры должностное лицо или суд вынуждены оценивать риск событий, которые могут произойти в будущем. С одной стороны, издание защитного приказа – это не единственная ситуация, в которой необходимо оценить вероятность будущих событий. Такие оценки проводятся при избрании меры пресечения, назначении наказания и, в российской практике, мер административного надзора. Однако в этих случаях обвиняемому все же предоставляются уголовно-процессуальные гарантии, а подсчеты будущих рисков проводятся на основе установленных в процессуальном порядке фактов из прошлого. При применении превентивных мер этого не происходит. Звучат предложения о необходимости использования искусственного интеллекта для определения степени опасности нарушителя [Berk, Sorenson, Barnes, 2016], однако в настоящее время использование алгоритмов даже при назначении наказания сопряжено с большими сложностями как правового, так и практического характера [Wisser, 2019].

Защитные предписания являются лишь одним снарядом в широком арсенале принудительных превентивных мер. Современная система борьбы с преступностью настолько опирается на превенцию и принцип предосторожности, что юристы и криминологи называют современное государство «превентивным государством» [Steiker, 1998; Janus, 2006] и «государством безопасности» [Hallsworth, Lea, 2011], в котором риторика обеспечения безопасности с помощью чрезвычайных предупредительных мер заменила риторику реакции. Логика «превентивного государства» заключается в том, что реагировать на преступление поздно – вред уже нанесен. Надо любой ценой и на самой ранней стадии остановить

потенциального нарушителя закона, а того, кто уже доказал свою опасность, изолировать в превентивных целях. Такая опора на принудительную превенцию трактуется юристами как атака на сами основы уголовного права и путь к его разрушению [Ashworth, Zedner, 2008]. «Превентивный поворот» бьет по самой идее ценности индивида как автономного, разумного, наделенного свободой воли и способного отвечать за свои действия [Гуриная, 2018, с. 30]. Криминологи с сожалением констатируют отказ превентивной уголовной политики от ресоциализации, исправления, взгляда на преступление как результат взаимодействия сложных социальных процессов [O'Malley, 2010, p. 1–2]. Идеи о необходимости общесоциальной превенции, борьбы с бедностью, поддержки образования заменены опорой на принудительные меры, которым сложно найти место в действующей системе права.

Эффективность охранных ордеров

Существует немало исследований, которые ставили задачу оценки эффективности защитных предписаний. Все они сталкиваются с рядом методологических проблем. Самой главной является выбор индикатора, который будет использоваться для оценки того, работают ли предписания. Индикаторы могут отражать как объективные параметры (арест после вынесения ордера и его нарушения, рецидив насилия, снижение тяжести повторных случаев насилия), так и субъективные ощущения потерпевшего – безопасности, контроля над собственной жизнью. Другой методологической сложностью является то, что в исследованиях используются разные источники данных о рецидиве и нарушениях предписаний (данные из полицейских отчетов или самоотчетов жертв) [The effectiveness of protection orders ..., 2019]. Еще одной проблемой является то, что рандомизированные эксперименты редки в криминологии, поэтому в большинстве работ об эффективности отсутствуют контрольные группы.

В дополнение к отдельным исследованиям учеными было проведено шесть обзоров литературы, которые систематизировали имеющиеся работы. В статье Б. Шпитцберга 2002 г. обобщаются результаты 32 исследований за период с 1985 по 2001 г. применения ЗП в ситуациях преследований (сталкинга) [Spitzberg, 2002].

В среднем предписания нарушаются в 40% случаев, хотя разброс составляет от 3 до 79%. Девять исследований показали, что в 21% случаев ЗП ведут к негативным последствиям, таким как эскалация насилия или stalking [Spitzberg, 2002, p. 276]. В связи с этим автор делает вывод, что предписания могут вызывать ложное ощущение защищенности и повышать риски дальнейшей виктимизации для потерпевшего [Spitzberg, 2002, p. 276].

Обзор К. Джордан 2004 г. отражает результаты небольшого числа исследований за период с 1996 по 2004 г. [Jordan, 2004]. Автор указывает на наличие смешанных результатов относительно субъективной эффективности ордеров, а также их эффективности в снижении уровня рецидива. Согласно одним данным, уровень насилия после получения ЗП снизился от 66 до 92%. Другие же показывают, что уровень рецидива составляет от 48,8 до 60%, в том числе тяжкого насилия – 29% [Jordan, 2004, p. 1425–1426]. Важными факторами, повышающими вероятность рецидива, являются наличие совместных детей и короткий срок совместных отношений. Требования ЗП нарушаются в 20–40% случаев. Нарушителей задерживают лишь менее чем в половине случаев нарушения (44%), и вероятность ареста зависит от субъективных оценок опасности нарушителя полицейским. Но даже в случае наличия высокого риска ревиктимизации число арестов составляет лишь 75% [Jordan, 2004, p. 1425].

К. Бенитез, Д. МакНил, Р. Байндер озаглавили свою обзорную статью 2010 г. «Защищают ли охранные ордера?» [Benitez, McNiel, Binder, 2010, p. 383]. Систематическим образом для обзора были отобраны 15 источников. Уровень нарушений предписаний в изученных исследованиях варьировался от 7,1 до 81,3%. Авторы выявили, что наибольшее число нарушений происходит в течение трех месяцев после выдачи предписания. На степень риска влияет и социально-экономический статус жертвы: женский пол, низкий уровень дохода, совместные с нарушителем дети повышают риски. Молодые мужчины, совершавшие насильственные действия в прошлом, не имеющие стопроцентной занятости, злоупотребляющие алкоголем и наркотиками и имеющие проблемы с психическим здоровьем, более склонны нарушать требования предписаний. Ряд проанализированных авторами исследований демонстрирует вероятность эскалации насилия в случае получения ордера.

Б. Рассел для обзора 2012 г. выбрала 43 научные статьи [Russel, 2012]. Оценки эффективности предписаний отличаются в зависимости от типа исследования. Масштабные лонгитюдные исследования содержат доказательства того, что получение ЗП повышает уровень безопасности жертвы: число обращений в полицию после получения ордера снизилось на 70–80% для случаев физического насилия и на 60% – для психологического насилия. Небольшие же исследования показывают, что получившие предписания подвергаются большим рискам повторной виктимизации, чем те, кто не получил ордера, особенно при продолжении совместного проживания с обидчиком [Russel, 2012, p. 536]. В целом результаты небольших исследований свидетельствуют, что ЗП нарушаются почти в половине случаев [Russel, 2012, p. 537]. Вместе с тем получение ордера положительно сказывается на психологическом благополучии потерпевшей. Однако это более характерно для женщин, проживающих в городах, чем для женщин из сельской местности. В конечном счете Рассел утверждает, что «эффективность предписаний находится в глазах смотрящего» [Russel, 2012, p. 544].

В обзор К. Даулинга, Э. Моргана, Ш. Ульме, М. Мэннинга, Г. Вонга 2018 г. попали 63 эмпирических исследования, оценивающих эффективность ЗП в Австралии, Новой Зеландии, Великобритании, Канаде и США с 1980 по 2016 г. [Protection orders for domestic violence ..., 2018]. Дизайн лишь четырех из них предполагал наличие контрольной группы. Результаты метаанализа четырех работ, предполагавших наличие контрольной группы, показали, что жертвы, которые получили ЗП, реже становились потерпевшими повторно, т.е. частота случаев снизилась. Однако авторы указывают, что, хотя эти результаты статистически значимы, размер эффекта является скромным [Protection orders for domestic violence ..., 2018, p. 5]. Проанализировав оставшиеся 59 работ, авторы приходят к выводу, что ордера могут снизить вероятность рецидивов серьезного насилия, однако некоторые потерпевшие могут столкнуться с увеличением числа менее серьезных форм агрессии, а также нефизических форм насилия или домогательств [Protection orders for domestic violence..., 2018, p. 13]. Кроме того, ЗП оказываются более эффективными для тех потерпевших, которые могут жить самостоятельно, не нуждаются в постоянном общении (ввиду, например, отсутствия общих детей) и обладают

большей финансовой независимостью от своих партнеров [Protection orders for domestic violence ..., 2018].

Для самого недавнего (2019) из имеющихся обзоров литературы Р. Кордьер, Д. Чанг, С. Уилкес-Джиллан, Р. Спейер отобрали 25 статей [The effectiveness of protection orders, 2019]. В совокупности число респондентов по всем исследованиям составило 31 586 человек. Потерпевшие оценивают ЗП как эффективную меру, однако, если говорить об объективных показателях, взвешенный средний уровень рецидива для самоотчетов жертв составляет 34,3%, а при оценке данных полиции – 28,2%. При этом использование программы ресоциализации для правонарушителей в комбинации с ордером, напротив, показало уровень рецидива в 38,8%. Риск рецидива увеличивается, если нарушитель ранее привлекался к ответственности, задерживался полицией или преследовал жертву. Снижающими рецидив факторами будут длительные в прошлом взаимоотношения потерпевшего и нарушителя, а также отсутствие совместных детей. Для жертв факторами риска являются низкий социально-экономический статус, употребление наркотиков, более серьезный вред, причиненный до вынесения ЗП. Данные о числе нарушений предписаний варьируются от 20,5% (из данных полиции) до 65,3% (из данных, полученных от жертв).

Большинство исследований эффективности ЗП основываются на опыте применения этого инструмента в США или иных странах со схожей правовой системой (Великобритания, Австралия). Вместе с тем существует ряд работ, которые оценивали ЗП в других культурных контекстах. Исследование ученых из Нидерландов показало, что жертвы в целом позитивно относятся к предписаниям: их жизнь улучшилась, а рецидивы если и были, то менее серьезные, чем предыдущие случаи насилия [van Rooij, Ten Naaf, Verhoeff, 2013]. С. Стрэнд пришла к выводу, что защитное предписание не было эффективно в отношении 44% нарушителей. Уровень рецидива между теми, кто получил ордер, и остальными правонарушителями не различался [Strand, 2012]. В работе Э. Бухбайндер 2020 г. рассматривается субъективное значение ордеров для женщин в Израиле. Автор заключает, что ордер может снижать уровень тревоги, но не является панацеей для улучшения эмоционального состояния жертвы [Buchbinder, 2020, p. 4–6]. Таким образом, опыт использования ордеров вне стран общего права

также не свидетельствует о том, что эта мера обладает однозначной эффективностью.

Подводя итог, можно сказать, что результаты исследований являются смешанными: в тех работах, которые с методологической точки зрения были наиболее сильными, степень эффективности ордеров оценивается как весьма умеренная. В эффективности защитных предписаний сомневаются судьи, которые их издают [Judging domestic violence from the bench ..., 2019]. Наибольшее постоянство в оценках предписаний как эффективных наблюдается в работах, оценивающих эффективность с точки зрения субъективных ощущений потерпевшей. Следует иметь в виду также и то обстоятельство, что об эффекте меры можно судить не только по уровню рецидива или повышению эмоционального благополучия жертвы. Например, у женщин, подававших заявления о выдаче предписания, резко падал уровень доходов, который не восстанавливался в течение последующего года [Hughes, Brush, 2015]. С другой стороны, по оценкам Т. Логана и его коллег, использование защитных ордеров сэкономило налогоплательщикам небольшого штата 85 млн долл. США за один год, поскольку на 1 долл., потраченный на ордер, сэкономилось 30,75 долл., которые в отсутствие ордера были бы издержками по делу о домашнем насилии [Logan, Walker, Hoyt, 2012, p. 1147]. Иными словами, несмотря на то что ордера применяются уже более четырех десятилетий, на сегодняшний день отсутствуют однозначные доказательства того, что эта мера снижает уровень домашнего насилия.

Заключение

Охранные ордера, как показывает наш анализ их политико-правовой природы, являются спорной в юридическом отношении мерой, доказательная база их эффективности в противодействии семейному насилию достаточно шаткая. Эффективность приказов вызывает наибольшие сомнения в отношении женщин, нуждающихся в повышенной защите, — матерей и социально незащищенных. Если защитные предписания действительно являются тем камнем преткновения, который не дает разрешить конфликт между сторонниками законопроекта и его оппонентами, то, возможно, пересмотр позиции по поводу этой меры со стороны инициативной

группы мог бы дать толчок для начала конструктивных переговоров. Вместе с тем заметим, что защитное предписание – порождение той же криминологической теории «возможностей», которая стала основой для ситуационного предупреждения преступлений. Одним из главных орудий последнего являются камеры видеонаблюдения, а также иные технологии, позволяющие осуществлять мониторинг людей и их перемещений. В связи с этим не удивительно, что противники законопроекта о профилактике семейного насилия известны своими активными нападками на цифровизацию экономики и управления. Позиция этой стороны конфликта довольно последовательна. У защитных предписаний гораздо больше сходства с системами контроля доступа, использующими единый цифровой идентификатор личности, чем это может показаться на первый взгляд. Убедительная риторика «прав жертвы» на безопасность от посягательств, используемая инициаторами законопроекта и его сторонниками, наталкивается на не менее основательную риторику «права на неприкосновенность частной жизни», используемую оппонентами. У сторон конфликта настолько различные представления о ценности прав и их приоритете, что перспектива достижения консенсуса между ними не выглядит реалистичной, хотя в других странах существуют и примеры удачного преодоления подобных противоречий между идеологическими противниками.

25 лет назад в США ситуация была отчасти похожа на российскую. Дж. Ривера описывает, что до принятия Закона о насилии в отношении женщин в 1994 г. противники высмеивали его феминистскую направленность [Rivera, 1996, p. 464]. Однако атака на законопроект велась не только со стороны консервативных антифеминистов. С. Голдфарб указывает на существование либеральной критики, а также критики со стороны самих феминисток, которые считали, что закон чрезмерно покровительственно относится к женщинам, выставляя их в качестве объекта, нуждающегося в особой защите [Goldfarb, 1996, p. 393]. В конечном счете закон был одобрен в Сенате как представителями Демократической партии, так и республиканцами. Этот успех Голдфарб связывает с деятельностью более тысячи организаций, которые были настолько озабочены серьезностью проблемы насилия в отношении женщин, что в течение четырех лет активно поддерживали деятельность создателей закона независимо от своих политических убеждений [Ibid., p. 395].

Особенностью правовой системы США является то, что закон нуждается в периодическом продлении срока действия с голосованием в Палате представителей и в Сенате. На настоящий момент закон уже более года как просрочен, а республиканский Сенат осенью 2019 г. отказался продлить его действие, хотя и продлил поддержку программ, которые финансировались ранее¹. По всей видимости, позиция Сената связана с активной деятельностью оружейного лобби и его попыток не допустить расширения круга лиц, на которых распространяется действие закона в связи с тем, что это существенно увеличит число лиц, в отношении которых защитный приказ может содержать запрет ношения оружия [Removing firearms ..., 2019]. Наблюдение за тем, как демократы и республиканцы будут выходить из этого конфликта, может показать, какие шаги могли бы быть эффективны в российской ситуации.

Другим важным моментом является то, что современная критика принудительных превентивных мер, в том числе защитных приказов, за рубежом исходит из лагеря социал-демократов и либеральных юристов, а вовсе не консервативных общественных деятелей. Л. Гудмарк, американский профессор права, будучи борцом за свободу от насилия, вообще призывает к декриминализации семейного насилия, опираясь на традиционные аргументы демократов о переполненности тюрем и дискриминации бедных и представителей меньшинств со стороны полиции [Goodmark, 2018]. Принудительные превентивные меры вовсе не являются мишенью консерваторов – напротив, республиканцы в США и консерваторы в Великобритании традиционно поддерживают жесткие антикриминальные меры, связанные с государственным принуждением. В этом смысле такое острое противостояние центра и правых движений по вопросам семейного насилия не типично. В свете мировых тенденций уголовной политики было бы более ожидаемым, если бы сторонами конфликта были инициаторы законопроекта и представители левой части политического спектра, которые могли бы выступать за общесоциальное предупреждение преступлений против принудительной превенции, основой которой являются защитные предписания. Оппонентами ордеров

¹ Willis J. Why can't the senate pass the violence against women act? // GQ. 13.12.2019. – Mode of access: <https://www.gq.com/story/senate-violence-against-women-act> (accessed: 13.05.2020)

могли бы выступить и отечественные либералы, ратующие за свободу и ограниченное государство, но, по всей видимости, им это не позволяет характерное для них «западничество» [Малинова, 2017]. Вместе с тем в вопросе борьбы с преступностью либералы и социальные демократы склонны легко солидаризироваться с консерваторами. В связи с этим вряд ли конфликт с ними был бы настолько непримиримым, разве что на их стороне также выступили бы довольно радикальные движения.

Следует отметить еще одно важное обстоятельство, способное дать основание для разрешения конфликта сторон. Если смотреть на мировые тенденции уголовной политики в целом, то защитные приказы (как, в общем-то и другие положения законопроекта о семейном насилии) являются мерами, постепенно выходящими из уголовно-политической моды. Пик интереса к суровой уголовной политике, ориентированной как на жесткую превенцию, так и на усиление работы правоохранительной системы, на Западе пришелся на 1990–2000-е годы. На фоне радикального снижения показателей преступности во многих странах обосновывать необходимость проведения политики беспрецедентных мер борьбы с преступностью политикам становится все сложнее. И хотя такие феномены, как массовая миграция и рост ксенофобии, высокий уровень террористической угрозы, а теперь и эпидемиологическая ситуация в связи с распространением коронавируса, позволяют оправдать необходимость в жестких государственных мерах, на смену популистской неолиберальной риторике превентивной «войны с преступностью» неизбежно придет иная риторика. Какой будет новая уголовная политика, пока можно только предположить. Однако Россия могла бы вместо опоры на старомодные и малоэффективные меры выработать новые решения. Они могли бы быть связаны с инновациями и новыми технологиями, с идеями о необходимости сопроизводства безопасности гражданами и государством на основе сетевого управления, с возвратом к идеям социальной поддержки семьи и образования. Как явление домашнего насилия, несмотря на его масштабы, является пережитком прошлых веков, так и меры, по поводу которых разгорелся конфликт, на настоящий момент уже не являются прогрессивными и не заслуживают такой непримиримой борьбы. Усилия, затрачиваемые на противостояние, могли бы быть приложены к выработке иных уникальных решений в

области противодействия преступности, которые бы задали тон уголовной политике также и в других странах.

Список литературы

- Атагимова Э.И. Правовое регулирование противодействия семейно-бытовому насилию в России и за рубежом: сравнительный анализ // Мониторинг правоприменения. – 2018. – № 2 (27). – С. 49–53.
- Глухова А.В., Тимофеева Л.Н. Российская политическая конфликтология: состояние и проблемы // Политическая наука. – 2016. – №. 2. – С. 13–37.
- Голованова Н.А. Домашнее насилие в свете Стамбульской конвенции 2011 г. // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. – 2014. – № 3. – С. 555–562.
- Голованова Н.А. Противодействие домашнему насилию: новый опыт Великобритании // Всероссийский криминологический журнал. – 2020. – Т. 14, № 2. – С. 338–350.
- Григорьев А.В., Федорович А.Л. Защитное предписание как мера индивидуальной профилактики: вопросы теории и практики // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. – 2015. – № 1 (29). – С. 35–40.
- Гуринская А.Л. Англо-американская модель предупреждения преступности: критический анализ: монография. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2018. – 400 с.
- Домашнее насилие по законодательству зарубежных стран: ответственность и превенция / Власов И.С., Голованова Н.А., Артемов В.Ю. [и др.]; отв. ред. Н.А. Голованова. – М.: Юстицинформ, 2011. – 383 с.
- Евсикова Е.В., Жигулина В.В. Защитное предписание как основная мера предупреждения домашнего насилия // Евразийский юридический журнал. – 2015. – № 8 (87). – С. 224–226.
- Заброда Д.Г., Заброда С.Н. Австрийский опыт предупреждения домашнего насилия: характеристика и предложения по использованию в России // Общество и право. – 2016. – № 3 (57). – С. 107–112.
- К вопросу о совершенствовании государственной семейной политики: краткий анализ опыта отдельных стран Содружества Независимых Государств / Пашаева Э.Х., Пашаев Х.П., Потапов Д.П. и др. // Здоровье человека, теория и методика физической культуры и спорта. – 2019. – № 4 (15). – С. 143–151.
- Малинова О.Ю. Конструирование «либерализма» в постсоветской России (Наследие 1990-х в идеологических битвах 2000-х) // Политика: Анализ. Хроника. Прогноз. – 2017. – № 1. – С. 6–28.
- Понятовская Т.Г. Предупреждение преступлений: меры безопасности и административный надзор // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. – 2013. – № 3. – С. 98–103.

- Тунина Н.А. Охранный ордер как способ превенции семейного насилия // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. – 2010. – № 4 (14). – С. 78–82.
- Шестаков Д.А. Еще раз о праве безопасности в связи с правом противодействия преступности // Криминология: вчера, сегодня, завтра. – 2014. – № 1 (32). – С. 13–22.
- Щедрин Н.В. Введение в правовую теорию мер безопасности: монография. – Красноярск: Краснояр. гос. ун-т, 1999. – 180 с.
- Agnew R. Foundation for a general strain theory of crime and delinquency // *Criminology*. – 1992. – Vol. 30, N 1. – P. 47–88. – DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1992.tb01093.x>
- Ashworth A., Zedner L. Defending the criminal law: reflections on the changing character of crime, procedure, and sanctions // *Criminal Law and Philosophy*. – 2008. – Vol. 2, N 1. – P. 21–51. – DOI: <https://doi.org/10.1007/s11572-007-9033-2>
- Ashworth A., Zedner L. Preventive justice – Oxford: Oxford university press, 2014. – 306 p.
- Benitez C.T., McNeil D.E., Binder R.L. Do protection orders protect? // *The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law*. – 2010. – Vol. 38, N 3. – P. 376–85.
- Berk R.A., Sorenson S.B., Barnes G. Forecasting domestic violence: A machine learning approach to help inform arraignment decisions // *Journal of Empirical Legal Studies*. – 2016. – Vol. 13, N 1. – P. 94–115. – DOI: <https://doi.org/10.1111/jels.12098>
- Buchbinder E. The meaning of the protection order for abused women in Israel // *Journal of Social Service Research*. – 2020. – P. 1–9. – DOI: <https://doi.org/10.1080/01488376.2019.1711294>
- DeJong C., Burgess-Proctor A. A summary of personal protection order statutes in the United States // *Violence against women*. – 2006. – Vol. 12, N 1. – P. 68–88. – DOI: <https://doi.org/10.1177/1077801205277720>
- Douglas H., Fitzgerald R. Legal processes and gendered violence: cross-applications for domestic violence protection orders // *University of New South Wales Law Journal*. – 2013. – N 36. – P. 56–87.
- Dugan L., Nagin D., Rosenfeld R. Exposure reduction or backlash? The effect of domestic violence resources on intimate partner homicide, final report // National Criminal Justice Reference Service. Retrieved from the United States Department of Justice on December. – 2001. – Vol. 19. – P. 1–56.
- Goldfarb S. The civil rights remedy of the violence against women act: legislative history, policy implications & litigation strategy // *Journal of Law & Policy*. – 1996. – Vol. 4. – P. 391–398.
- Goodmark L. Decriminalizing domestic violence: A balanced policy approach to intimate partner violence. – Oakland, CA: University of California Press, 2018. – 216 p.
- Gurinskaya A., Nalla M.K. The Expanding Boundaries of Crime Control: Governing Security through Regulation // *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*. – 2018. – N 1 (679). – P. 36–54. – DOI: <https://doi.org/10.1177/0002716218778750>

- Hallsworth S., Lea J. Reconstructing Leviathan: emerging contours of the security state // Theoretical criminology. – 2011. – Vol. 15, N 2. – P. 141–157. – DOI: <https://doi.org/10.1177/1362480610383451>
- Hughes M.M., Brush L.D. The price of protection: A trajectory analysis of civil remedies for abuse and women's earnings // American Sociological Review. – 2015. – Vol. 80, N 1. – P. 140–165. – DOI: <https://doi.org/10.1177/0003122414561117>
- Janus E.S. Failure to protect: America's sexual predator laws and the rise of the preventive state. – Ithaca; New York: Cornell University Press, 2006. – 200 p.
- Jordan C.E. Intimate partner violence and the justice system: an examination of the interface // Journal of Interpersonal Violence. – 2004. – Vol. 19, N 12. – P. 1412–1434. – DOI: <https://doi.org/10.1177/0886260504269697>
- Judging domestic violence from the bench: a narrative analysis of judicial anecdotes about domestic violence protective order cases / J.M. Kafka, K.E. Moracco, C. Barrington, A.L. Mortazavi // Qualitative Health Research. – 2019. – Vol. 29, N 8. – P. 1132–1144. – DOI: <https://doi.org/10.1177/1049732318821691>
- Logan T., Walker R. Civil protective order outcomes: violations and perceptions of effectiveness // Journal of Interpersonal Violence. – 2009. – Vol. 24, N 4. – P. 675–692. – DOI: <https://doi.org/10.1177/0886260508317186>
- Logan T.K., Walker R., Hoyt W. The economic costs of partner violence and the cost-benefit of civil protective orders // Journal of interpersonal violence. – 2012. – Vol. 27, N 6. – P. 1137–1154. – DOI: <https://doi.org/10.1177/0886260511424500>
- Merton R.K. Social theory and social structure. – New York: Free Press, 1968. – 702 p.
- «No Contact, Except...» visitation decisions in protection orders for intimate partner abuse / R.E. Fleury-Steiner, S.L. Miller, S. Maloney, E. Bonistall Postel // Feminist Criminology. – 2016. – Vol. 11, N 1. – P. 3–22. – DOI: <https://doi.org/10.1177/1557085114554259>
- No-contact orders, victim safety, and offender recidivism in cases of misdemeanor criminal domestic violence: a randomized experiment / R. Brame, C. Kaukinen, A.R. Gover, P.K. Lattimore // American journal of criminal justice. – 2015. – Vol. 40, N 2. – P. 225–249. – DOI: <https://doi.org/10.1007/s12103-014-9242-x>
- O'Malley P. Crime and risk. – London: Sage Publications, 2010. – 112 p.
- Protection orders for domestic violence: A systematic review / Dowling C., Morgan A., Hulme S. et al. // Trends and Issues in Crime and Criminal Justice. – 2018. – N 551. – P. 1–19.
- Removing firearms from those prohibited from possession by domestic violence restraining orders: a survey and analysis of state laws / A.M. Zeoli, S. Frattaroli, K. Roskam, A.K. Herrera // Trauma, Violence, & Abuse. – 2019. – Vol. 20, N 1. – P. 114–125. – DOI: <https://doi.org/10.1177/1524838017692384>
- Richards T.N., Tudor A., Gover A.R. An updated assessment of personal protective order statutes in the united states: have statutes become more progressive in the past decade? // Violence Against Women. – 2018. – Vol. 24, N 7. – P. 816–842. – DOI: <https://doi.org/10.1177/1077801217722237>
- Rivera J. The violence against women act and the construction of multiple consciousness in the civil rights and feminist movements // Journal of Law and Policy. – 1996. – Vol. 4, N 2. – P. 463–511.

- Russell B.* Effectiveness, victim safety, characteristics, and enforcement of protective orders // *Partner Abuse*. – 2012. – Vol. 3, N 4. – P. 531–552. – DOI: <https://doi.org/10.1891/1946-6560.3.4.e13>
- Spitzberg B.H.* The tactical topography of stalking victimization and management // *Trauma, Violence, & Abuse*. – 2002. – Vol. 3, N 4. – P. 261–288. – DOI: <https://doi.org/10.1177/1524838002237330>
- Steiker C.S.* Foreword: the limits of the preventive state // *Journal of Criminal Law & Criminology*. – 1998. – Vol. 88, N 3. – P. 771. – DOI: <https://doi.org/10.2307/3491352>
- Strand S.* Using a restraining order as a protective risk management strategy to prevent intimate partner violence // *Police Practice and Research*. – 2012. – Vol. 3, N 13. – P. 254–266. – DOI: <https://doi.org/10.1080/15614263.2011.607649>
- The effectiveness of protection orders in reducing recidivism in domestic violence: a systematic review and meta-analysis / R. Cordier, D. Chung, S. Wilkes-Gillan, R. Speyer // *Trauma, Violence, & Abuse*. – 2019. – DOI: <https://doi.org/10.1177/1524838019882361>
- van Rooij F.B., Ten Haaf J., Verhoeff A.P.* Temporary restraining orders in the Netherlands: a qualitative examination of perpetrator and victim views // *Journal of Family Violence*. – 2013. – Vol. 28, N 5. – P. 503–514. – DOI: <https://doi.org/10.1007/s10896-013-9520-2>
- Variation in state laws on access to civil protection orders for adolescents experiencing intimate partner violence / A. Adhia, J. Goddard, M.A. Kernic, et al. // *Journal of Adolescent Health*. – 2020. – Vol. 66, N 5. – P. 610–615. – DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2019.11.311>
- Wisser L.* Pandora's algorithmic black box: the challenges of using algorithmic risk assessments in sentencing // *American criminal law review*. – 2019. – Vol. 56. – P. 1811–1832.

A.L. Gurinskaya*

**Conflicts of values in law-making: the political
and legal nature and effectiveness of domestic violence protective orders**

Abstract. The paper asserts the existence of a long-term political and legal conflict over the adoption of the law on the prevention of family and domestic violence in Russia. It is argued that this conflict reflects a discrepancy in values related to the limits of state intervention in the lives of citizens in order to ensure security. The protective order is currently considered to be a key object of conflict in the field of domestic violence law-making and criminal law policy. Analysis of the attitudes of the parties of this conflict towards this measure reveals that the initiators of the law are in the position

* **Gurinskaya Anna**, St. Petersburg State University (St. Petersburg, Russia); Herzen State Pedagogical University of Russia (St. Petersburg, Russia), e-mail: a.gurinskaya@spbu.ru

of prioritizing the right to security and state protection for victims, while their opponents give priority to the value of the right to privacy. Based on a review of the literature on the political and legal nature of protection orders, their legislative regulation, as well as their validity, it is concluded that this measure is aimed to be coercive while its application is not accompanied by due process guarantees. Protective orders belong to the category of coercive preventive measures, the widespread use of which as solutions for crime control is of concern to lawyers and criminologists. A significant number of studies on the effectiveness of protective orders do not allow us to conclude unequivocally that this tool reduces the level of recidivism and provides needed protection to the victim. A protective order has a potential to enhance conflict and, in some instances, can lead to an escalation of violence. It is suggested that one of the possible solutions for the resolution of the ongoing law-making conflict is the option of abandoning the protective orders as a staple for preventing family conflicts and domestic violence. The reported study was funded by RFBR (project № 19-111-50667 «Expansion» «Protective order as an instrument of domestic violence prevention: legal nature and effectiveness»).

Keywords: crime control; value conflict; conflict resolution; law-making; crime prevention; protective orders; domestic violence.

For citation: Gurinskaya A. Conflicts of values in law-making: the political and legal nature and effectiveness of domestic violence protective orders. *Political science (RU)*. 2020, N 3, P. 215–242. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.03.10>

References

- Agnew R. Foundation for a general strain theory of crime and delinquency. *Criminology*. 1992, Vol. 30, N 1, P. 47–88. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1992.tb01093.x>
- Ashworth A., Zedner L. Defending the criminal law: reflections on the changing character of crime, procedure, and sanctions. *Criminal Law and Philosophy*. 2008, Vol. 2, N 1, P. 21–51. DOI: <https://doi.org/10.1007/s11572-007-9033-2>
- Ashworth A., Zedner L. *Preventive justice*. Oxford: Oxford University Press, 2014, 306 p.
- Atagimova E.I. Legal regulation of combating family and domestic violence in Russia and abroad: a comparative analysis. *Monitoring of Law Enforcement*. 2018, N 2 (27), P. 49–53. (In Russ.)
- Benitez C.T., McNeil D.E., Binder R.L. Do protection orders protect? *The Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law*. 2010. Vol. 38, N 3. P. 376–85.
- Berk R.A., Sorenson S.B., Barnes G. Forecasting domestic violence: A machine learning approach to help inform arraignment decisions. *Journal of Empirical Legal Studies*. 2016, Vol. 13, N 1, P. 94–115. DOI: <https://doi.org/10.1111/jels.12098>
- Brame R., Kaukinen C., Gover A.R., Lattimore P.K. No-contact orders, victim safety, and offender recidivism in cases of misdemeanor criminal domestic violence: A randomized experiment. *American journal of criminal justice*. 2015, Vol. 40, N 2, P. 225–249. DOI: <https://doi.org/10.1007/s12103-014-9242-x>

- Buchbinder E. The meaning of the protection order for abused women in israel. *Journal of Social Service Research*. 2020. P. 1–9 DOI: <https://doi.org/10.1080/01488376.2019.1711294>
- Cordier R., Chung D., Wilkes-Gillan S., Speyer R. The effectiveness of protection orders in reducing recidivism in domestic violence: a systematic review and meta-analysis. *Trauma, Violence, & Abuse*, 2019. DOI: <https://doi.org/10.1177/1524838019882361>
- DeJong C., Burgess-Proctor A. A summary of personal protection order statutes in the United States. *Violence against women*. 2006, Vol. 12, N 1, P. 68–88. DOI: <https://doi.org/10.1177/1077801205277720>
- Douglas H., Fitzgerald R. Legal processes and gendered violence: cross-applications for domestic violence protection orders. *University of New South Wales Law Journal*. 2013, N 36, P. 56–87.
- Dugan L., Nagin D., Rosenfeld R. Exposure reduction or backlash? The effect of domestic violence resources on intimate partner homicide, final report. *National Criminal Justice Reference Service*. 2001, Vol. 19, P. 1–56.
- Evsikova E.V., Zhigulina V.V. Restraining order as a basic measure for preventing domestic violence. *Eurasian Law Journal*. 2015, N 8 (87), P. 224–226. (In Russ.)
- Fleury-Steiner R.E., Miller S.L., Maloney S., Bonistall Postel E. “No Contact, Except...” Visitation Decisions in Protection Orders for Intimate Partner Abuse. *Feminist Criminology*. 2016, Vol. 11, N 1, P. 3–22. DOI: <https://doi.org/10.1177/1557085114554259>
- Glukhova A.V., Timofeeva L.N. Russian political conflictology: State and problems. *Political Science (RU)*. 2016, N 2, P. 13–37. (In Russ.)
- Goldfarb S. The civil rights remedy of the violence against women act: legislative history, policy implications & litigation strategy. *Journal of Law & Policy*. 1996, Vol. 4, P. 391–398.
- Golovanova N.A. (ed.) *Domestic violence under the legislation of foreign countries: responsibility and prevention*. Moscow: Justitsinform, 2011, 383 p. (In Russ.)
- Golovanova N.A. Counteracting domestic violence: new experience from the UK. *Russian Journal of Criminology*. 2020, Vol. 14, N 2, P. 338–350. (In Russ.)
- Golovanova N.A. Domestic violence in the light of the 2011 Istanbul Convention. *Journal of foreign legislation and comparative law*. 2014, N 3, C. 555–562. (In Russ.)
- Goodmark L. *Decriminalizing domestic violence: A balanced policy approach to intimate partner violence*. Oakland, CA: University of California Press, 2018. 216 p.
- Grigoryev A.V., Fedorovich A.L. Protective direction as an individual preventive measure: theory and practice. *Herald of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus*. 2015, N 1 (29), P. 35–40. (In Russ.)
- Gurinskaya A., Nalla M.K. The Expanding Boundaries of Crime Control: Governing Security through Regulation // *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*. 2018, N 1 (679), P. 36–54. DOI: <https://doi.org/10.1177/0002716218778750>
- Gurinskaya A.L. *Anglo-American model of crime prevention: critical analysis*. Saint Petersburg: Herzen University Press, 2018, 400 p. (In Russ.)

- Hallsworth S., Lea J. Reconstructing Leviathan: emerging contours of the security state. *Theoretical criminology*. 2011, Vol. 15, N 2, P. 141–157. DOI: <https://doi.org/10.1177/1362480610383451>
- Hughes M.M., Brush L.D. The price of protection: A trajectory analysis of civil remedies for abuse and women's earnings. *American Sociological Review*. 2015, Vol. 80, N 1, P. 140–165. DOI: <https://doi.org/10.1177/0003122414561117>
- Janus E.S. *Failure to protect: America's sexual predator laws and the rise of the preventive state*. Ithaca, NY: Cornell University Press, 2006, 200 p.
- Jordan C.E. Intimate partner violence and the justice system: an examination of the interface. *Journal of Interpersonal Violence*. 2004, Vol. 19, N 12, P. 1412–1434. DOI: <https://doi.org/10.1177/0886260504269697>
- Kafka J.M., Moracco K.E., Barrington C., Mortazavi A.L. Judging domestic violence from the bench: a narrative analysis of judicial anecdotes about domestic violence protective order cases. *Qualitative Health Research*. 2019, Vol. 29, N 8, P. 1132–1144. DOI: <https://doi.org/10.1177/1049732318821691>
- Logan T., Walker R. Civil Protective Order Outcomes: Violations and Perceptions of Effectiveness. *Journal of Interpersonal Violence*. 2009, Vol. 24, N 4, P. 675–692. DOI: <https://doi.org/10.1177/0886260508317186>
- Logan T.K., Walker R., Hoyt W. The economic costs of partner violence and the cost-benefit of civil protective orders. *Journal of interpersonal violence*. 2012, Vol. 27, N 6, P. 1137–1154. DOI: <https://doi.org/10.1177/0886260511424500>
- Malinova O.Y. Constructing “liberalism” in Post-Soviet Russia. The legacy of the 1990 s in the ideological battles of the 2000 s. *Politeia*. 2017, N 1 (84), P. 6–28. (In Russ.)
- Merton R.K. *Social theory and social structure*. New York: Free Press, 1968, 702 p.
- O'Malley P. *Crime and risk*. London: Sage Publications, 2010, 112 p.
- Ponyatovskaya T.G. Crime prevention: the safety administrative oversight. *Criminology Journal of Baikal National University of Economics and Law*. 2013, N 3, P. 98–103. (In Russ.)
- Dowling C., Morgan A., Hulme S. et al. Protection orders for domestic violence: A systematic review. *Trends and Issues in Crime and Criminal Justice*. 2018, N 551, P. 1–19.
- Richards T.N., Tudor A., Gover A.R. An updated assessment of personal protective order statutes in the united states: have statutes become more progressive in the past decade? *Violence Against Women*. 2018, Vol. 24, N 7, P. 816–842. DOI: <https://doi.org/10.1177/1077801217722237>
- Rivera J. The Violence Against Women Act and the Construction of Multiple Consciousness in the Civil Rights and Feminist Movements. *Journal of Law and Policy*. 1996, Vol. 4, N 2, P. 463–511.
- Russell B. Effectiveness, victim safety, characteristics, and enforcement of protective orders. *Partner Abuse*. 2012, Vol. 3, N 4, P. 531–552. DOI: <https://doi.org/10.1891/1946-6560.3.4.e13>
- Shedrin N.V. *Introduction to the legal theory of security measures: monograph*. Krasnoyarsk: Krasnoyarsk State University, 1999, 180 p. (In Russ.)

- Shestakov D.A. More about the right to security in the context of the right to crime prevention. *Criminology: Yesterday, Today, Tomorrow*. 2014, N 1 (32), P. 13–22. (In Russ.)
- Spitzberg B.H. The tactical topography of stalking victimization and management. *Trauma, Violence, & Abuse*. 2002, Vol. 3, N 4, P. 261–288. DOI: <https://doi.org/10.1177/1524838002237330>
- Steiker C.S. Foreword: the limits of the preventive state. *Journal of Criminal Law & Criminology*. 1998, Vol. 88, N 3, P. 771. DOI: <https://doi.org/10.2307/3491352>
- Strand S. Using a restraining order as a protective risk management strategy to prevent intimate partner violence. *Police Practice and Research*. 2012, Vol. 3, N 13, P. 254–266. DOI: <https://doi.org/10.1080/15614263.2011.607649>
- Pashaeva E.K., Pashaev K.P., Potapov D.P. et al. To the question of improvement of the state family policy: a brief analysis of the experience of certain countries of the commonwealth of independent states. *Health, Physical Culture and Sports*. 2019, N 4 (15), P. 143–151. (In Russ.)
- Tunina N.A. Order of protection as a means of preventing domestic violence. *Criminology Journal of Baikal National University of Economics and Law*. 2010, N 4 (14), P. 78–82. (In Russ.)
- van Rooij F.B., Ten Haaf J., Verhoeff A.P. Temporary restraining orders in the Netherlands: a qualitative examination of perpetrator and victim views. *Journal of Family Violence*. 2013, Vol. 28, N 5, P. 503–514. DOI: <https://doi.org/10.1007/s10896-013-9520-2>
- Variation in state laws on access to civil protection orders for adolescents experiencing intimate partner violence / Adhia A. Goddard J., Kernic M.A., et al. *Journal of Adolescent Health*. Vol. 66, N 5. 2020. P. 610–615. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2019.11.311>
- Wisser L. Pandora's Algorithmic black box: the challenges of using algorithmic risk assessments in sentencing. *American Criminal Law Review*. 2019, Vol. 56, P. 1811–1832.
- Zabroda D.G., Zabroda S.N. Austrian experience to prevent home violence: characteristics and suggestions to employ in Russia. *Society and Law*. 2016, N 3 (57), P. 107–112. (In Russ.)
- Zeoli A.M., Frattaroli S., Roskam K., Herrera A.K. Removing firearms from those prohibited from possession by domestic violence restraining orders: a survey and analysis of state laws. *Trauma, Violence, & Abuse*. 2019, Vol. 20, N 1, P. 114–125. DOI: <https://doi.org/10.1177/1524838017692384>

КОНТЕКСТ

Е.В. БРОДОВСКАЯ, А.Ю. ДОМБРОВСКАЯ, Р.В. ПЫРМА*

**ДИСКУРСЫ ВНЕШНЕГО ИНФОРМАЦИОННОГО
ДАВЛЕНИЯ В КРЫМСКОМ И СЕВАСТОПОЛЬСКОМ
СЕКМЕНТАХ РУНЕТА: ОСОБЕННОСТИ, АДРЕСАТЫ,
КОНФЛИКТОГЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ¹**

Аннотация. Статья представляет результаты прикладного исследования дискурсных практик информационных потоков внешнего происхождения, таргетированных на крымскую и севастопольскую аудитории социальных медиа. Исследуются особенности внешнего информационного давления на Крым и Севастополь как регионы-мишени, приемы информационной агрессии,

* **Бродовская Елена Викторовна**, доктор политических наук, профессор Департамента политологии и массовых коммуникаций, Финансовый университет при Правительстве РФ (Москва, Россия); заведующая кафедрой социально-политических исследований и технологий, Московский педагогический государственный университет (Москва, Россия), e-mail: brodovskaya@inbox.ru; **Домбровская Анна Юрьевна**, доктор социологических наук, профессор Департамента политологии и массовых коммуникаций, Финансовый университет при Правительстве РФ (Москва, Россия); доцент кафедры социально-политических исследований и технологий, Московский педагогический государственный университет (Москва, Россия), e-mail: an-doc@yandex.ru; **Пырма Роман Васильевич**, кандидат политических наук, доцент Департамента политологии и массовых коммуникаций, Финансовый университет при Правительстве РФ (Москва, Россия), e-mail: pyrgma@mail.ru

¹ Исследование реализуется на средства гранта РФФИ «Украинские информационные потоки в крымском сегменте социальных медиа: риски и технологии преодоления негативных эффектов антироссийской риторики в онлайн-вой среде (№ 18-011-00937 на 2018–2020 годы).

© Бродовская Е.В., Домбровская А.Ю.,

Пырма Р.В., 2020

DOI: 10.31249/poln/2020.03.11

информационного доминирования, осуществляемого с целью деконсолидации полуостровного сообщества, подрыва доверия ее представителей к российской власти, смещения представлений и стереотипизации мотивов лидеров Российского государства. Дизайн исследования основан на комплексной, гибридной стратегии эмпирического анализа и включает методы количественного и качественного подходов. Когнитивное картирование содержания сообщений цифровых сообществ, модулируемых внешними лидерами, предполагает структурный анализ контекстуальных, тематических характеристик соответствующих информационных потоков, установление соотношения между тематической палитрой внешнего информационного давления и приемами манипуляционного влияния, тональностью сообщений и пользовательским резонансом на данные информационные потоки. Изучение отобранных цифровых групп нацелено на содержательный анализ дискурсивных практик разных жанров, приемов, ориентированных на формирование стереотипов мышления целевых групп в отношении проблем развития Крыма в составе РФ. По итогам исследования делается заключение о тематических доминантах, ведущих приемах формирования дискурсов, взаимосвязи между лидирующими техниками стереотипизации сознания пользовательской аудитории – мишени внешних сил и характеристиками общественного резонанса. В завершение в качестве одной из многочисленных перспектив исследования анонсируется создание программы рекомендаций, направленной на противодействие антироссийской риторике и купирование негативных общественно-политических эффектов внешнего информационного давления в социальных медиа Крыма и Севастополя.

Ключевые слова: дискурс; дискурсивные приемы; внешнее информационное давление; информационное доминирование; информационная агрессия; регионы-«мишени»; социальные медиа; Крым; Севастополь; когнитивное картирование; дискурс-анализ.

Для цитирования: Бродовская Е.В., Домбровская А.Ю., Пырма Р.В. Дискурсы внешнего информативного давления в Крымском и Севастопольском сегментах Рунета: особенности, адресаты, конфликтогенный потенциал // Политическая наука. – 2020. – № 3. – С. 243–265. – DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.03.11>

Проблемное поле

Цифровая эпоха актуализирует проблемы информационного противостояния и противоборства геополитических конкурентов в пространстве Интернета. Борьба информационных потоков и дискурсов в социальных медиа, наблюдавшаяся вокруг событий «цветных революций», «арабской весны», «русской весны» и других переломных политических процессов, позволяет выделить не только социальные группы (молодежь, этнические и иные меньшинства, внесистемную оппозицию и т.п.) в качестве основных

адресатов информационного воздействия, но и так называемые регионы-мишени. Под последними мы понимаем регионы и субрегионы, объединенные признаками общности территории, управления и историко-культурными характеристиками, иными словами, это типичные политические регионы, население которых подвергается системному внешнему информационному давлению. Такие регионы становятся информационными мишенями в силу ряда причин. Однако при всем многообразии и территориальной разбросанности регионов-мишеней (например, Калининградская область, регионы Северного Кавказа, Дальний Восток и др.) их объединяет сложный / затрудненный процесс формирования национально-государственной идентичности, наличие рисков сепарации. И то и другое обстоятельство являются маркерами политической дестабилизации, угрожающей сложносоставным обществам потерей территориальной целостности. Одними из регионов-мишеней внешнего информационного давления на территории современной России являются Крым и Севастополь.

В настоящем исследовании мы следующим образом операционализируем категорию «внешнее информационное давление». Под внешним информационным давлением понимаются систематические информационные воздействия преимущественно манипулятивного характера, исходящие от центров и лидеров общественного мнения иностранного государства / государств, оказывающих воздействие на население региона-мишени посредством цифровых коммуникаций. Исходя из этого, основными параметрами анализа информационных потоков в социальных медиа региона-мишени выступают:

- вес внешнего информационного потока;
- частота информационных касаний;
- содержание и направленность дискурса;
- наличие цифровой инфраструктуры влияния;
- технологии и техники манипулирования в дискурсе.

Теоретический обзор

В исследованиях дискурса прослеживается движение от рассмотрения структуры текста к пониманию его смысла, переход от лингвистического анализа текста к определению контекста, ценно-

стей и идеологии. Дискурс транслирует ценностные установки, формируя сознание и поведение целевых групп.

Описывая потенциал влияния дискурса, М. Фуко исходит из гипотезы, что «в любом обществе производство дискурса одновременно контролируется, подвергается селекции, организуется и перераспределяется с помощью некоторого числа процедур, функция которых – нейтрализовать его властные полномочия и связанные с ним опасности, обуздать непредсказуемость его события, избежать его такой полновесной, такой угрожающей материальности» [Фуко, 1996, с. 51]. Таким образом, М. Фуко рассматривал дискурсивные практики как разновидности технологий управления, с помощью которых различные силы пытаются реализовать свои проекты и программы [Фуко, 2004].

В дискурсивной теории Э. Лакло и Ш. Муфф социальный мир формируют значения. Дискурс определяется как структурное единство между элементами, которые меняют идентичность в результате артикуляционной практики. Политика рассматривается ими как борьба между дискурсами для достижения гегемонии [Laclau, Mouffe, 2001].

Концепция критического дискурс-анализа (Н. Фэйрклоу, Т.А. ван Дейка) отталкивается от медийной действительности массового общества, понимания информационного воздействия как манипуляции, преднамеренного введения аудитории в заблуждение и внушение определенных установок с целью ее идеологического подчинения [Fairclough, 2001]. Т.А. ван Дейк определяет дискурс как коммуникативное событие, происходящее в процессе коммуникативного действия в определенном временном и пространственном контексте [van Dijk, 2009; ван Дейк, 2013].

Исходя из задач исследования, интерес в дискурсивной психологии представляет выделение репертуаров интерпретации, т.е. наборов понятий, посредством которых описываются и оцениваются социальные явления, события и действия. Они обычно выражены в стереотипах, метафорах, клише, фигурах речи и т.д. Текстовый анализ дискурсивной психологии рассматривает, как авторы используют лексику для того, чтобы представить, позиционировать себя и других в определенной ситуации [Кутковая, 2014, с. 6]. Дискурсивно-психологический подход оказался продуктивным для изучения медиатекстов в современную эпоху цифровых коммуникаций, отмеченную ростом использования соци-

альных сетей, интерактивных сайтов, платформ для обмена сообщениями с визуальным контентом, SMS-текстов, блогов и т.д.

На основании ряда исследований Е. Шейгал определяет использование политического дискурса как инструмента борьбы за власть, обозначая следующие взаимосвязанные функции: 1) интеграция и дифференциация групповых агентов политики; 2) гармонизация и дезорганизация как выражение консенсуса и конфликта; 3) информирование и дезинформирование о действиях политических акторов; 4) интерпретация информации и ориентация в событиях, создание «языковой реальности» поля политики; 5) контроль и побуждение для манипуляции сознанием и стимулирования действий общественности [Шейгал, 2005, с. 57–58].

Значительное место в понимании проблемного поля настоящего исследования занимает дискуссия вокруг терминологического аспекта вопросов информационного воздействия. Авторы по-разному определяют суть и объем терминов «информационно-психологическая операция», «информационное противоборство», «информационная война». Здесь проявляется проблема определения критериев перехода из состояния информационного взаимодействия конфликтного типа в «горячую» фазу информационной войны.

Информационное противоборство понимается как конкурентное взаимодействие субъектов внутренней и внешней политики, при котором оппоненты стремятся добиться доминирования в интерпретации событий для убеждения народных масс или адресных групп, нанести ущерб репутации противника посредством массовых коммуникаций, цифровой инфраструктуры и социальных сетей.

Исторически первые приемы информационного противоборства формировались в рамках сопровождения военных действий с целью дезориентировать противника при принятии решений или подорвать его психологическую устойчивость. Г. Лассуэлл отмечал, что во время Первой мировой войны руководство стран-участниц пришло к выводу, что для мобилизации населения и материальных ресурсов необходимо целенаправленное управление государством общественным мнением [Ласвель, 1929, с. 31]. В дальнейшем информационное противоборство стало составной частью политики государств, как в военное, так и в мирное время.

Концепция информационной войны возникла в период холодной войны на основе несилового противоборства, которое пре-

дусматривало методы организации собственных информационных ресурсов во враждебных государствах, блокирование противнику доступа к достоверной информации, распространение потоков ложной информации и др. [Rona, 1976]. Информационные воздействия включают приемы защиты, искажения, манипулирования и опровержения информации. Цель информационной войны состоит в достижении и удержании информационного превосходства над сознанием граждан. «Информационное доминирование имеет своей задачей не дать противоположной стороне воспользоваться информационным пространством в полной мере» [Libicki, 1995, с. 362]. Г. Почепцов раскрывает модель ведения информационной войны, в которой сосредотачиваются следующие компоненты. Во-первых, информационный повод, возникшая ситуация, которая часто интерпретируется как негатив. Во-вторых, отдельный свершившийся факт и его толкование становятся закономерностью, принимаемой большинством населения. В-третьих, фреймы, которые представляют собой ментальные конструкции, позволяющие распознавать, понимать и интерпретировать события и реагировать на них. Способ эффективной борьбы с фреймом заключается в создании, актуализации и расширении новых фреймов [Почепцов, 2000, с. 35].

В медийном дискурсе агрессия может осуществляться как вербальными, так и невербальными средствами. Под информационной (медийной) агрессией понимается выражение открытой неприязни и враждебности к референту (аффективная агрессия) и целенаправленное воздействие на сознание целевой аудитории (когнитивная агрессия) с целью его идеологического подчинения. В условиях информационной войны формируется и усиливается функция информационной агрессии, которая может рассматриваться в рамках манипулятивного дискурса как манипулятивное убеждение [Озюменко, 2017].

В качестве инструмента информационной войны исследователи рассматривают метафорическое манипулятивное воздействие в политическом дискурсе. Метафора побуждает к действию. Создание устойчивых метафор, передающих смыслы, символы и ассоциации, объясняется потребностями массовой коммуникации. В политическом дискурсе метафоры способны формировать положительные и отрицательные образы. По мнению исследователей, «совокупность метафор определенного концептуального поля по-

литического дискурса входит в состав метафорической модели универсальной эпистемологической категории, которая выражает общую семантику дискурса и формирует у адресата определенные стереотипы мышления» [Зарипов, 2015]. Исследователи на основе наиболее актуальных метафорических выражений рассматривают воздействие на реципиента в языковом (слово) и визуальном (изображение) аспектах на примере репрезентации образа России в политическом дискурсе западных СМИ [Попова, Зарипов, 2017].

Анализируя постмодернистский концепт современных средств ведения войны, В.В. Кафтан выделяет следующие технологии и техники: «ризом... ориентирована на переосмысление значений бинарных оппозиций. Бриколаж способствует преобразованию значения посредством нового использования или нестандартных переделок символов. Ирония... провоцирует образ жизни и стиль мышления людей. Деконструкция создает новые смыслы посредством разрушения стереотипа или включения знакомой идеи в новый контекст. Гиперреальность означает конструирование пространства ложных знаков симулякров, оторванных от реальных событий» [Кафтан, 2015, с. 58].

Исследователи Н.Н. Кошкарлова, Н.Б. Руженцева и Е.Н. Зотова рассматривают репрезентацию деструктивных феноменов «российской агрессии» и «российского следа» в американских и украинских информационных потоках. По их мнению, «представленные в национальных языковых корпусах и в сети Интернет материалы транслируют аксиологические установки и приоритеты акторов политической коммуникации, отражают концептуальную оппозицию “свои – чужие”, становятся причиной деструкции политического дискурса» [Кошкарлова, Руженцева, Зотова, 2018, с. 74]. Исследователи отмечают, что ведущаяся информационная война «характеризуется трансляцией деструктивных смыслов и ведет как к психологическому и речевому воздействию на целевую аудиторию, так и к дестабилизации отношений между государствами» [Кошкарлова, Руженцева, Зотова, 2018, с. 74].

В свою очередь, Т.В. Евгеньева исследует ментальные основания идентичности российской нации, репрезентируемые через систему образов и символов в период после реинтеграции Крыма. Автор приходит к выводу, что образно-символическое пространство «крымского консенсуса» оказалось стереотипизированным, но не монолитным. Подчеркивается необходимость поиска новых

смыслов, способных сформировать более прочные ментальные основания российской идентичности [Евгеньева, 2017].

В работе Н.А. Марецкой отмечается, что в настоящий момент в украинском информационном поле по большей части присутствуют фиксации, основанные на продвижении националистических и русофобских идей. Транслируемый в блогосфере контент способствует формированию негативных фреймов, что свидетельствует о применении манипулятивных технологий [Марецкая, 2017].

Теоретико-методологическая основа исследования включает в себя следующие компоненты:

– концепция социального воспроизводства дискурса П. Бергера и Т. Лукмана, исходящая из того, что дискурс оказывает прямое влияние на общественное сознание и взаимодействие людей, а социальная действительность, в свою очередь, влияет на формирование, трансляцию и поддержание дискурсов, которые непрерывно создаются обществом в процессе обмена информацией, эмоциями и действиями [Бергер, 1995, с. 104];

– концепция критического дискурс-анализа (Н. Фэркло, Т.А. ван Дейк и др.), отталкивающаяся от медийной действительности и понимающая информационное воздействие как манипуляцию, преднамеренное введение аудитории в заблуждение и внушение определенных установок с целью ее идеологического подчинения [Fairclough, 2001]. Власть заключена в контроле над обществом, а контроль над дискурсом открывает доступ к его производству и содержанию, стилю и общественному сознанию [ван Дейк, 2013, с. 15];

– дискурсная теория Э. Лакло и Ш. Муфф [Laclau, Mouffe, 2001], базирующаяся на положении, согласно которому дискурсы постоянно находятся в состоянии противоборства, они конкурируют между собой за установление определенных значений, поэтому дискурс понимается как открытая структура, для которой характерно множество подобных вариантов значений. Индивид при этом является носителем определенной идентичности и как субъект помещен внутрь одного из дискурсов. Когда происходит столкновение между личностями (группами индивидов), неизбежно сталкиваются и их идентичности. Дискурсивная борьба таких идентичностей может порождать социальные антагонизмы, поскольку в ее основе всегда присутствует понятие «другие».

Дизайн исследования

На первом этапе было осуществлено когнитивное картирование содержания наиболее влиятельных социально-медийных сообществ, подчиненных внешней координации и таргетированных на крымскую и севастопольскую аудиторию блогостинга «ВКонтакте» – самого популярного социального медиа России. По критериям релевантности предмета исследования, отсутствия «ботомании», влиятельности сообщества (не менее 300 подписчиков) были отобраны 153 онлайн-сетевые группы. В ходе первичной ручной обработки содержания данных сообществ были установлены и отфильтрованы те группы, которые перестали осуществлять публикационную активность. В результате когнитивному картированию подверглись 16 сообществ (см. табл.). Тот факт, что около 90% влиятельных и заметных в социально-медийном пространстве групп, заявленных в период с 2014 до 2019 г. как сообщества, обсуждающие проблемы развития Крыма в составе Российской Федерации и являющиеся в своем большинстве площадками для формирования антироссийских установок, дезинтеграции и деkonsolidации крымского общества, завершили свое функционирование, может говорить об интенсивной работе внешних лидеров, тестирующих различные форматы видения данных сообществ, испытывающих разные приемы воздействия на крымчан и севастопольцев, а также об осуществлении точечных информационных ударов по крымскому консенсусу. Таким образом, на сегодняшний день три десятка сообществ социальных медиа продолжают активную работу по подрыву процесса социокультурной интеграции Крыма и Севастополя в российское общество. Именно данные группы были картированы по следующим критериям: тема, дискурс, контекст, триггер, прием воздействия, формат документа, инструмент вирусной атаки, характеристики пользовательской активности. Выборочная совокупность документов, подлежащих картированию, формировалась методом механического отбора (по 10 сообщений в каждой группе – исследовательском кейсе каждой срединной недели каждого месяца, датированные периодом с 01.02.2020 по 30.04.2020 (шаг отбора для отобранных 16 сообществ вычислялся индивидуально в зависимости от количества публикаций в отобранные недели), таким образом, в базе данных 480 документов).

На втором этапе был осуществлен анализ базы когнитивного картирования с применением программы SPSS Statistics 24.0. Задачами данного этапа были сегментирование документов по темам, дискурсам, используемым контекстам; выявление сопряженности между дискурсами, приемами воздействия и характеристиками пользовательского резонанса в отношении внешнего информационного воздействия.

На третьем этапе применялся анализ дискурсных практик наиболее содержательных сообщений из базы когнитивного картирования с целью выявления семантических пучков, формирующих в социально-медийной среде смыслы и значения в сфере социально-культурной интеграции / дезинтеграции Крыма и Севастополя как регионов РФ (всего качественно проанализировано 100 сообщений из всех отобранных сообществ).

Результаты

Когнитивное картирование

Сообщества, отобранные на основе указанных в дизайне исследования критериев, представлены в табл.

Распределение проанализированных сообщений по темам представлено на рис. 1. Очевидно, что в изучаемый период в связи с распространением COVID-19 в мире и России существенная доля сообщений была сфокусирована на оценке ситуации борьбы с коронавирусом и выражении отношения к решениям российской власти, мерам по преодолению развития пандемии в России и Крыму. Отметим, что 93,2% сообщений, отражающих тему борьбы с коронавирусом, имеют непозитивный в отношении российской власти характер (55,9% – нейтральный и 37,3% – негативный). Другими словами, даже тема, напрямую не связанная с проблемами интеграции Крыма в состав России, используется внешними силами для конструирования недоверия крымчан в отношении российской власти, для установления информационного доминирования негативного фона обсуждения решений представителей Российского государства.

Таблица

Цифровые сообщества – объекты когнитивного картирования

Название сообщества	Число подписчиков	Ссылка
Крим – це Україна Геть руки від Криму	7112	https://vk.com/uakrim
АнтиМайдан Мариуполь (club64994882)	20 149	https://vk.com/club64994862
Лента новостей Крыма	3985	https://vk.com/public60779074
Крымские татары – Кырымтатарлар	8100	https://vk.com/qirimli_balalar
Free Speech	7208	https://vk.com/public88390122
Информационная война	55 745	https://vk.com/club4121067
Новости Крым – UA	2431	https://vk.com/club76624197
Печальный хохол	8563	https://vk.com/sadcrest225
Чё тама?	305	https://vk.com/public150765683
Геополитика. Политика. Аналитика. Вооружение	8966	https://vk.com/public102868701
Ложь и абсурдность СМИ на фоне массового запоя	36 300	https://vk.com/club6569643
Крымский бандеровец /// Crimean banderovec (club89669756)	443	https://vk.com/club89669756
Сводки от ополчения Новороссии (club57424472)	444 865	https://vk.com/public57424472
Украины больше нет! (club94269450)	20 797	https://vk.com/public94269450
ДОНБАСС – КРАЙ РОДНОЙ (club115312870)	1777	https://vk.com/club115312870
НОВОРОССИЯ SaveDonbassPeople Анти-майдан (club43806582)	32194	https://vk.com/public43806582

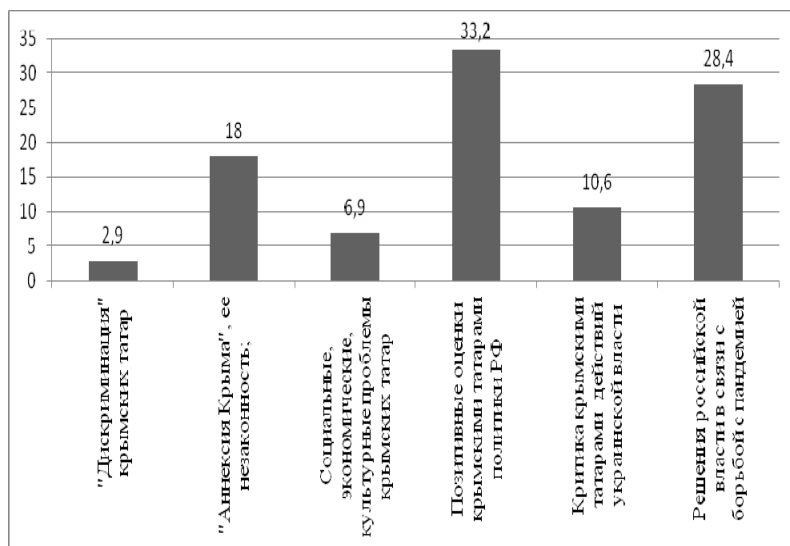


Рис. 1.
Распределение сообщений по темам, в %

По-прежнему в дискурсных практиках онлайн-сетевых сообществ, координируемых внешними силами, доминирует тема «аннексии», тема «незаконного» присоединения Крыма к России (33,2%, см. рис. 1). Эти тенденции в анализируемых сообществах коллектив авторов фиксировал в течение 2016–2019 гг. [Ценностные установки ..., 2017, с. 45–48; Состояние и динамика ..., 2018, с. 25–31]. Таргетными аудиториями при этом являются представители молодого поколения полуострова, испытывающие затруднения в процессе формирования новой национально-государственной идентичности, этнические меньшинства (прежде всего – крымские татары и украинцы), представители внесистемной оппозиции изучаемых регионов-мишеней внешнего информационного влияния. Еще две взаимоисключающие темы также довольно широко представлены в содержании исследуемых сообществ. Первая – позитивные оценки крымскими татарами политики РФ (18,0%), и это новый аспект риторики, появившийся в таком объеме в дискурсном поле изучаемых сообществ. Эта лексика характерна для внешних сообществ пророссийской направленности. Вторая тема – «дискриминация» крымских татар (10,6%, см. рис. 1). Данная тема лидировала во внешнем дискурсе, таргетированном на социально-медийную аудиторию Крыма и Севастополя 2015–2017 гг. [Ценностные установки ..., 2017, с. 45–48; Состояние и динамика ..., 2018, с. 25–31]. В совокупности с долей смежных к указанной теме сообщений о специфических социальных, экономических и культурных проблемах крымско-татарской общности (6,9%) документы, акцентирующие внимание на «нарушении гражданских прав» крымских татар, пренебрежении их интересами, составляют 17,5%. Это указывает на использование внешними силами приемов манипуляционного дискурса и манипуляционного убеждения, ориентированных на общности, принадлежащие к этническим меньшинствам, в целях мобилизации протестных, деконсолидационных настроений в отношении интеграции в российское общество.

Важный аспект взаимосвязи темы и контекста сообщений, оказывающих внешнее информационное давление на крымскую аудиторию социальных медиа, представлен на рис. 2. Показательно, что обсуждение экономических трудностей Крыма в транзитный период, в фазу, отягощенную санкциями западных государств, чаще всего подается в контексте проблем, которые испытывают крымские татары, т.е. налицо сфокусированность на мобилизации

«чувства несправедливости», таргетированного на пользователей по национальному признаку. Тот же контекст лидирует и в связи с обсуждением «нелегитимности» действий российской власти (см. рис. 2). Акцентное внимание на «несправедливости российской федеральной политики» в отношении крымских татар в сообщениях существует в основном на фоне другой смысловой доминанты – «аннексии Крыма», предопределяющей и объясняющей, с точки зрения внешних онлайн-сетевых лидеров, причины данной «несправедливости».

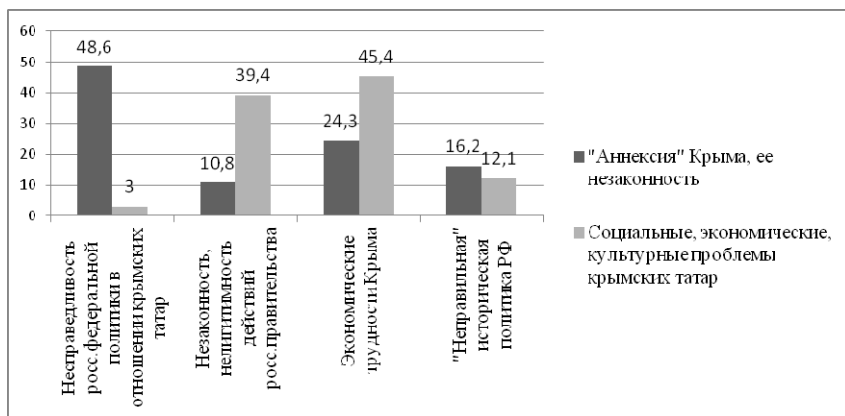


Рис 2.
Сопряженность между темой сообщения и его контекстом, в %

Говоря о модальности риторики украинских социально-медийных лидеров мнения в отношении российской власти, следует констатировать преобладание негативных оценок (61,3% сообщений), нейтральные представлены в 36,3% и позитивные – лишь в 2,4% проанализированных документов. В данном случае имеет место информационная агрессия внешних сил, направленная на искажение представлений целевой аудитории о реальных мотивах первых лиц Российского государства в процессе осуществления ими своей деятельности.

На рис. 3 установлено соотношение между тональностью сообщений в отношении российской власти и контекстами документов. Среди негативно окрашенных сообщений преобладают

два аспекта: экономические проблемы развития Крыма и смысловой акцент на незаконности решений российской власти (см. рис. 3). Конструируя дискурс негативного отношения к российской власти, внешние силы фокусируют внимание целевой аудитории на «неспособности Кремля» обеспечить устойчивое экономическое развитие «аннексированного» им полуострова.

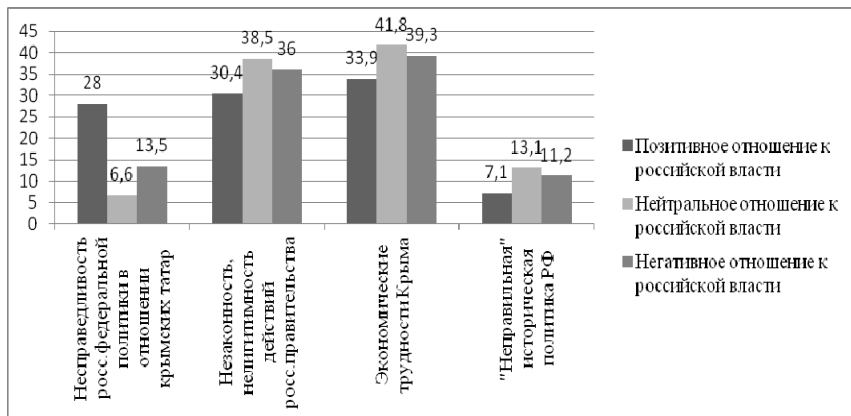


Рис. 3.

Соотношение между контекстом сообщения и выраженным в нем отношением к российской власти, в %

Обращает на себя внимание доминирование позитивных оценок органов власти РФ среди сообщений, написанных в контексте «несправедливости российской власти» в отношении крымских татар (см. рис. 3). Эта взаимосвязь характерна для массива документов, сгенерированных пророссийскими силами и делающих акцент на искажении положения крымских татар, эксплуатации «карты» исторического чувства вины граждан бывшего СССР в отношении представителей этой нации. В данных сообщениях преобладает ирония и зачастую сарказм в оценках позиции крымских татар, которые можно объяснить очевидной установкой пророссийских цифровых сообществ (ДНР и ЛНР) на критику той нации, которая имеет возможность развиваться в составе России, но склонна к негативизму в отношении российской власти.

Анализ корреляций базы когнитивного картирования показал следующие взаимосвязи:

– с ростом негативности отношения к российской власти в сообщении растет комментарийная активность в отношении сообщения (коэффициент по Пирсону $-0,198^*$);

– с ростом негативности отношения к российской власти в сообщении растет интенсивность использования эмоциональных / аффективных приемов воздействия на пользовательскую аудиторию (коэффициент по Пирсону $-0,339^{**}$);

– с ростом интенсивности проявления неконвенциональных установок по отношению к российской власти растет комментарийная активность в отношении сообщений (коэффициент по Пирсону $0,269^{**}$);

– с ростом интенсивности проявления неконвенциональных установок по отношению к российской власти растет виральный потенциал сообщений (пользовательская активность по осуществлению перепоста документа) (коэффициент по Пирсону $0,269^{**}$).

Анализ дискурсивных практик нацелен на изучение дискурсивных практик разных жанров и выявление дискурсивных приемов, наиболее заметных в информационных потоках внешних сил, таргетированных на крымскую социально-медийную аудиторию.

В анализируемый период наблюдаются две тенденции в процессе формирования дискурсивных практик, таргетированных на пользователей Республики Крым и г. Севастополя внешними силами: с одной стороны, воспроизводятся прежние дискурсы, характерные для 2014–2019 гг. («аннексия и оккупация Крымского полуострова Россией», «агрессивная политика России в отношении Украины», «нарушение гражданских прав, гонения на представителей этнических общностей: крымских татар и украинцев, неблагоприятные последствия для крымского общества санкций западных государств») [Ценностные установки молодежи Крыма и Севастополя ..., 2017, с. 45–48; Состояние и динамика русскоязычных потоков ..., 2018, с. 25–31]; с другой стороны, появляются новые дискурсивные практики на фоне развивающейся в мире и России пандемии COVID-19. Это обстоятельство используется внешними силами как повод для аргументации против решений российского правительства, как повод для дальнейшей критики в отношении органов власти России, нацеленной на снижение доверия к российской власти со стороны крымских и севастопольских пользователей социальных медиа.

Проанализируем наиболее показательные семантические пучки новых медиа, нацеленных на пользовательскую аудиторию Крыма и Севастополя.

Наиболее заметными по-прежнему остаются дискурсивные практики, ориентированные на поддержание «убежденности» крымчан и севастопольцев во временности так называемой «российской оккупации». В цифровых сообществах, лидеры которых нацелены на укрепление в сознании крымских и севастопольских подписчиков идеи о «неизбежном возвращении полуострова в Украину», делается акцент на двух аспектах: диалог с данными пользователями как с «гражданами Украины на временно оккупированной территории» и на конструирование образа России и российской власти как агрессора и захватчика. Чаще всего дискурсивным приемом в этих случаях является конструирование гиперреальности (сфабрикованной «реальности»).

Типичными высказываниями служат следующие цитаты: *«Держитесь Крымчане недолго осталось. Украинцы с вами! Вы наши люди... Теряйся оккупант, только здоровье береги, тебе и твоим детям еще платить Крымчанам за оккупацию и незаконную аннексию... В Крыму проходят очередные военно-террористические учения российских оккупантов»*¹.

Следующий дискурс, довольно представительный для социально-медийных сообществ, координируемых внешними силами и нацеленных на пользователей полуострова, – ущемление прав крымских татар. В 2018–2019 гг. исследовательский коллектив авторов отмечал снижение ставок украинских внешних онлайн-сетевых лидеров мнения на данную тему, однако когнитивное картирование содержания сообществ – отобранных кейсов – в 2020 г. позволяет говорить, что сюжет с крымскими татарами вовсе не снят с повестки. Для конструирования этого дискурса используется такой продуктивный и влиятельный прием, как бриколаж. Об этом свидетельствуют такие фразы:

«Сегодня оккупанты начали судить крымскотатарскую активистку...»

*«В Бахчисарае умерла мать арестованного крымского татарина, политзаключенного»*².

¹ Крим – це Україна | Геть руки від Криму. – Режим доступа: <https://vk.com/uakrim> (дата посещения: 10.05.2020)

² Там же.

Еще один довольно типичный для социально-медийных дискурсов последних шести лет, сфокусированных на дезинтеграцию крымского сообщества, на формирование представлений его жителей о российской власти как об агрессоре и захватчике, – так называемые «преступления РФ против Юго-Восточных регионов Украины». В данных высказываниях внешние социально-медийные лидеры концентрируются вокруг «аргументации», согласно которой «вмешательство России» ухудшило положение дел в ДНР и ЛНР:

«Зацените, какой прекрасный “русский мир” построили рашистские оккупанты в Донецке. Зарплата подсобного рабочего – 1170 грн. Это 49 \$ в месяц. Слесарь-электрик – 1500 грн. 63 \$ бакса, Карл! Зато бесплатный проезд в трамвае!»¹.

Особым дискурсом, конструируемым украинскими лидерами мнений и работающим на крымскую и севастопольскую пользовательскую аудиторию, служит способ подачи информации о российской власти, нацеленной на подрыв доверия жителей полуострова президенту РФ и его окружению. Аргументация при этом довольно узка и редуцирована до тезисов о снижении уровня жизни россиян:

«Есть такая поговорка: “лекарство хуже болезни”. Лучшие всего она подходит к тем мерам “поддержки бизнеса”, которые президент Путин предложил в своем последнем обращении. Элементарный подсчет показывает: если предприниматель решит прибегнуть к путинской “помощи”, для него это закончится плачевно»².

Заключение

1. Для исследования дискурсов информационных потоков внешнего информационного давления на регионы- и группы-мишени в социальных медиа продуктивно применение концепции социального воспроизводства дискурса, концепции критического дискурс-анализа и дискурсной теории Э. Лакло и Ш. Муффа. Син-

¹ Крымские татары – Къырымтатарлар». – Режим доступа: https://vk.com/qirimli_balalar (дата посещения: 10.05.2020)

² Информационная война. – Режим доступа: <https://vk.com/club4121067> (дата посещения: 10.05.2020)

тез положений указанных концепций и теорий исследования дискурса позволяет учитывать такие его параметры, как коэволюционная связь с социальной действительностью, направленность на идеологическое подчинение, репрезентация борьбы и конкуренции идентичностей.

2. Применение методики когнитивного картирования социально-медийного потока внешнего информационного давления позволяет структурировать данные по ряду критериев: тема, дискурс, контекст, триггер, прием воздействия, формат документа, инструмент вирусной атаки, характеристики пользовательской активности.

3. Цифровыми маркерами, делающими возможной идентификацию принадлежности лидера общественного мнения / онлайн-сообщества к сетевой инфраструктуре внешнего информационного давления, являются: негативная модальность в оценке любых действий объектов дискредитации; апеллирование к темам, стимулирующим социальный антагонизм; нацеленность на целевые группы, испытывающие затрудненный процесс формирования новой национально-государственной идентичности.

4. Искусственный, внешний характер антироссийских социально-медийных потоков, направленных на молодежь и этнические меньшинства Крымского полуострова, подтвержден данными анализа корреляций базы когнитивного картирования: с ростом негативности отношения к российской власти в сообщении растет интенсивность использования эмоциональных / аффективных приемов воздействия на пользовательскую аудиторию и увеличивается комментарийная активность.

5. Семантическое ядро информационного потока внешнего давления в крымском сегменте социальных медиа составляют такие дискурсы, как «временность оккупации», «ущемление прав крымских татар», «преступления РФ против Юго-Восточных регионов Украины». Основными манипулятивными приемами, использующимися в информационных потоках внешнего давления в Крыму, являются конструирование гиперреальности и бриколаж.

Перспективы исследования

Перспективы исследования дискурсов внешнего информационного давления в социальных медиа на регионы- и группы-мишени связаны как с новыми содержательными, так и технологическими аспектами продолжения научного поиска. В связи с этим актуальными представляются следующие задачи:

- создание прототипа интерактивной цифровой карты изменения содержания, структуры и динамики украинского информационного потока, адресованного населению Крыма и Севастополя;
- разработка типологии лидеров и центров общественного мнения в крымском сегменте социальных медиа Украины;
- определение типологии социальных, ценностных, психологических профилей молодых крымчан с затрудненной / конфликтной ресоциализацией;
- формирование базы визуальных и текстовых триггеров актуализации протестного потенциала и неконвенционального поведения молодых крымчан с затрудненной / конфликтной ресоциализацией;
- выявление системы доминирующих стратегий поведения молодых крымчан с затрудненной / конфликтной ресоциализацией и технологий трансформации неконвенционального протестного потенциала;
- создание программы рекомендаций, направленной на противодействие антироссийской риторике и купирование негативных общественно-политических эффектов внешнего информационного давления в социальных медиа Крыма и Севастополя.

Список литературы

- Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии знания. – М.: Медиум, 1995. – 334 с.
- ван Дейк Т.А. Дискурс и власть: репрезентация доминирования в языке и коммуникации. – М.: Либроком, 2013. – 344 с.
- Евгеньева Т.В. Крым в пространстве российской идентичности: образно-символическое измерение // Ценности и смыслы. – 2017. – № 4 (50). – С. 20–33.
- Зарипов Р.И. Метафорическое манипулятивное воздействие как элемент информационной войны // Вопросы психолингвистики. – 2015. – № 23. – С. 95–106.

- Кафтан В.В.* Постмодернистские основания репрезентации современной войны // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. – 2015. – № 3. – С. 58–65. – DOI: <https://doi.org/10.12737/13641>
- Кошкарлова Н.Н., Руженцева Н.Б., Зотова Е.Н.* «Российская агрессия» по-американски и «российский след» по-украински // Политическая лингвистика. – 2018. – № 1 (67). – С. 74–81.
- Кутковая Е.С.* Дискурс-анализ эмоций и теория позиционирования в исследовании социального события // Психологические исследования. – 2014. – Т. 7, № 34. – С. 6.
- Ласвель Г.* Техника пропаганды в мировой войне. – М.; Л.: Государственное издательство, 1929. – 199 с.
- Марецкая Н.А.* Отражение имиджа Украины в украинской блогосфере (2013–2015 гг.) // Научные ведомости Белгородского университета. Серия История. Политология. – 2017. – Вып. 41, № 1 (250). – С. 171–177.
- Озюменко В.И.* Медийный дискурс в ситуации информационной войны: от манипуляции – к агрессии // Вестник РУДН. Серия Лингвистика. – 2017. – Вып. 21, № 1. – С. 203–220. – DOI: <https://doi.org/10.22363/2312-9182-2017-21-1-203-220>
- Попова Т.Г., Зарипов Р.И.* Особенности метафорической репрезентации образа России в западных СМИ // Политическая лингвистика. – 2017. – № 5 (65). – С. 125–129.
- Почепцов Г.Г.* Психологические войны. – М.: Рефл-бук, К.: Ваклер, 2000. – С. 362.
- Состояние и динамика русскоязычных потоков о межнациональных и межрелигиозных отношениях в Крыму и Севастополе: киберметрия и дискурс-анализ сообщений социальных медиа рунета / Е.В. Бродовская, А.Ю. Домбровская, Д.Н. Карзубов, А.В. Чередник // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. – 2018. – № 8 (4). – С. 23–35.
- Фуко М.* Ненормальные: Курс лекций, прочитанных в Коллеж де Франс в 1974–1975 уч. г. – СПб.: Наука, 2004. – 432 с.
- Фуко М.* Порядок дискурса // Фуко М. Воля к истине: по ту сторону знания, власти и сексуальности. – М.: Касталь, 1996. – С. 47–96.
- Ценностные установки молодежи Крыма и Севастополя в сфере межнациональных отношений: результаты прикладного анализа / Е.В. Бродовская, А.Ю. Домбровская, Д.Н. Карзубов, С.А. Казаченко // Известия Тульского государственного университета. Гуманитарные науки. – 2017. – № 3. – С. 42–51.
- Шейгал Е.И.* Семиотика политического дискурса: дис. ... д-ра филол. наук. – Волгоград, 2005. – Режим доступа: <http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/EBD/10.02.00/020004014.pdf> (дата посещения: 10.05.2020)
- Fairclough N.* Critical discourse analysis as a method in social scientific research // Methods of critical discourse analysis / R. Wodak, M. Meyer (eds). – London: Sage, 2001. – P. 121–138.
- Laclau E., Mouffe Ch.* Hegemony and socialist strategy. Towards radical democratic politics. – London; New York: Verso, 2001. – 240 p.
- Libicki M.C.* What is Information Warfare? – Washington: National defense univ., 1995. – 672 p.
- Rona T.* Weapon systems and information war. – Seattle: Boeing Aerospace, 1976. – 71 p.

van Dijk T. Society and discourse. How social contexts influence text and talk. – Cambridge: Cambridge University Press, 2009. – 287 p.

E.V. Brodovskaya, A.Y. Dombrovskaya, R.V. Pyrma*
Discourses of external information pressure
in the Crimean and Sevastopol Runet segments:
features, addressees, conflict potential

Abstract. The article presents the results of an applied study of discourse formations in information flows of external origin, targeted to the Crimean and Sevastopol social media audiences. The features of external information pressure on the Crimea and Sevastopol as target regions, the methods of information aggression, information domination, carried out with the aim of deconsolidating the peninsula community, undermining the trust of its representatives of the Russian government, biasing ideas and stereotyping the motives of the leaders of the Russian state, are studied. The research design is based on a comprehensive, hybrid empirical analysis strategy and includes methods of quantitative and qualitative approaches. Cognitive mapping of the content of messages of digital communities moderated by external leaders involves a structural analysis of contextual, thematic characteristics of information related information flows, establishing a relationship between the thematic palette of external information pressure and manipulation techniques, message tonality and user resonance on these information flows. The study of discursive practices of selected digital groups is aimed at a meaningful analysis of discourse formations of various genres, discourse techniques focused on the formation of stereotypes of target groups thinking in relation to the problems of the development of Crimea as part of the Russian Federation. Based on the results of the study, a conclusion is made about thematic dominants, leading methods for the formation of discourses, the relationship between the leading techniques of stereotyping consciousness of a user audience – a target of external forces and characteristics of public resonance. At the end, as one of the many perspectives of the study, the creation of a program of recommendations aimed at counteracting anti-Russian rhetoric and stopping the negative socio-political effects of external information pressure in the social media of Crimea and Sevastopol is announced.

* **Brodovskaya Elena**, Financial university under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russia); Moscow state pedagogical university (Russia, Moscow), e-mail: brodovskaya@inbox.ru; **Dombrovskaya Anna**, Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russia); Moscow state pedagogical university (Russia, Moscow), e-mail: an-doc@yandex.ru; **Pyrma Roman**, Financial university under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russia), e-mail: pyrma@mail.ru

Keywords: discourse; discourse techniques; external information pressure; information domination; information aggression; target regions; social media; Crimea; Sevastopol; cognitive mapping; discourse analysis.

For citation: Brodovskaya E.V., Dombrovskaya A.Y., Pyrma R.V. Discourses of external information pressure in the Crimean and Sevastopol Runet segments: features, addressees, conflict potential. *Political science (RU)*. 2020, N 3, P. 243–265. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.03.11>

References

- Berger P., Luckmann T. *Social construction of reality: a treatise in the sociology of knowledge*. Moscow: Medium, 1995, 334 p. (In Russ.)
- Brodovskaya E.V., Dombrovskaya A. Yu., Karzubov D.N. et al. Value orientations of youth of Crimea and Sevastopol in sphere of international relations: results of the applied analysis. *Bulletin of the Tula State University. Film Humanities*. 2017, N. 3, P. 42–51. (In Russ.)
- Brodovskaya E.V., Dombrovskaya A. Yu., Karzubov D.N. et al. The status and dynamics of Russian-lingual threads on inter-ethnic and inter-religious relations in the Crimea and Sevastopol: cybermetric and discourse analysis of social media messages in runet. *Humanities and Social Sciences. Bulletin of the Financial University*. 2018, N. 8 (4), P. 23–35. (In Russ.)
- Evgenyeva T.V. Crimea in the space of Russian identity: figurative and symbolic dimension. *Values and meanings*. 2017, N 4 (50), P. 20–33. (In Russ.)
- Fairclough N. Critical discourse analysis as a method in social scientific research. In: *Methods of critical discourse analysis*. R. Wodak, M. Meyer (eds). London: Sage, 2001, P. 121–138.
- Foucault M. *Abnormal: lectures at the College de France, 1974–1975*. Saint Petersburg: Nauka, 2004, 432 p. (In Russ.)
- Foucault M. The order of discourse. In: Foucault M. *The will to the truth: Beyond knowledge, power and sexuality*. Moscow: Castal, 1996, P. 47–96. (In Russ.)
- Laclau E., Mouffe Ch. *Hegemony and socialist strategy. Towards radical democratic politics*. London, New York: Verso, 2001, 240 p.
- Libicki M.C. *What is Information Warfare?* Washington: National defense univ., 1995, 672 p.
- Kaftan V.V. Post-modernist grounds of modern warfare representation. *Humanities and Social Sciences. Bulletin of the Financial University*. 2015, N 3, P. 58–65. DOI: <https://doi.org/10.12737/13641> (In Russ.)
- Koshkarova N.N., Ruzhentseva N.B., Zotova E.N. «Russian aggression» American-style and «Russian trace» Ukrainian-style. *Political Linguistics*. 2018, N. 1 (67), P. 74–81. (In Russ.)
- Kutkovaya E.S. Discourse analysis of emotions and positioning theory in studying social events. *Psikhologicheskie Issledovaniya*. 2014. N. 34, P. 6. (In Russ.)
- Lasswell H.D. *Propaganda technique in the World War*. Moscow, Saint Petersburg: State Publishing House, 1929, 199 p. (In Russ.)

- Maretskaya N.A. The reflection of the image of Ukraine in the Ukrainian blogosphere (2013–2015 years). *Scientific bulletins of the Belgorod State University. Series: History. Political science*. 2017, N 1 (250), P. 171–177. (In Russ.)
- Ozyumenko V.I. Media discourse in an atmosphere of information warfare: from manipulation to aggression. *Russian Journal of Linguistics*. 2017, Vol. 21, N 1, P. 203–220. DOI: <https://doi.org/10.22363/2312-9182-2017-21-1-203-220> (In Russ.)
- Popova T.G., Zaripov R.I. Metaphorical representation of Russia's image in western media. *Political Linguistics*. 2017, N 5 (65), P. 125–129. (In Russ.)
- Pocheptsov G.G. *Psychological wars*. Moscow: Reflbook, 2000, 362 p. (In Russ.)
- Rona T. *Weapon systems and information war*. Seattle: Boeing Aerospace, 1976, 71 p.
- Sheigal E.I. *The semiotics of political discourse: dis...* Dr. Sci. (Filol). Volgograd, 2000. Mode of access: <http://irbis.amursu.ru/DigitalLibrary/EBD/10.02.00/020004014.pdf> (accessed: 05/10/2020) (In Russ.)
- van Dijk T. *Discourse and power*. Moscow: Librocom, 2013, 344 p. (In Russ.)
- van Dijk T. *Society and discourse. How social contexts influence text and talk*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009, 287 p.
- Zaripov R.I. Manipulation impact through metaphors as an element of information warfare. *Journal of Psycholinguistics*. 2015, N 23, P. 95–106. (In Russ.)

А.В. СОКОЛОВ, А.В. ПАЛАГИЧЕВА*

МОБИЛИЗАЦИЯ И ДЕМОБИЛИЗАЦИЯ В СЕТЕВОМ ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОТЕСТЕ¹

Аннотация. В статье рассмотрены сущность сетевого политического протеста и подходы к его пониманию. Традиционные формы коллективных действий изменяются под влиянием информационно-коммуникативных технологий. Сетевая парадигма акцентирует внимание на позиции индивида в социальном пространстве, степени его включенности в коммуникативное пространство, возможности контроля и регулирования интенсивности информационного потока. Сетевые структуры оказываются гибкими и адаптивными, они в большей степени, чем иерархизированные структуры, соответствуют новой реальности. Выявлены особенности сетевой структуры политического протеста.

Также в статье анализируются процессы политической мобилизации и демобилизации, в которых выражается соперничество конфликтующих сторон – государства и общества. На основе данных мониторингового исследования, проведенного методом опроса экспертов в период 2014–2019 гг. не менее чем в 14 субъектах Российской Федерации, определены особенности развития гражданского протестного активизма и использования мобилизационных технологий. Значительное влияние на их формирование и трансформацию оказывают информационно-коммуникативные технологии. Государство, реагируя на реальную и

***Соколов Александр Владимирович**, доктор политических наук, заведующий кафедрой социально-политических теорий, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова (Ярославль, Россия), e-mail: alex8119@mail.ru; **Палагичева Ася Владимировна**, ассистент кафедры социально-политических теорий, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова (Ярославль, Россия), e-mail: fortnightingale@gmail.com.

¹ Статья подготовлена в рамках исследования, финансируемого за счет гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки молодых российских ученых МД-855.2020.6 «Мобилизация и демобилизация в современных практиках протестной активности».

виртуальную активность, формулирует стратегию противодействия протестующим, предполагающую использование технологий демобилизации граждан.

Ключевые слова: конфликт; сетевой протест; мобилизация; демобилизация; государство; общество; Интернет; коллективные действия.

Для цитирования: Соколов А.В., Палагичева А.В. Мобилизация и демобилизация в сетевом политическом протесте // Политическая наука. – 2020. – № 3. – С. 266–297. – DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.03.12>

Сетевой протест: сущность и подходы к пониманию

Динамичность общественных процессов, противоречия интересов и приоритетов различных социальных групп формируют условия для развития конфликтов, способных значительно повлиять на политическое пространство. Одна из форм проявления такого рода конфликтов – протест.

В политической науке нет однозначной трактовки сущности протеста. В рамках одного подхода исследователи делают акцент на функциональной интеграции общества, трактуют любое оспаривание сложившихся норм и практик как патологию и следствие социальной дезинтеграции [Travaglino, 2014]. Возникающий конфликт может быть нивелирован только благодаря механизмам социального контроля [Drury, Stott, 2011].

Другой подход интерпретирует протест как публичное выражение недовольства, обиды, инакомыслия, позволяющее снять накопившееся напряжение [Travaglino, 2014]. При этом, как указывал К.-Г. Опп, включение граждан в протестные действия возможно только в тех случаях, в которых они могут рассчитывать на изменение своего (группового) статуса вследствие таковых действий [Opp, 2012].

В рамках третьего подхода протест, как и в целом конфликт в различных его проявлениях, опривычивается, признается естественным состоянием субъектов в ситуации наличия противоречий [Piven, Cloward, 1991, p. 439]. Протест понимается как организованная и скоординированная деятельность граждан, направленная на процесс принятия решений с целью повлиять на него. В связи с этим сторонники данного подхода придают особое значение оптимизации функционирования формальных организаций, способных, по их мнению, обеспечивать достижение результата в рамках протестных действий [Piven, Cloward, 1991, p. 448].

В то же время Ч. Тили утверждает, что протест – это действие, которое находится за рамками «нормальной» политики и не может восприниматься как «опривыченное» [Tilly, 1975, p. 380–455]. По его мнению, протест демонстрирует игнорирование сложившихся норм субординации и разрушает правила допустимых форм политического действия.

В рамках концепции относительной депривации мотивирующей установкой к протестному поведению является чувство обездоленности, нехватки, лишения чего-либо и вытекающей из этого фрустрации. Относительность депривации заключается в субъективном характере восприятия обездоленности одной социальной группой относительно другой [Сорокин, 2005, с. 209]. Т. Гарр дополняет теорию относительной депривации вводом еще двух факторов протестного потенциала [Гарр, 2005, с. 30–31]. Первый фактор – это убеждения депривируемых социальных групп, что протест оправдан с точки зрения риска. Второй – это компромисс между способностью депривируемых граждан к самоорганизации в защиту своих ущемленных интересов и способностью власти к контролю над недовольством. А.В. Коротаев, А.Р. Шишкина и А.А. Балтач указывают, что относительная депривация выступила одним из факторов социально-политической нестабильности на Ближнем Востоке, повлекшей за собой «арабскую весну» [Коротаев, Шишкина, Балтач, 2019].

Важным представляется подход Б. Кландерманса, который делает акцент на субъективных факторах вовлечения граждан в протест как конфликтную форму коллективного действия [Klandermans, 2014]. Автор указывает, что принципиально значимо то, как именно индивиды воспринимают собственное положение в обществе, как они оценивают выгоды и издержки участия в конфликте. Особое внимание ученый уделяет анализу и интерпретации приверженности индивидов группе, интенсивности существующей индивидуальной и групповой идентичности. Б. Кландерманс делает вывод, что чем больше индивид отождествляет себя с группой, тем больше вероятность его действий в защиту ее интересов. В связи с этим современные исследования демонстрируют значительный потенциал социальных сетей в формировании групповой идентичности, позволяющей мобилизовывать активистов в коллективные действия [Merle, Reese, Drews, 2019].

При этом ряд исследователей обращают внимание на специфику влияния на активистов различных по содержанию постов в социальных медиа. Изучая различные форматы постов и материалов, Р. Хайсс, Д. Шмак и Й. Маттес установили, что эмоционально окрашенные посты привлекают большее внимание, а мобилизационные посты отрицательно сказываются на вовлеченности пользователей [Heiss, Schmuck, Matthes, 2019].

Можно говорить, что протест является формой коллективного действия, направленного на изменение социально-политической реальности. Поэтому есть основания интерпретировать протест как вид обратной связи общества и государства. Конфликт между ними может как разрушать стабильность, так и способствовать ее формированию посредством достижения нового баланса интересов [Никовская, 2012, с. 7]. В связи с этим протест можно интерпретировать в качестве одной из форм публичного оспаривания, проявляющегося в виде коллективного сопротивления граждан решениям и действиям власти через противодействие их реализации или выдвижение требований, требующих их отмены или изменения [Савенков, 2020].

Зачастую протест становится единственным рычагом воздействия на принятие властью политических решений. При этом в обществе закрепились представления о последовательности: проблема – протест – общественное внимание – действия властей. Понимая эту закономерность, власти стремятся не допустить распространения протестной повестки в информационном пространстве, использовать инструменты фильтрации контента. В результате отсутствия какой-либо поддержки со стороны населения конфликт достаточно быстро завершается. В тех случаях, когда организаторам протеста удастся обеспечить широкую информационную поддержку собственным действиям, наблюдается разрастание конфликта, вовлечение большого количества участников и наблюдателей, накопление негативного опыта взаимодействия власти и общественных структур, а также социального напряжения.

Происходит процесс трансформации традиционных форм и методов коллективного действия граждан по отстаиванию своих прав и законных интересов, видоизменяются традиционные модели гражданской активности и гражданского участия. Одним из значимых факторов данных изменений стало развитие информационно-коммуникативных технологий. Они способствуют развитию сете-

вых практик, нередко выступающих ответом на кризисное состояние большинства традиционных социально-политических институтов, действующих на иерархических принципах и не способных демонстрировать эффективность в новых условиях.

Сетевая парадигма акцентирует внимание на позиции индивида в социальном пространстве, степени его включенности в коммуникативное пространство, возможности контроля и регулирования интенсивности информационного потока. Сетевые структуры оказываются более гибкими и адаптивными, в большей степени соответствующими новой реальности.

Важной характеристикой сетевого взаимодействия является доверие между членами группы, которое способствует формированию связей между отдельными индивидами в группе [McPherson, Smith-Lovin, Cook, 2001].

В связи с этим можно согласиться с мнением Е.В. Морозовой и А.А. Гнедаш, которые характеризуют современные процессы в обществе так: «Сети формируют “новые” объединяющие смыслы, практически осваиваемые в offline- и online-пространствах, побуждают участников сети к локальным или масштабным коллективным действиям, направленным на изменения в сфере публичной политики» [Морозова, Гнедаш, 2012].

Исследователи отмечают, что сети строятся на общности целей, добровольности, независимости взаимодействующих субъектов, наличии нескольких лидеров и многоуровневой коммуникации [Маковеева, 2012, с. 164]. Это позволяет выстраивать более эффективную коммуникацию, снижать издержки взаимодействия, повышать степень удовлетворенности взаимодействующих субъектов [Ibarrá, 1993].

Интернет стал и средой протестной активности, и фактором ее формирования, развития, функционирования, а сетевизация в значительной степени увеличивает численность вовлеченных в протест граждан, что повышает шансы на успех и результативность кампании. Многочисленные преимущества Интернета как инструмента организации протестных действий делают его незаменимым и обязательным в использовании общественными активистами.

В связи с этим А.А. Мелькевич отмечает, что современным политическим протестам свойственны сетевизация и технологизация [Малькевич, 2020, 37]. Они обусловлены, в числе прочего,

активным использованием в процессе организации коллективных действий и мобилизации сторонников социальных сетей.

Как отмечают в своем исследовании К. Клеман, О. Мирясова и А. Демидов, опыт организации сетевых протестов позволяет говорить о том, что они существенно более эффективны в процессе мобилизации активистов и ресурсов для достижения общей цели, чем протесты, построенные по традиционным методам работы [Клеман, Мирясова, Демидов, 2010, с. 83]. Коллективные действия граждан представляют собой организационные структуры, не имеющие жесткой иерархии, избавленные от лишних управленческих звеньев и демонстрирующие высокую эффективность коммуникации [Усачева, 2012, с. 37].

Мобилизация и коммуникация в сетевом протесте осуществляются посредством таргетированного взаимодействия, культуры сотрудничества, «плоской» иерархии, личной мотивации и вовлеченности активистов. Мобилизацию понимают как коллективное действие, инициированное, как правило, социально-политическим конфликтом [Яницкий, 2012, с. 3]. Мобилизация реализуется через объединение сообществ для достижения целей [Кремень, 2013, с. 146]. Также мобилизация рассматривается как процесс происходящих в обществе изменений, так как под этим следует понимать реакцию социума – инициируемую либо самим обществом, либо властью [Коммуникативные технологии ..., 2016].

Мобилизация напрямую связана со становлением протестной кампании. Демобилизация, в свою очередь, становится неизбежным ее результатом [Della Porta, Tarrow, 1986]. Последнюю понимают как процесс снижения масштаба и границ действия протестной активности [Tarrow, 1998]. Для нее характерны сокращение ресурсов вовлечения, снижение потенциала «бросить вызов» государству. Демобилизация включает последовательные взаимодействия между субъектами – лидерами кампаний, активистами, массовой общественности и государства [Demirel-Pegg, Pegg, 2015, p. 655].

Демобилизацию, на наш взгляд, можно рассматривать как процесс управления, нацеленный на приведение активных социальных групп в состояние отстраненности от политической деятельности и чувства гражданственности. Также под политической демобилизацией понимают целенаправленное подавление и / или искажение осознанных предпочтений человека [Коммуникативные

технологии ..., 2016, с. 212]. Так как демобилизация бывает и естественной, и регулируемой, мы делаем акцент на изучении демобилизации как целенаправленного действия субъекта, в качестве которого выступают государственные органы власти.

Процессы мобилизации и демобилизации особенно характерны для сетевого протеста. В них выражается соперничество конфликтующих сторон за получение поддержки и одобрения со стороны широких общественных масс, которые легитимизируют ту или иную отстаиваемую позицию. В результате физических и символических взаимодействий между социальными движениями и их противниками, а также потенциальными союзниками, возникают и трансформируются типы взаимодействий. Изменения происходят при столкновениях между социальными движениями и властями, при контрдвижениях, в ряде взаимных корректировок. Это оказывает влияние на эволюцию протеста во время консолидации [Della Porta, 2016, p. 3].

Рассматривая поведение протестных групп и представителей власти, изменение их стратегий, мы обращаемся к реляционным механизмам. Их определяют как причинные механизмы, изменяющие отношения между людьми, группами и межличностными сетями, в то время как процессы относятся к действиям состязательной политики, которые являются трансформирующими и имеют крупномасштабные последствия [Demirel-Pegg, Pegg, 2015, p. 656].

Через признание общественностью позиции одной из сторон формируется ресурсная база. Сетевая структура протеста, как одна из наиболее успешных в вопросе обеспечения движения ресурсами, повышает ее жизненный цикл и способность взаимодействовать с органами власти или противодействовать им, как антагонистам [Brantly, 2019, p. 366]. Человеческий ресурс, который является одним из важнейших и содержит в себе многие другие (финансовый, кадровый и т.д.), в разной мере сосредотачивается у сторон конфликта. Мобилизация и демобилизация становятся инструментами, воздействующим на принятие политического решения.

Субъектами сетевого протеста выступают государство (в лице органов власти, административных центров и иных учреждений) и общественность (в лице активистов и их объединений). От особенностей, характерных для этих субъектов, зависит реализация процессов мобилизации и демобилизации.

Таким образом, можно говорить, что протест является естественным феноменом в тех случаях, когда формируются значительные социальные дисбалансы, накапливаются объективные и субъективные противоречия. Современные исследования протеста демонстрируют формирование его новых характеристик: сетевого характера, значительной роли информационно-коммуникативных технологий в процессе его организации, а в связи с этим и влияния дискурса и содержания повестки в информационном пространстве. При этом чем в большей степени организаторам протеста удастся эффективно использовать данные характеристики в иницилируемой ими протестной кампании, тем большая вероятность достижения его организаторами своих целей. Их действия должны быть ориентированы на вовлечение новых активистов – их активную мобилизацию. Однако они столкнутся с действиями (демобилизацией), направленными на снижение их активности с целью сохранения сложившегося соотношения сил и механизмов функционирования общественно-политической системы.

Два этих процесса (мобилизация и демобилизация) демонстрируют противоречия и соперничество за ресурсы, статусы, легитимность. При этом каждая из сторон конфликта обладает собственным потенциалом и репертуаром действий.

Методика исследования

Для анализа особенностей коллективных действий в современной России авторами проведена серия опросов экспертов в субъектах Российской Федерации. В 2014 г. в исследование был включен 21 регион, в 2015 – 14, в 2017 – 15, 2018 – 14, в 2019 г. – 15 (табл.).

Для проведения опроса экспертов ежегодно отбиралось не менее 14 субъектов РФ. Репрезентативность выборки регионов обеспечивалась исходя из принципа гетерогенности по следующим критериям отбора:

- географическое положение;
- экономическое развитие региона;
- политическая система субъекта РФ;
- социальная и демографическая структура;
- этническая и религиозная структура региона;

- региональный политико-административный режим;
- территориальная принадлежность к определенному федеральному округу.

Таблица

**Распределение выборки
и количество респондентов исследования**

<i>Субъект Федерации</i>	<i>2014</i>	<i>2015</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>
Алтайский край	12	–	–	10	–
Владимирская область	12	–	–	–	–
Вологодская область	11	–	–	–	–
Воронежская область	11	12	11	13	12
Иркутская область	14	11	10	11	10
Калининградская область	11	–	11	10	10
Кемеровская область	–	–	–	10	12
Кировская область	13	12	11	–	11
Костромская область	10	11	11	12	11
Краснодарский край	10	10	–	–	–
Нижегородская область	10	–	–	–	–
Новосибирская область	10	15	–	–	–
Республика Адыгея	11	11	12		11
Республика Башкортостан	10	11	10	10	10
Республика Дагестан	12	13	11	–	13
Республика Карелия	11	–	–	–	–
Республика Татарстан	10	10	10	11	12
Ростовская область	–	–	14	11	11
Самарская область	10	13	11	13	10
Саратовская область	12	14	14	13	–
Ставропольский край	–	–	10	10	10
Ульяновская область	10	10	10	10	10
Хабаровская область	10	–	–	–	–
Ярославская область	13	12	16	11	12
Всего	233	165	172	155	165

Реализация принципа гетерогенности при отборе регионов обеспечивала репрезентативность выборки размером более чем в 14 субъектах РФ.

В соответствии с методикой выбранные для исследования регионы входят в шесть федеральных округов: от Северо-Западного до Сибирского округа (не попали в выборку Уральский и Дальневосточный федеральные округа). Применение данного

подхода для анализа гражданской активности позволяет распространять выводы настоящего исследования на страну в целом.

Компетентность и осведомленность по изучаемой проблеме стали главными критерием отбора экспертов. Каждая из целевых групп была представлена относительно равномерно в каждой из выборок (как в каждом субъекте Федерации, так и в выборке в целом): представители органов власти (примерно 35% выборки), представители НКО и политических партий (примерно 30%), представители экспертного сообщества (примерно 35%).

Центральным критерием отбора экспертов была компетентность, предполагающая:

- информированность о протестной активности в регионе;
- знание основных механизмов функционирования политической системы региона;
- вхождение в ту или иную региональную политическую элитную группу;
- опыт работы в сфере публичной политики и / или в органах государственной власти и местного самоуправления;
- знание основных акторов регионального политического процесса;
- знание политической конъюнктуры региона.

Общее количество респондентов для опроса экспертов в каждом субъекте Российской Федерации составляло не менее десяти человек. Это позволяло получить репрезентативные данные о ситуации в регионе.

Для опроса экспертов использовались полужформализованная анкета и заочный письменный сбор данных. При стандартном порядке проведения опроса респондент самостоятельно заполнял вопросник, высланный по электронной почте. В исключительных случаях опрос проводился по телефону.

Для обработки результатов опроса применялся статистический анализ данных в программном продукте SPSS. В ходе обработки применялся метод независимых характеристик. Он позволял дать обобщенную оценку одного явления, информация о котором поступала от нескольких независимых экспертов. На первом этапе выявлялись и сопоставлялись разные мнения, на втором – обрабатывались с помощью статистических процедур для определения позиций экспертов (оценки уровня гражданской активности, различных форм гражданской активности, распространенности коа-

лий и партнерств, определение наиболее значимых принципов кооперации, факторов, влияющих на эффективность гражданской активности, уровня и причин протестов, форм реакции органов власти на протесты), на третьем – формулировались выводы.

Представленные в статье результаты исследования были дополнены обобщениями конкретных примеров организации коллективных действий в современной России.

Гражданский активист как субъект мобилизации и объект демобилизации

Формирование протестных настроений в обществе и последующая их реализация через различные формы участия граждан во многом обусловлены спецификой политического режима и текущей институциональной средой. Мобилизация и демобилизация в сетевом политическом протесте представляют собой процесс взаимодействия между властью и обществом. Необходимость в осуществлении протестных действий свидетельствует об отсутствии иных реально действующих и доступных для граждан путей влияния на процесс принятия решений. Ригидность существующих государственных институтов, а также их закрытость и неготовность вступить в коммуникацию с гражданами способствуют формированию коллективного действия для достижения общих целей.

Политическая среда общественного движения влияет на форму, интенсивность и результаты протеста. Теория политических возможностей стала одной из ведущих парадигм в изучении социальных движений, но по-прежнему не существует единого мнения относительно того, как возможности влияют на протест. Общая идея заключается в том, что когда они расширяются, возможности сигнализируют активистам, что коллективные действия будут эффективными, тем самым поощряя дальнейший протест. И наоборот, сокращение возможностей оказывает демобилизующий эффект [Kowalchuk, 2005, p. 238].

В отсутствие действенных каналов коммуникации с властью социальные дисбалансы способствуют формированию и накоплению протестного потенциала. Гражданские активисты имеют возможность не только оказывать влияние на процесс принятия поли-

тических решений, но и регулярно самосовершенствоваться в своих навыках политического участия.

Как демонстрируют результаты проведенного исследования, общий уровень гражданской активности в российском обществе в 2019 г. оставался приблизительно таким же, как и в предыдущие два года. Если в 2017 г. этот показатель, по оценкам экспертов, составлял 5,28, то в 2018 – 5,66, а в 2019 г. – 5,6 (рассчитанное как среднее суммы значений развития офлайн- и онлайн-активности по шкале от 0 до 10 баллов). Особенность динамики развития гражданского активизма в 2019 г. заключается в том, что замечен его рост в Интернете (рост с 5,3 в 2014 г. до 6,3 в 2019 г.), в то время как в офлайне наблюдается противоречивая тенденция (в 2017 г. среднее значение оценок экспертов составило 4,9, в 2018 – 5,3, а в 2019 г. – 4,91).

Кроме того, отмечается активизация деятельности незарегистрированных общественных объединений. В 2019 г. – впервые за все время исследования (с 2014 г.) – они оказались более активными, чем зарегистрированные организации (если в 2014 г. 28,8% экспертов отметили, что незарегистрированные объединения граждан демонстрируют наибольшую активность, то в 2019 г. – 34,8%, в то время как официально зарегистрированные объединения признавались наиболее активными 34,1% и 32,9% экспертов соответственно). Возрастание роли социальных медиа в жизни граждан, самообучение гражданских активистов мобилизационным технологиям за счет возможностей Интернета, накопления практического опыта гражданского участия, поиск новых форм гражданской активности, использование преимущества сетевой формы организации, а также распространенность протестов по локальной (частной) проблеме местного значения – все это привело к повышению активности неформальных движений.

Однако организаторы различных акций, как более осведомленные о деятельности общественных объединений, отмечают наибольшую активность все же зарегистрированных объединений. Рядовые участники акций могут оценивать деятельность организаций только через призму информационных сообщений и присутствие в медийном поле. Неформальные объединения чаще возникают ситуативно, как реакция на проблему, и сразу стремятся захватить информационное пространство для обеспечения массовой под-

держки, что делает их более заметными для обычных граждан, чем классические зарегистрированные общественные объединения.

Контент как зафиксированная информация не может быть целостным отражением произошедшего события или описываемого явления. Из зафиксированного материала мы можем узнать только о событии или явлении, а не воспринять событие так, как оно произошло в действительности [Быков, Гладченко, 2019, с. 216]. Формирование устойчивого медиадискурса необходимо для результативности мобилизации. С данным выводом согласны Дж. Ким и К.Д. Хен, которые приходят к выводу, что политическое согласие или несогласие с информационным ресурсом может вести как к увеличению, так и к уменьшению политической активности [Kim, Hyun, 2017].

Используя Интернет и социальные сети для коммуникации, протестные группы привлекают граждан к участию в конфликте через генерирование и распространение контента на различных цифровых площадках (призывов к сплочению, самоорганизации и решению проблемы; разоблачающего контента, подтверждающего несправедливость текущего положения дел; подрыва авторитета лидеров другой стороны конфликта). К аналогичным выводам пришел Р. Родинельюссен. Описывая роль Facebook в военном конфликте в Сирии, исследователь отмечает, что он стал элементом инфраструктуры мобилизации, а также средством эффективного распространения революционных настроений среди пользователей [Rodineliussen, 2019].

Процесс демобилизации во многом зависит от более ранних процессов конфликта. Сторонники концепции состязательной политики определяют последовательность процессов внутри этапа становления протестных кампаний через мобилизацию, формирование коалиции и фазу так называемого масштабного сдвига. Таким образом, благодаря мобилизации протест распространяется на различные группы, влияя на их кооперацию, т.е. на процесс формирования коалиций [Rasler, 2015].

Результаты исследования демонстрируют развитие кооперационных тенденций в процессе организации общественных кампаний. Если в 2014 г. 60,5% экспертов отмечали, что создаваемые коалиции включают двух-трех партнеров, то в 2019 г. таковых экспертов было всего 30,6% (среднее значение по онлайн- и офлайн-коалициям). В то же время доля экспертов, отмечающих формиро-

вание коалиций из шести – девяти партнеров, увеличилась с 7,6 до 10,7%, 10–15 партнеров – с 1,9 до 10,8%, а более 15 партнеров – с 3,3 до 7,3% соответственно.

Примечательно, что в онлайн-гражданские активисты в большей степени склонны к партнерству, чем в офлайне. Так, гражданские объединения в Интернете часто составляют от шести до 15 и более участников. Партнерства в офлайне чаще всего насчитывают до шести участников. Различие в уровне взаимодействия и создания партнерств связано с ростом популярности онлайн-активности. Интернет выступает площадкой, удобной для мобилизации граждан и формирования многочисленных сетей.

Стоит отметить, что офлайн-коалиции создаются гораздо чаще, по сравнению с онлайн-коалициями (в частности, в 2019 г. 19,5% экспертов отметили, что в процессе офлайн-активности коалиций не создавалось, в то время как относительно онлайн-активности такое мнение высказали 27,8%). Вероятно, это связано с тем, что в Интернете преобладают неформальные отношения общественных активистов и организаций. В процессе их деятельности не фиксируется организационная структура партнерств. Важна сама цель, к которой движутся активисты, осуществляя деятельность в партнерстве. Неформальные объединения граждан чаще действуют самостоятельно, инициативно, параллельно, но на пути к общей цели. В этом прослеживаются сетевые принципы организации. Деятельность же официально зарегистрированных организаций более четко структурирована, подотчетна, иерархизирована. В связи с этим коалиция как организационная структура в большей степени используется для мобилизации сторонников.

Объединение общественных организаций в партнерства и коалиции все чаще практикуется для поддержания и развития сетевого протеста. Мобилизация объединенными группами имеет особенность, которая позволяет привлечь к участию в конфликте широкие массы. Она заключается в том, что внутри отдельных сообществ уже существуют социальные связи, групповая идентичность, а лидер объединения уже заручился поддержкой единомышленников. Эти факторы усиливают мотивацию граждан к участию в протесте.

Особенно успешны многочисленные партнерства в Интернете. Например, к протесту по сохранению сквера у драматического театра в Екатеринбурге в социальных сетях присоединилось боль-

шое количество городских сообществ. В результате активность вышла за пределы Интернета. На территории сквера стали проводиться общественно-досуговые мероприятия по инициативе горожан. Ярким примером использования многочисленных партнерств для мобилизации граждан стало проведение концерта 13 уральских музыкальных коллективов в поддержку сквера¹.

Важнейшими принципами для кооперации общественных объединений и гражданских активистов по-прежнему остаются общность интересов (целей) и добровольный характер участия (8,19 балла и 7,74 балла соответственно по шкале от 1 до 10). Далее по важности следует отметить необходимость наличия развитой системы внешней коммуникации (7,51 балла), открытость (7,38), взаимодействие на основе доверия (7,18), четко регулируемые финансовые вопросы (7,05) и организацию коммуникаций, обеспечивающих равный доступ к информации для всех членов коалиции (7,03 балла). При этом наблюдается рост среднего значения сетевых принципов функционирования кооперации общественных организаций и гражданских активистов с 6,28 балла в 2015 г. до 6,95 балла в 2019 г. Это позволяет говорить о постепенном развитии сетевого характера формирующихся объединений граждан.

Вокруг одних интересов (целей) самостоятельно объединяются не просто активисты, но единомышленники – люди схожих взглядов. Они имеют общее направление деятельности, одни устремления, едины в методах их достижения. Например, вся страна была вовлечена в «мусорный» конфликт, начиная с московских протестов и заканчивая Шиесом. Экологические протесты в России с непосредственно ощутимой проблемой имеют устойчивую мотивацию, являются менее уязвимыми и поддерживаются экологическими активистами, которые имеют высокую способность к организации и лидерству [Соколов, Палагичева, 2018, с. 194]. Показательно, что словами 2019 г., которые чаще всего употреблялись в СМИ, согласно заявлению Института русского языка имени Пушкина, стали «пожар» и «протест». Они связаны с пожарами в Сибири и московскими протестами².

¹ Сообщество во «ВКонтакте» «Парки и скверы Екатеринбурга». – Режим доступа: <https://vk.com/skverkoncert> (дата посещения: 20.05.2020)

² Институт русского языка назвал «пожар» и «протест» словами года // Газета.ru. – 2019. – Режим доступа: https://www.gazeta.ru/science/news/2019/11/08/n_13673462.shtml (дата посещения: 23.03.2020)

В результате несогласия или неудовлетворенности решениями / действиями органов власти гражданские активисты готовы мобилизоваться для участия в протесте как в конфликте интересов. Наиболее распространенными причинами онлайн- и офлайн-протестов являются локальные (частные) проблемы (42% экспертов назвали данную причину ключевой, вызывающей протест). Сильнейший мобилизационный эффект имеет сама суть проблемы и реакция власти на нее, в том числе предложения по ее решению. Ярким примером является протест против строительства храма в Екатеринбурге.

При этом наличие общественного объединения по решению возникшей проблемы важно для поддержания мотивации уже вовлеченных и потенциальных активистов. Это актуально как для онлайн-, так и для офлайн-протеста. Так, готовность к уличным акциям против пенсионной реформы 2018 г. не нашла практического выражения не столько в силу патернализма и пассивности общества, сколько по причине отсутствия организованного общенационального движения, в котором протестные настроения могли бы выразить себя политически. Иными словами, декларированное в социологических опросах недовольство реформой не смогло обрести в разрозненных митингах оппозиции то, что Чарльз Тилли обозначал как идентичность социального движения – единый образ большинства, «нас», предъявляющих общие требования по отношению к их объекту (например, правительству или президенту) [цит. по: Будрайтскис, 2018, с. 73].

Одной из тенденций развития гражданской активности является повышение роли сопровождения офлайн-деятельности различными онлайн-формами. Кроме того, на достижение целей активистов в регионах все большее влияние оказывает политическая активность в Интернете. Коллективные действия в Сети стали продолжением протеста в реальности. Онлайн- и офлайн-активности стимулируют развитие и повышают результативность друг друга.

Мобилизуясь в протест, активисты тем самым противодействуют органам власти как одной из сторон конфликта. В качестве ответа организуется противоположная деятельность – демобилизационная. При этом протестные группы идентифицируют применяемые технологии демобилизации в конфликте. Они прогнозируют их, подвергают анализу и используют для собственной пользы, т.е. мобилизации граждан за счет, например, дискредитации оппо-

нента. Так, для контроля «чистоты» официального голосования по поводу строительства храма в Екатеринбурге активисты создали бота в Telegram¹. Он помог собрать информацию от участников опроса, чтобы оценить беспристрастность формулировок и т.д. Кроме того, активисты параллельно организовали свои опросы – с помощью исследовательских центров, а также социальных сетей².

Важно отметить, что обе стороны конфликта используют технологии мобилизации – для привлечения своих единомышленников, а также демобилизации – для снижения массовости поддержки своего оппонента и достижения своей цели. Техники их применения обеими сторонами схожи. Однако отличия все-таки присутствуют ввиду особенностей стратегий сторон конфликта, разности возможностей, ресурсов и других факторов. В то же время следует согласиться с К.А. Платоновым и Д.И. Юдиной, что выделяются две основные модели участия в протестных движениях (как с мобилизирующей, так и демобилизирующей сторон), которые предлагаются сторонникам: участие действием (уличные демонстрации, сбор подписей, обращения в суд и т.д.) и участие вниманием – через распространение протестной повестки и утверждение объединяющих их целей и ценностей как социально значимых [Платонов, Юдина, 2019, с. 243].

Поддержка со стороны СМИ, блогеров, интернет-сообщества, широких слоев населения или больших социальных групп является главным фактором, способствующим росту эффективности гражданских кампаний по отстаиванию прав граждан в регионах. Если в 2017 г. 55,9% экспертов назвали поддержку со стороны медиа фактором, в наибольшей степени способствующим росту эффективности гражданских кампаний по отстаиванию прав граждан, то в 2019 г. – 57,9%. Значимость общественной поддержки назвали 44,1 и 50,9% экспертов соответственно. При этом постепенно снижается роль таких факторов, как наличие яркого, деятельного лидера (с 43,5 до 39%); развитость каналов коммуникации между различными субъектами гражданской активности (с 34,1 до 29,6%); наличие материальных ресурсов (32,9 до 30,8%). Это позволяет го-

¹ Сообщество во «ВКонтакте» «Парки и скверы Екатеринбурга». – Режим доступа: https://vk.com/parkland_ekb?w=wall-156077137_9084 (дата посещения 08.02.2020)

² Сообщество во «ВКонтакте» «Парки и скверы Екатеринбурга». – Режим доступа: https://vk.com/wall-32182751_4652603 (дата посещения 08.02.2020)

ворить о развитии сетевых принципов организации коллективных действий в защиту прав граждан и протестных кампаний.

Таким образом, общественные активисты в первую очередь ориентируются на использование возможностей Интернета и опираются на поддержку широких слоев населения, организаций-партнеров. Формы противодействия демобилизации также основаны на цифровизации общественных процессов и вовлечении граждан в протест.

Реакции органов власти как субъекта демобилизации граждан в протесте

Готовность активистов противодействовать демобилизации проявляется в том числе через организацию акций протеста. По мнению экспертов, в 2019 г. был отмечен всплеск протестной активности в регионах России. При этом возрос и уровень учета интересов населения организаторами протестов (с $-0,03$ в 2014 г. до $1,5$ в 2019 г. по шкале: -5 – ориентируются лишь на личные, корыстные цели, 0 – находят баланс между личными целями и общественными интересами; 5 – действуют исходя из общественных интересов). Усиливается тенденция использования интернет-технологий при организации практически каждой акции гражданской активности. При этом влияние использования социальных сетей и интернет-технологий на их конечный успех организаторы протестных акций в офлайне оценивают почти на 6 баллов, а в онлайн – на $6,67$ (по шкале от 1 до 10).

Государство, реагируя на формы реальной и виртуальной активности в 2019 г., чаще выражало незначительную, но поддержку гражданам (об этом заявили $23,7\%$ опрошенных экспертов). $18,1\%$ экспертов отметили, что государство опасается и не взаимодействует, 16 – опасается и противодействует, $13,2\%$ – опасается и оказывает минимальное содействие. Лишь $7,1\%$ экспертов считают, что власть активно поддерживает проявления активности общественных организаций и гражданских активистов, видя позитивные результаты работы.

При этом офлайн-активность представляется власти более опасной и реальной, поэтому требует мер регулирования и противодействия. Онлайн-активность вызывает опасения и, как следст-

вие, отстраненность от взаимодействия. Следовательно, за настоятельностью и «опасением» власти к формам общественной активности должны следовать профилактические меры контроля и регулирования.

Одной из наиболее выраженных и актуальных технологий демобилизации граждан, применяемых органами власти, стало регулирование интернет-среды. Оно выражается, например, в законах о запрете фейковых новостей (31-ФЗ и 27-ФЗ), об оскорблении власти (ФЗ от 18.03.2019 № 30-ФЗ). Также применяются политические (административные), коммуникативные и силовые технологии. При этом активизация государства в сфере регулирования интернет-среды в целом не отразилась ни на динамике (42,4% экспертов придерживаются данного мнения), ни на содержании онлайн-активности (56,8% экспертов).

Указанные действия властей сокращают ресурсные возможности активистов и способствуют формированию новых установок граждан при выборе форм участия в протесте, а также изменения отношения к активности в Интернете. Меры регулирования способствуют повышению осознанности граждан политического действия в Сети, пониманию последствий. Усложнение механизма самореализации граждан через участие в общественной деятельности, в том числе в протесте, может привести к состоянию отстраненности от политической повестки. Тем самым нарушается, или даже может распасться, организационная структура протеста и формирующие его горизонтальные коммуникации. Без массовой поддержки протеста общественное объединение не может оставаться устойчивым и влиятельным. Возникшая в результате целенаправленного воздействия отстраненность граждан от политического действия представляется как демобилизованное состояние.

Однако тенденция к повышению уровня осознанности политического действия в Интернете может повлиять на более глубокие социальные процессы. Стоит отметить существующий сегодня общественный запрос на перемены, сопровождающийся низким уровнем доверия граждан как друг к другу, так и к властным институтам. Согласно результатам опроса ВЦИОМ, в январе 2019 г.¹

¹ Рейтинги доверия политикам, одобрения работы государственных институтов, рейтинги партий / ВЦИОМ. – 2019. – Режим доступа: <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9518> (дата посещения: 20.05.2020)

зафиксировано снижение уровня доверия граждан к властным институтам. Например, Владимиру Путину на посту президента доверяют 33,4% опрошенных. Также этот показатель упал по сравнению с предыдущими опросами у правительства, председателя правительства и ряда ведущих политических лидеров. В марте 2020 г. о доверии Владимиру Путину заявили уже 28,3% опрошенных, что является самым низким показателем с января 2006 г.¹ В этих условиях может состояться очередной рост не просто осознанности собственного политического действия в Интернете, но и осознание его необходимости в целом, в том числе в реальности.

Несмотря на то что в целом власть в регионах по-разному реагирует на протестную активность, ориентированные на сотрудничество с активистами действия носят стабилизирующий характер. Подобные случаи 2019 г. можно назвать успешными примерами применения технологий демобилизации. Благодаря уступкам власти в таких кейсах, как дело Ивана Голунова, лесные пожары в Сибири, против строительства храма в Екатеринбурге, эти протесты завершились мирной демобилизацией, поскольку требования активистов были удовлетворены. Учет властью интересов граждан снял часть накопленного общественного напряжения.

По результатам исследования можно выделить ряд причин, по которым региональная власть выбирает стратегию во взаимоотношениях с протестующими. Во-первых, органы власти боятся дестабилизации ситуации в регионе (53% экспертов отметили эту позицию), поэтому идут на контакт с протестными группами (реализуется стратегия сотрудничества). Во-вторых, протестные акции слишком малочисленны, чтобы власть обращала на них внимание, в результате реализуется стратегия игнорирования (56,6%). В-третьих, власть видит в протестных акциях попытку оппозиционных лидеров спекулировать на общественных проблемах без стремления решать их и использует стратегию противодействия (49,6%).

Исследования предыдущих лет показывают, что до 2018 г. органы власти большинства регионов страны тяготели к использованию стратегии противодействия. После рубежа 2018 г. в действиях региональных властей несколько изменилось общее направление выстраивания взаимоотношений с активистами сравнительно в более

¹ Доверие политикам / ВЦИОМ. – 2020. – Режим доступа: https://wciom.ru/news/ratings/doverie_politikam/ (дата посещения: 20.05.2020)

позитивную сторону. Однако стратегии игнорирования и сотрудничества, на которые состоялась некоторая переориентация в действиях региональных властей, не являются ярко выраженными, демонстрирующими позицию ведущего. Сотрудничество представляется скорее вынужденным, оно обусловлено страхом повышения дестабилизации в обществе. Игнорирование обусловлено малочисленностью протестов и, следовательно, отсутствием необходимости взаимодействовать.

Примеры удовлетворения протестных требований в 2019 г. подтверждают некоторые перемены во взаимодействиях региональных властей с активистами. Уступки, которые были реализованы в ряде протестных кампаний, заметным образом разрядили существующее на тот момент в обществе напряжение. Настроения граждан, связанные с отсутствием результативной позитивной коммуникации с органами власти, сменились на удовлетворение от успеха кампаний. Этот эффект можно назвать демобилизационным при рассмотрении более глобального процесса роста общественных протестных настроений.

Е.М. Горюшина и С.П. Поцелуев в своем исследовании также отмечают дуалистический характер протеста [Горюшина, Поцелуев, 2019]. Они указывают, что он может быть как показателем политической нестабильности, так и инструментом снижения напряженности в обществе (в том числе посредством отражения социально-политических настроений). Позитивная функция протеста может проявляться в тех случаях, когда власть адекватно реагирует на требования активистов, выстраивая с ними эффективную коммуникацию [Безрукова, 2020, с. 62].

Лавирование между стратегиями регулирования общественными процессами зависит от многих факторов, в том числе от государственных представлений о должном их развитии. Массовый протест выступает инструментом, способным вызвать власть на диалог (при этом малочисленные протесты чаще игнорируются). От уровня массовости мобилизованных в протест групп зависят изменение и коррекция стратегии реагирования власти.

Наиболее часто используются следующие формы противодействия организации и проведению протестных мероприятий в регионах:

– создание административных барьеров на пути организации уличных акций (71,9% экспертов в 2019 г. выбрали данный вариант ответа);

– давление на организаторов митингов, лидеров протестных групп (35,6%);

– публикации в СМИ материалов, дискредитирующих протестные группы (33,1%).

Данные формы противодействия основаны на использовании особых преимуществ, ресурсов субъекта демобилизации. На протяжении всего мониторингового исследования чаще всего применялись силовые, политические (административные) и коммуникативные технологии. Большое общественное внимание сегодня обращено к таким мерам демобилизации, как привлечение силовых структур для сдерживания протеста, а также привлечение к ответственности нарушителей порядка и задержание активистов, организаторов протеста.

В качестве примера использования коммуникационных технологий приведем распространение демобилизационного контента, подрывающего доверие к оппозиции, а также фильтрацию мобилизационного контента (частичное или отсутствующее освещение протестных кампаний в центральных СМИ). В протесте против блокировки мессенджера Telegram глава Роскомнадзора Александр Жаров представил личность Павла Дурова как гражданина, не соблюдающего законодательство России, его призыв к протесту – как манипуляцию гражданами, а демонстрацию обходных путей использования мессенджера – как попытку выставить себя элитой¹. При этом важно отметить роль социальных сетей в дезинформировании населения, которое может способствовать демобилизации [Dawson, Innes, 2019].

М.Э. Тюпина сформулировала ряд актуальных коммуникативных технологий политической демобилизации:

1) управление контентом «лояльных СМИ»;

2) блокировка независимых СМИ с целью остановки генерирования мобилизационного контента протестного движения;

¹ Со свободой все хорошо, а с ответственностью – плохо. Глава Роскомнадзора Александр Жаров – о ситуации вокруг блокировки мессенджера Telegram в России // Известия. – Режим доступа: <https://iz.ru/733380/siuzanna-farizova/sosvobodoi-vse-khorosho-s-otvetstvennostiu-plokho> (дата посещения: 01.08.2018)

3) инициирование контента в нелояльных сообществах и блогах (сетевой троллинг);

4) инициирование и распространение контента в лояльных блогах и сообществах [Тюпина, 2017, с. 120].

Для демобилизации применяются и лингвистические приемы. Например, замена словосочетания «повышение пенсионного возраста» на другое – «пенсионная реформа» [Палагичева, Фролов, 2019, с. 63].

Деморализация основной массы активистов наблюдается в конфликте молодых семей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и региональной власти. Участники протестной кампании против невыплат жилищных субсидий по программе «Доступное жилье – молодым» были демобилизованы в результате затяжного напряженного характера взаимодействия. Аудитория удерживалась в состоянии ожидания за счет проведения длительных обсуждений, собраний, переговоров. Постепенно активисты ушли с улиц в социальные сети и в кабинеты для переговоров, а затем и вовсе утратили готовность к политическому действию [Палагичева, 2019, с. 224].

В результате трансформации общественных процессов, их цифровизации, сетевизации, прозрачности и публичности расширяется и спектр технологий как объединения, так и разобщения. Развитие механизмов мобилизации порождает совершенствование и увеличение разнообразия инструментов противодействия – демобилизации.

Активисты применяют технологии контрдемобилизации. В результате концентрации внимания граждан к общественно-политической жизни, к сценариям развития протестных кампаний и роли государства в них демобилизация стала распознаваема. Активисты и внимательные наблюдатели анализируют эту тактику и рефлексиируют по этому поводу. В конфликте власти и протестных групп становится важным качество исполнения демобилизации. Например, так произошло в протесте против строительства храма в Екатеринбурге, где однотипные меры воздействия на население были расценены общественностью как сопротивление. Стороны конфликта организовали массовые мероприятия 16 и 17 марта 2019 г. На концерте активистов выступили местные музыкальные коллективы в поддержку сквера. В качестве ответной реакции сторонни-

ки строительства храма организовали мероприятие с участием известных актеров (С. Безруков, М. Пореченков, М. Галустян).

В данном противоборстве мобилизация граждан состоялась в результате самоорганизации активистов. Кроме того, на фоне их успеха концерт, организованный сторонниками строительства, стал еще одним доводом для мобилизации протестующих. На это повлияло и то, что для части граждан это мероприятие выглядело неестественным, очевидно направленным на демобилизацию. Были замечены несовершенства в исполнении – приглашены не идейные и не местные лидеры общественного мнения, и, кроме того, не безвозмездно – за гонорар. В противовес – организаторы и местные музыкальные группы участвовали в мероприятии безвозмездно, на энтузиазме, за идею, чтобы отстоять свои интересы. Зачастую неумелое использование технологий демобилизации вызывает обратную волну мобилизации.

Следует отметить, что использование музыкального творчества и артистов в протестных кампаниях достаточно распространено [Плешков, Харченко, 2019]. Оно помогает успешно мобилизовать активистов, создавать образы и влиять на сознание целевых групп.

Выводы

Результаты проведенного исследования показали, что сетевое взаимодействие в отношениях «власть – общество» в современной России находится в процессе становления и развития, а набирающий силу сетевой политический протест свидетельствует о дисбалансе в этих отношениях.

Основой сетевого политического протеста являются не классические вертикальные и иерархические связи, а горизонтальные, функционирующие на принципах равенства и добровольности. Благодаря этому коммуникация между участниками протеста становится более эффективной, привлекает новых участников и ресурсы, придает социальный вес сетевому протесту. Взаимодействие активистов в Сети реализуется с применением цифровых технологий и социальных медиа, с помощью которых происходит управление контентом (генерирование и распространение): разоблачения, подрыв авторитета власти, призывы к самоорганизации и т.д.

Отмечается планомерное увеличение присутствия в сетевом протесте общественных коалиций, в онлайн гражданские активисты в большей степени склонны к партнерству, чем в офлайне. Важнейшими принципами кооперации в сетевом протесте являются общность интересов (целей) и добровольный характер участия. А сильнейший мобилизационный эффект имеет сама суть локальной (частной) проблемы и реакция власти на нее. Коллективные действия в Интернете продолжают протест в реальности. Гражданская активность офлайн все больше сопровождается различными онлайн-формами.

Применяемые технологии демобилизации являются барьерами, ограничивающими возможности и потенциал протестных групп. Однако в результате закрепившегося в обществе опыта взаимодействия с органами власти возникают новые практики реагирования участников протеста. С помощью анализа активисты распознают технологии демобилизации. Фиксируя их (например, попытки разобщить граждан посредством распространения фейковой информации о протестующих), активисты используют контр-пропаганду – растолковывают для широкой публики их суть. Это способствует нарастанию возмущения и общественного напряжения, вызывает новую волну мобилизации.

Способствует стабилизации ситуации и находит позитивный отклик в обществе появление в стратегии демобилизации со стороны властных структур эпизодов сотрудничества с активистами. Такой опыт является примером более гибкого государственного управления, а также проявлением адаптивности институтов власти. 2019–2020 гг. продемонстрировали целый ряд примеров позитивного отклика органов власти на требования протестующих (отмена планов строительства полигона в Шиесе и храма в сквере в Екатеринбурге, дело Голунова и др.), который позволил обеспечить демобилизационный эффект. В то же время подобные примеры позволяют формировать позитивную практику сетевого протеста, базирующегося на масштабной мобилизации и активном использовании информационно-коммуникативных технологий.

Список литературы

- Безрукова Е.Ю. Социально-политический протест в России, или «Почему люди не бунтуют?» // Власть. – 2020. – № 2. – С. 58–62.
- Будрайтскис И.Б. Российская пенсионная реформа и сопротивление: уроки отсутствовавшего движения // Социология власти. – 2018. – Т. 30, № 4. – С. 69–105. – DOI: <https://doi.org/10.22394/2074-0492-2018-4-69-105>
- Быков И.А., Гладченко И.А. К вопросу об исследованиях мобилизационного контента в социальных медиа // Стратегические коммуникации в современном мире: сборник материалов по результатам научно-практических конференций. – Саратов: Саратовский источник, 2019. – С. 214–222.
- Гарр Т.Р. Почему люди бунтуют. – СПб.: Питер, 2005. – 461 с.
- Горюшина Е.М., Поцелуев С.П. Социальный протест – показатель политической нестабильности или инструмент снижения напряженности? // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского Философия. Политология. Культурология. – 2019. – Т. 5 (71), № 1. – С. 81–93.
- Карпузов М.Ю. Перспективы развития механизмов прямой демократии с использованием информационно-коммуникационных технологий // Гуманитарные науки. Вестник Финансового университета. – 2020. – № 10 (2). – С. 36–39. – DOI: <https://doi.org/10.26794/2226-7867-2020-10-2-36-39>
- Клеман К., Мирясова О., Демидов А. От обывателей к активистам. Зарождающиеся социальные движения в современной России. – М.: Изд-во «Три квадрата», 2010. – 688 с.
- Коммуникативные технологии в процессах политической мобилизации / науч. ред. В.А. Ачкасова, Г.С. Мельник. – М.: ФЛИНТА: Наука, 2016. – 248 с.
- Коротаев А.В., Шишкина А.Р., Балтач А.А. Относительная депривация как фактор социально-политической дестабилизации: опыт количественного анализа // Полис. Политические исследования. – 2019. – № 2. – С. 107–122. – DOI: <https://doi.org/10.17976/jpps/2019.02.08>
- Кремень Т.В. Политическая мобилизация: объекты и субъекты // Историческая и социально-образовательная мысль. – 2013. – № 5. – С. 146–149.
- Маковеева В.В. Сетевое взаимодействие – ключевой фактор развития интеграции образования, науки и бизнеса // Вестник Томского государственного университета. – 2012. – № 354. – С. 163–166.
- Малькевич А.А. Роль социальных сетей в протестном политическом участии граждан // Управленческое консультирование. – 2020. – № 1 (133). – С. 35–42. – DOI: <https://doi.org/10.22394/1726-1139-2020-1-35-42>
- Морозова Е., Гнедаш А. Конструктивный потенциал сетевого взаимодействия в сфере социальной политики // Демократия и управление. – 2012. – № 2. – С. 5–12.
- Никовская Л.И. Гражданское общество и протесты: что за ними стоит? // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. – 2012. – № 4. – С. 5–13.
- Палагичева А.В. Технологии политической демобилизации граждан в протестных кампаниях // Среднерусский вестник общественных наук. – 2019. – № 1. – С. 218–231. – DOI: <https://doi.org/10.22394/2071-2367-2019-14-1-218-231>

- Палагичева А.В., Фролов А.А. Технологии демобилизации граждан в протесте: на примере протестов против повышения пенсионного возраста в РФ // Южно-российский журнал социальных наук. – 2019. – Т. 20, № 1. – С. 57–71. – DOI: <https://doi.org/10.31429/26190567-20-1-57-7>
- Платонов К.А., Юдина Д.И. Повестка протестных онлайн-сообществ Санкт-Петербурга во «ВКонтакте» // Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. – 2019. – № 5. – С. 226–249. – DOI: <https://doi.org/10.14515/monitoring.2019.5.11>
- Плешков Е., Харченко Е.В. Англоязычные названия песен: протест или призыв к действию? // Теоретическая и прикладная лингвистика. – 2019. – № 5 (2). – С. 139–149.
- Савенков Р.В. «Публичное оспаривание» в современных условиях: понятие, виды и формы // Ценности и смыслы. – 2020. – № 2. – С. 36–51. – DOI: <https://doi.org/10.24411/2071-6427-2020-10011>
- Соколов А.В., Палагичева А.В. Подмосковные протесты против мусорных полигонов: механизмы политической демобилизации // Российская государственность в XXI веке: национальная идентичность и историческая память в условиях глобальной конкуренции. Материалы научно-практической конференции / под ред. Р.В. Евстифеева. – Владимир: Владимирский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2018. – С. 190–194.
- Сорокин П.А. Социология революции. – М.: РОССПЭН, 2005. – 704 с.
- Тюпина М.Э. Политическая демобилизация: понятие и технологии // Век информации. – 2017. – Т. 1, № 2. – С. 119–121.
- Усачева О.А. Сети гражданской мобилизации // Общественные науки и современность. – 2012. – № 6. – С. 35–42.
- Яницкий О.Н. Массовая мобилизация: проблемы теории // Социологические исследования. – 2012. – № 6. – С. 3–12.
- Brantly A.F. From cyberspace to independence square: understanding the impact of social media on physical protest mobilization during Ukraine's Euromaidan revolution // Journal of information technology & politics. – 2019. – Vol. 16, N 4. – P. 360–378. – DOI: <https://doi.org/10.1080/19331681.2019.1657047>
- Dawson A., Innes M. How Russia's internet research agency built its disinformation campaign // The Political Quarterly. – 2019. – Vol. 90, N 2. – P. 245–256. – DOI: <https://doi.org/10.1111/1467-923x.12690>
- Della Porta D. Where did the revolution go?: Contentious politics and the quality of democracy. – Cambridge: Cambridge University Press, 2016. – 430 p. – DOI: <https://doi.org/10.1017/9781316783467>
- Della Porta D., Tarrow S. Unwanted children: Political violence and the cycle of protest in Italy, 1966–1973 // European Journal of Political Research. – 1986. – Vol. 14, N 5–6. – P. 607–632. – DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.1986.tb00852.x>
- Demirel-Pegg T., Pegg S. Razed, repressed and bought off: The demobilization of the Ogoni protest campaign in the Niger Delta Tijen // The Extractive Industries and So-

- ciety. – 2015. – Vol. 2, N 4. – P. 654–663. – DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.exis.2015.09.004>
- Drury J., Stott C.* Contextualising the crowd in contemporary social science // *Contemporary Social Science*. – 2011. – Vol. 6, N 6. – P. 275–288. – DOI: <https://doi.org/10.1080/21582041.2011.625626>
- Heiss R., Schmuck D., Matthes J.* What drives interaction in political actors' Facebook posts? Profile and content predictors of user engagement and political actors' reactions // *Information, Communication & Society*. – 2019. – N 22 (10). – P. 1497–1513. – DOI: <https://doi.org/10.1080/1369118x.2018.1445273>
- Ibarra H.* Network centrality, power, and innovation involvement: determinants of technical and administrative roles // *Academy of Management Journal*. – 1993. – Vol. 36, N 3. – P. 471–501. – DOI: <https://doi.org/10.2307/256589>
- Kim J., Hyun K.D.* Political disagreement and ambivalence in new information environment: Exploring conditional indirect effects of partisan news use and heterogeneous discussion networks on SNSs on political participation // *Telematics and Informatics*. – 2017. – Vol. 34, N 8. – P. 1586–1596. – DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tele.2017.07.005>
- Klandermans P.G.* Identity politics and politicized identities: identity processes and the dynamics of protest // *Political Psychology*. – 2014. – Vol. 35, N 1. – P. 1–22. – DOI: <https://doi.org/10.1111/pops.12167>
- Kowalchuk L.* The discourse of demobilization: shifts in activist priorities and the framing of political opportunities in a peasant land struggle // *The Sociological Quarterly*. – 2005. – Vol. 46, N 2. – P. 237–261. – DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.2005.00011.x>
- McPherson M., Smith-Lovin L., Cook J.* Birds of a feather: homophily in social networks // *Annual Review of Sociology*. – 2001. – Vol. 27. – P. 415–444. – DOI: <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.27.1.415>
- Merle M., Reese G., Drews S.* #Globalcitizen: an explorative twitter analysis of global identity and sustainability communication // *Sustainability*. – 2019. – Vol. 11, N 2. – P. 3472. – DOI: <https://doi.org/10.3390/su11123472>
- Opp K-D.* Collective identity, rationality and collective political action // *Rationality and Society*. – 2012. – Vol. 24, N 1. – P. 73–105. – DOI: <https://doi.org/10.1177/1043463111434697>
- Piven F.F., Cloward R.A.* Collective protest: a critique of resource mobilization theory // *International Journal of Politics, Culture and Society*. – 1991. – Vol. 4, N 4. – P. 435–458. – DOI: <https://doi.org/10.1007/bf01390151>
- Rasler K.* Understanding dynamics, endogeneity and complexity in protest campaigns: a comparative analysis of Egypt (2011) and Iran (1977–1979) // *Popular contention, regime, and transition – Arab revolts in comparative global perspective* / Alimi E., Sela A., Sznajder M. (eds). – New York; London: Oxford University Press, 2015. – P. 180–202. – DOI: <https://www.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190203573.003.0009>
- Rodiniussen R.* Organising the Syrian revolution – student activism through Facebook // *Visual Studies*. – 2019. – Vol. 34, N 3. – P. 239–251. – DOI: <https://doi.org/10.1080/1472586x.2019.1653790>

- Tarrow S.G. Power in movement: social movements and contentious politics. – New York: Cambridge university press, 1998. – 287 p.
- Tilly C. Food Supply and public order in modern Europe // The formation of national states in Western Europe. – Princeton: Princeton University Press, 1975. – P. 380–455.
- Travaglino G.A. Social sciences and social movements: the theoretical context // Contemporary Social Science. – 2014. – Vol. 9, N 1. – P. 1–14. – DOI: <https://doi.org/10.1080/21582041.2013.851406>

A.V. Sokolov, A.V. Palagicheva*

Mobilization and demobilization in a network political protest

Abstract. The article considers the essence and approaches to understanding network political protest. Traditional forms of collective action are changing under the influence of information and communication technologies. The network paradigm focuses on the position of the individual in the social space, the degree of his involvement in the communication space, the ability to control and regulate the intensity of the information flow. Network structures are more flexible and adaptive, more in line with the new reality. Special and main principles of the network structure of political protest are revealed.

The article also presents definitions of political mobilization and demobilization. These processes Express the rivalry of the conflicting parties-the state and society, where the support of the broad masses of the population is an important category. Based on the data of the monitoring study, the features of the development of civil protest activism and the use of mobilization technologies were identified. ICTs have a significant impact on their formation and transformation. The state, reacting to forms of real and virtual activity, formulates a counteraction strategy. It is expressed in the use of technologies for the demobilization of citizens, which are also undergoing changes in the era of digitalization.

Keywords: conflict; online protest; mobilization; demobilization; state; society; internet; collective action.

For citation: Sokolov A.V., Palagicheva A.V. Mobilization and demobilization in a network political protest. *Political science (RU)*. 2020, N 3, P. 266–297. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2019.03.12>

References

- Achkasova V.A., Mel'nik G.S. (eds). *Communication technologies in the processes of political mobilization*. Moscow: FLINTA: Nauka, 2016, 248 p. (In Russ.)

* **Sokolov Alexander**, Demidov Yaroslavl state university (Yaroslavl, Russia), e-mail: alex8119@mail.ru; **Palagicheva Asya**, Demidov Yaroslavl state university (Yaroslavl, Russia), e-mail: fornightingale@gmail.com

- Bezrukova E.Yu. Socio-political protest In Russ.ia or «why don't people rebel?». *Vlast*. 2020. N 2, C. 58–62. (In Russ.)
- Brantly A.F. From Cyberspace to independence square: understanding the impact of social media on physical protest mobilization during Ukraine's Euromaidan revolution. *Journal of information technology & politics*. 2019. Vol. 16, N 4, P. 360–378. DOI: <https://doi.org/10.1080/19331681.2019.1657047>
- Budraitis I.B. Pension reform and resistance In Russ.ia: lessons from the movement that failed to happen. *Sociology of power*. 2018. Vol. 30, N 4, P. 69–105. DOI: <https://doi.org/10.22394/2074-0492-2018-4-69-105> (In Russ.)
- Bykov I.A., Gladchenko I.A. On the issue of research on mobilization content in social media. In: *Strategic communications in the modern world*. Saratov: Saratovsky istochnik, 2019, P. 214–222. (In Russ.)
- Dawson A., Innes M. How Russia's internet research agency built its disinformation campaign. *The Political Quarterly*. 2019. Vol. 90, N 2, P. 245–256. DOI: <https://doi.org/10.1111/1467-923x.12690>
- Della Porta D. *Where did the revolution go?: Contentious politics and the quality of democracy*. Cambridge: Cambridge University Press, 2016, 430 p. DOI: <https://doi.org/10.1017/9781316783467>
- Della Porta D., Tarrow S. Unwanted children: Political violence and the cycle of protest in Italy, 1966–1973. *European Journal of Political Research*. 1986. Vol. 14, N 5–6, P. 607–632. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1475-6765.1986.tb00852.x>
- Demirel-Pegg T., Pegg S. Razed, repressed and bought off: The demobilization of the Ogoni protest campaign in the Niger Delta Tijen. *The Extractive Industries and Society*. 2015. Vol. 2, N 4, P. 654–663. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.exis.2015.09.004>
- Drury J., Stott C. Contextualising the crowd in contemporary social science. *Contemporary Social Science*. 2011. Vol. 6, N 6, P. 275–288. DOI: <https://doi.org/10.1080/21582041.2011.625626>
- Garr T.R. *Why do people rebel?* Saint Petersburg: Peter, 2005, 461 p. (In Russ.)
- Goryushina E.M., Potseluev S.P. Social protest – an indicator of political instability or a tool to reduce tension? *Scientific Notes of V.I. Vernadsky Crimean Federal University. Philosophy. Political science. Culturology*. 2019, Vol. 5 (71), N 1, P. 74–93. (In Russ.)
- Heiss R., Schmuck D., Matthes J. What drives interaction in political actors' Facebook posts? Profile and content predictors of user engagement and political actors' reactions. *Information, Communication & Society*. 2019. N 22 (10), P. 1497–1513. DOI: <https://doi.org/10.1080/1369118x.2018.1445273>
- Ibarra H. Network centrality, power, and innovation involvement: determinants of technical and administrative roles. *Academy of Management Journal*. 1993. Vol. 36, N 3, P. 471–501. DOI: <https://doi.org/10.2307/256589>
- Karapuzov M.Yu. Prospects for the development of direct democracy mechanisms using information and communication technologies. *Humanities and Social Sciences. Bulletin of the Financial University*. 2020. Vol. 10, N 2, P. 36–39. DOI: <https://doi.org/10.26794/2226-7867-2020-10-2-36-39> (In Russ.)

- Kim J., Hyun K.D. Political disagreement and ambivalence in new information environment: Exploring conditional indirect effects of partisan news use and heterogeneous discussion networks on SNSs on political participation. *Telematics and Informatics*. 2017. Vol. 34, N 8, P. 1586–1596. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.tele.2017.07.005>
- Klandermans P.G. identity politics and politicized identities: identity processes and the dynamics of Protest. *Political Psychology*. 2014. Vol. 35, N 1, P. 1–22. DOI: <https://doi.org/10.1111/pops.12167>
- Kleman K., Miryasova O., Demidov A. *From the layman to the activists. Emerging social movements in modern Russia*. Moscow: Publishing House «Three Squares», 2010, 688 p. (In Russ.)
- Korotaev A.V., Shishkina A.R., Baltach A.A. Relative Deprivation as a factor of socio-political destabilization: towards the quantitative analysis of the Arab Spring. *Polis: Polis. Political Studies*. 2019. N 2, P. 107–122. DOI: <https://doi.org/10.17976/jpps/2019.02.08> (In Russ.)
- Kowalchuk L. The discourse of demobilization: shifts in activist priorities and the framing of political opportunities in a peasant land struggle. *The Sociological Quarterly*. 2005. Vol. 46, N 2, p. 237–261. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1533-8525.2005.00011.x>
- Kremen T.V. Political mobilization: objects and subjects. *Historical and social-educational idea*. 2013. N 5, P. 146–149. (In Russ.)
- Makoveeva V.V. Network interaction: the key factor of education, science and business integration. *Tomsk State University journal*. 2012. N 354, P. 163–166. (In Russ.)
- Malkevich A.A. The role of social media in protest political participation of citizens. *Administrative Consulting*. 2020. N 1 (133), P. 35–42. DOI: <https://doi.org/10.22394/1726-1139-2020-1-35-42> (In Russ.)
- McPherson M., Smith-Lovin L., Cook J. Birds of a feather: homophily in social networks. *Annual Review of Sociology*. 2001. Vol. 27, P. 415–444. DOI: <https://doi.org/10.1146/annurev.soc.27.1.415>
- Merle M., Reese G., Drews S. #Globalcitizen: an explorative twitter analysis of global identity and sustainability communication. *Sustainability*. 2019. Vol. 11, N 2, P. 3472. DOI: <https://doi.org/10.3390/su11123472>
- Morozova E., Gnedash A. Constructive potential of network interaction in the sphere of social policy. *Democracy and governance*. 2012. N 1, P. 5–12. (In Russ.)
- Nikovskaya L.I. Civil society and protests: what is behind them? *Monitoring of public opinion: economic and social changes*. 2012. N 4, P. 5–13. (In Russ.)
- Opp K-D. Collective identity, rationality and collective political action. *Rationality and Society*. 2012. Vol. 24, N 1, P. 73–105. DOI: <https://doi.org/10.1177/1043463111434697>
- Palagicheva A.V. Technologies of political demobilization of citizens in protest campaigns. *Central Russian Journal of Social Sciences*. 2019. Vol. 14, N 1, P. 218–231. DOI: <https://doi.org/10.22394/2071-2367-2019-14-1-218-231> (In Russ.)
- Palagicheva A.V., Frolov A.A. Technology the demobilization of citizens in protest: the case of protests against raising the retirement age In Russ.ia. *South-Russian Journal of Social Sciences*. 2019. Vol. 20, N 1, P. 57–71. DOI: <https://doi.org/10.31429/26190567-20-1-57-7> (In Russ.)

- Piven F.F., Cloward R.A. Collective protest: a critique of resource mobilization theory. *International Journal of Politics, Culture and Society*. 1991. Vol. 4, N 4, P. 435–458. DOI: <https://doi.org/10.1007/bf01390151>
- Platonov K.A., Judina D.I. Agenda of Vkontakte online protest communities based in St Petersburg. *Monitoring of Public Opinion: Economic and Social Changes Journal (Public Opinion Monitoring)*. 2019. N 5, P. 226–249. DOI: <https://doi.org/10.14515/monitoring.2019.5.11> (In Russ.)
- Pleshkov E., Kharchenko E.V. English song names: protest or call for action? *Theoretical and applied linguistics*. 2019. N 5 (2), P. 139–149. (In Russ.)
- Rasler K. Understanding dynamics, endogeneity and complexity in protest campaigns: a comparative analysis of Egypt (2011) and Iran (1977–1979). In: *Popular contention, regime, and transition – Arab revolts in comparative global perspective*. Alimi E., Sela A., Sznajder M. (eds). New York, London: Oxford University Press, 2015, P. 180–202. DOI: <https://www.doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190203573.003.0009>
- Rodineliussen R. Organising the Syrian revolution – student activism through Facebook. *Visual Studies*. 2019. Vol. 34, N 3, P. 239–251. DOI: <https://doi.org/10.1080/1472586x.2019.1653790>
- Savenkov R.V. «Public contestation» in contemporary conditions: concept, types and forms. *Values and meanings*. 2020. N 2, P. 36–51. DOI: <https://doi.org/10.24411/2071-6427-2020-10011> (In Russ.)
- Sokolov A.V., Palagicheva A.V. Moscow region protests against garbage landfills: mechanisms of political demobilization. In: *Russian statehood in the XXI century: national identity and historical memory in the context of global competition. Materials of the scientific-practical conference*. R.V. Evstifeev (ed). Vladimir: Russian Academy of National Economy and Public Administration under the President of the Russian Federation, 2018, P. 190–194. (In Russ.)
- Sorokin P.A. *Sociology of the revolution*. Moscow: ROSSPEN, 2005, 704 p. (In Russ.)
- Tarrow S.G. *Power in movement: social movements and contentious politics*. New York: Cambridge University Press, 1998, 287 p.
- Tilly C. Food supply and public order in Modern Europe. In: *The formation of national states in Western Europe*. Princeton: Princeton University Press, 1975, P. 380–455.
- Travaglino G.A. Social sciences and social movements: the theoretical context. *Contemporary Social Science*. 2014. Vol. 9, N 1, P. 1–14. DOI: <https://doi.org/10.1080/21582041.2013.851406>
- Tyupina M.E. Political demobilization: concept and technologies. Facebook *Information Age*. 2017. Vol. 1, N 2, P. 119–121. (In Russ.)
- Usacheva O.A. Civil mobilization Networks. *Social Sciences and Contemporary World*. 2012. N 6, P. 35–42. (In Russ.)
- Yanitsky O.N. Mass mobilization: problems of theory. *Sociological studies*. 2012. N 6, P. 3–12. (In Russ.)

С КНИЖНОЙ ПОЛКИ

И.Ю. ОКУНЕВ, М.Н. ШЕСТАКОВА*

**РОССИЙСКОЕ ПОГРАНИЧЬЕ СКВОЗЬ ПРИЗМУ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ**

Рецензия на кн.: Российское пограничье: вызовы соседства / под ред. В.А. Колосова. – М.: ИП Матушкина И.И., 2018. – 562 с.

Для цитирования: Окунев И.Ю., Шестакова М.Н. Российское пограничье сквозь призму междисциплинарных исследований (Рецензия) // Политическая наука. – 2020. – № 3. – С. 298–304. – DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.03.13>

Настоящая монография, изданная коллективом авторов Института географии РАН под руководством заместителя директора института по науке, заведующего лабораторией геополитических исследований профессора В.А. Колосова, представляет собой итог многолетней работы сотрудников лаборатории, а также ученых из Московского и Санкт-Петербургского государственных университетов, и посвящена различным аспектам функционирова-

* **Окунев Игорь Юрьевич**, кандидат политических наук, ведущий научный сотрудник, директор Центра пространственного анализа международных отношений ИМИ, МГИМО МИД России (Москва, Россия), e-mail: okunev_igor@yahoo.com; **Шестакова Марианна Николаевна**, кандидат географических наук, ведущий эксперт Управления магистерской подготовки, старший преподаватель кафедры сравнительной политологии, МГИМО МИД России (Москва, Россия), e-mail: marianna@garph.ru

ния и жизнедеятельности российского пограничья. Издание было подготовлено при поддержке Российского научного фонда в рамках проекта № 14-18-03621. Без преувеличения можно сказать, что данный труд является прорывным для отечественной науки.

Государственная граница, несмотря на кажущуюся стабильность, на самом деле является быстро меняющимся объектом исследования, во всем своем многообразии сложным для обозрения взглядом ученого. Чтобы просто проехать всю российскую границу, нужны десятки экспедиций в регионы с самыми разными географическими, социально-экономическими и политическими условиями. При этом, вопреки недавно еще бывшей популярной точке зрения, границы совсем не архаичное наследие прошлых эпох, уходящее из современности вместе с процессами глобализации и цифровизации. Напротив, при естественном переосмыслении функций границ они становятся, пожалуй, даже еще более важными институтами общественной и политической жизни, чем раньше. Достаточно вспомнить разнообразные примеры возведения стен и рвов (США на границе с Мексикой, Израилем на границе с Палестиной, Украиной на границе с Россией и т.д.) в последнее время между странами, чтобы подтвердить возрастающую значимость границ в международной политике.

Феномену пограничья в последние годы уделяется много внимания со стороны ученых и экспертов различных областей науки – как за рубежом (в рамках быстро растущей дисциплины лимологии или *border studies*), так и в России. Особенно большой всплеск интереса к границам и пограничью проявился в результате исчезновения с политической карты мира Советского Союза и был фактически синхронизирован с появлением на постсоветском пространстве новых государств и, как следствие, новых границ и новых пограничных регионов. По мнению руководителя авторского коллектива монографии, «одно из последствий распада СССР – возникновение десятков тысяч километров новых государственных границ и необходимость адаптации к ним российского хозяйства и всей жизни “вдруг оказавшихся пограничными” регионов Федерации» [Колосов, 2004].

Собственно говоря, профессор В.А. Колосов был одним из родоначальников подобного рода исследований в отечественной науке. Из-под его пера вышли ключевые работы по границам и пограничью последних 20 лет. Поэтому вполне закономерно, что

книга «Российское пограничье: вызовы соседства» стала своеобразным подведением итогов важных и кропотливых исследований по обозначенной тематике.

Невозможно не согласиться с авторами книги в том, что «российское пограничье – обширное поле исследований», а «государственная граница – не просто линия, обозначающая пределы государственного суверенитета, но и показатель дееспособности государств, отражение его природы, системы ценностей, моделей поведения, отношений между обществом, гражданином и властями» (с. 497). В связи с этим очевидна актуальность данной проблематики, которая связана с тем, что «...граница становится в современных условиях все более динамичным феноменом» (с. 498), но при этом «чрезвычайно устойчивым» (с. 82). Являясь социальным конструктом и элементом национальной идентичности, «граница... одновременно мощный инструмент ее формирования» (с. 499). А для решения как научных, так и практических задач необходим «поиск сбалансированной пограничной политики, требующей понимания процессов, происходящих в соседней стране и на ее пограничных территориях» (с. 498). Осознавая всю глубокую, хотя и различающуюся по целому ряду ключевых показателей (динамика численности и плотность населения, транспортная доступность, динамика инвестиций и др) периферийность российского пограничья в системе «Центр – периферия», авторы оптимистично смотрят на приграничные регионы, считая их «естественными локомотивами региональных интеграционных процессов и развития двусторонних отношений» (с. 9).

Монография является уникальным изданием в силу своего исключительно богатого и разнообразного эмпирического материала, накопленного в течение долгих лет исследований, многочисленных экспедиций в приграничные районы РФ и в соседние страны; мощной теоретической базы, а также в силу своего всеобъемлющего характера исследования феномена пограничья. Во главу угла ставится граница как многогранное явление, во всей сложности его морфологии, разнообразии происходящих процессов.

«Вызовы соседства» (вынесенные в заголовок) представлены шестью важными группами: демографической, социально-экономической, экологической, институциональной, геополитической и дискурсивной. Сопоставление разных аспектов жизнедеятельности российского пограничья связано с аналогичными аспектами сосед-

них государств; проведена большая работа по так называемым парным исследованиям – диадам границ, когда работа проводилась в российских пограничных территориях и в сопредельных государствах, что придает особую значимость изданию и что также можно поставить в заслугу коллективу авторов.

Книга выстроена в определенной и понятной логике, целью которой является успешная, на наш взгляд, попытка комплексного изучения границ и пограничья. Многие главы ранее уже публиковались в качестве отдельных статей в различных академических журналах соответствующего профиля. Тем не менее это не нарушает целостности и единства монографии.

Издание демонстрирует широкий спектр подходов в исследованиях пограничья: здесь и чисто социологические, и политологические, и географические методы. Это и анализ документов и источников, дискурс-анализ, проведение разного рода анкетирования, соцопросов, глубинных экспертных интервью, построение на основе обширного массива статистических данных различного рода типологий и т.д. Так, в части 3 «Границы как национальные символы» большое значение придается символической политике, формированию символического ландшафта в пограничье, а часть исследования является семантическим анализом дискурса, проведенного по методологии критической геополитики на основе скрининга большого массива газетных материалов за большой период времени.

Политологическим получился и раздел о «новых» границах (глава 2.1). Граница позволяет увидеть контраст политических процессов по обе ее стороны, оценить динамику внутривнутриполитических и внешнеполитических трансформаций. Тем обиднее, что авторы не решились на проведение сравнения электоральных процессов в пограничье. С другой стороны, это лишь доказывает тот факт, что граница является зеркалом, в котором отражаются многочисленные явления, происходящие в обществе, и что эта тема по определению будет неисчерпаемой.

Много внимания в книге уделено интересным феноменам, сопряженным с задачами исследования, которые еще потребуют дальнейшего изучения: так называемым фантомным границам (глава 3.2 и другие разделы, посвященные отдельным участкам границ), которые до сих пор оказывают существенное влияние на разные аспекты жизнедеятельности пограничья; городам-близнецам, в

том числе и на российском пограничье (глава 4.2), трансграничным регионам, создаваемым как «сверху», так и «снизу» (глава 4.1), и т.д. В фокусе внимания исследователей также был анализ повседневности и поведенческих практик в пограничье и так называемого трансграничного стиля жизни.

В монографии используется много исторического материала, касающегося формирования разных участков границ Российской Федерации, а также взаимоотношений со странами-соседями. Дан исторический анализ формирования российско-украинской (глава 6.4), российско-белорусской (глава 6.3) и российско-казахстанской границ (глава 6.5). Представляет интерес исторический экскурс этапов взаимоотношений российского и китайского народов на российско-китайском пограничье от достаточно проницаемой границы и зоны широкого фронта до практически полного закрытия в XX в., а потом и нормализации жизни в пограничье уже в веке XXI. Весьма любопытны примеры символической политики, связанные с Харбином, островом Даманский, новыми памятниками в пограничных городах.

Важным и логичным элементом в исследовании является анализ правовых аспектов взаимодействия между странами и регионами по темам приграничного сотрудничества. Детально описываются различного рода конвенции, законодательные документы (части 4 и 5). Подробно анализируется административная институциональная система РФ по вопросам водных ресурсов (глава 5.2). В части 5 «Экологические проблемы и политические конфликты» авторами предлагается, в частности, существенное обновление содержания термина «справедливое вододеление», проводится тщательный анализ правовых документов, касающихся совместного использования водных объектов. Авторами проделан колоссальный труд по созданию собственного перечня реестра документов, регулирующих различные аспекты приграничного сотрудничества (324 документа: 36 документов федерального уровня, 149 государственного и международного уровня, 138 – муниципального уровня).

Заслуживает внимания раздел, посвященный функционированию и жизнедеятельности городов на границе (глава 6.1). Опираясь на социологические региональные исследования Фонда «Общественное мнение», проведенные в крупных приграничных городах – Владивостоке, Хабаровске, Астрахани, Белгороде, Ростове-на-Дону и Калининграде, – авторы делают нетривиальные

выводы по самому широкому спектру проблем приграничья. Так, к сожалению, оказалось, что приграничное положение вопреки логике не снижает, а повышает уровень враждебности к чужеродным культурам.

Ничтожно малое количество ошибок в тексте не умаляет большого значения книги в целом. Тем не менее приведем их, чтобы авторы могли поправить их при переиздании труда, которое, надеемся, непременно произойдет. Так, Азербайджан в тексте не имеет общей границы с РФ (с. 157), а пессимизм авторов по поводу того, что мост между Благовещенском и Хэйхэ не будет построен в обозримом будущем (с. 383), оказался ошибочным: хотя книга вышла до окончания строительства моста, его запуск все же не отложен за необозримые горизонты.

Заметим также, что рецензируемую книгу увлекательно читать, ее можно использовать не только как монографию, но и как учебное пособие и справочник. Книга содержит большое количество фактического материала, авторские иллюстрации, таблицы, карты. На цветной вклейке представлены любопытные авторские карты, отражающие повседневные взаимодействия в пограничье между Россией и странами-соседями по целому ряду показателей: медицина, родственные связи, образование, покупки, досуг, трудовая деятельность, покупка топлива, паломничество и др. Также представляют интерес следующие карты: карта фантомных границ в европейской части России на постсоветском пространстве; историко-символический ландшафт российско-украинского сегмента границы; карта еврорегионов и т.д. Монография снабжена авторскими фотографиями символических объектов на границе, лишний раз подтверждающими объем проведенной полевой работы.

Коллективная монография о российском пограничье является отличным примером по-настоящему междисциплинарного исследования. Она представляет интерес не только для географов, но и для политологов, международников, историков, демографов, социологов и других специалистов. Работа будет полезна как теоретикам, так и практикам. Это тот самый случай, когда с помощью междисциплинарности удалось создать комплексную стереоскопическую картину предмета исследования. И теперь Россия может гордиться тем, что оказалась в не очень большом перечне стран, имеющих академическое описание своего пограничья.

Список литературы

Колосов В.А. Как изучать «новое пограничье» России? // Международные процессы. – 2004. – Т. 2, № 3 (6). – С. 89–95.

Российское пограничье: вызовы соседства / под ред. В.А. Колосова. – М.: ИП Матушкина И.И., 2018. – 562 с.

I.Yu. Okunev, M.N. Shestakova*

Russian borderlands from an interdisciplinary perspective (Review)

For citation: Okunev I.Yu., Shestakova M.N. Russian borderlands from an interdisciplinary perspective (Review). *Political science (RU)*. 2020, N 3, P. 298–304. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2019.03.13>

References

Kolosov V.A. How to study Russia's «new borderline areas»? *International Trends*. 2004, Vol. 2, N 6, P. 89–95. (In Russ.)

Kolosov V.A. (ed.) *Russian borderland: challenges of neighbourhood*. Moscow: Publishing House IP Matushkina I.I., 2018, 562 p. (In Russ.)

* **Okunev Igor**, Moscow State Institute of International Relations (University) under the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation (Moscow, Russia), e-mail: okunev_igor@yahoo.com; **Shestakova Marianna**, Moscow State Institute of International Relations (University) under the Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation (Moscow, Russia), e-mail: marianna@rapn.ru

В.А. КОВАЛЕВ*

ПРОДОЛЖАЯ ТЕМУ «НЕДОСТОЙНОГО ПРАВЛЕНИЯ»...

Рецензия на кн.: Гельман В.Я. «Недостойное правление»: политика в современной России. – СПб: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2019. – 254 с.

Для цитирования: Ковалев В.А. Продолжая тему «недостойного правления»... (Рецензия) // Политическая наука. – 2020. – № 3. – С. 305–312. – DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2020.03.14>

Анализируя bad governance

В 2019 г. в издательстве Европейского университета в Санкт-Петербурге вышла содержательная и новаторская монография В.Я. Гельмана «"Недостойное правление": политика в современной России» [Гельман, 2019]. Сама книга продолжает ряд предыдущих работ автора, опубликованных в последние годы в научных журналах [Гельман, 2016; 2017; 2018], где анализировался концепт «недостойного правления» и рассматривались его отдельные аспекты, в том числе «истории успеха», являющиеся оборотной стороной общей неэффективности и растраты ресурсов.

* Ковалёв Виктор Антонович, доктор политических наук, профессор кафедры философии и социально-политических наук, Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина (Сыктывкар, Россия) e-mail: vant_2000@mail.ru

По краткой характеристике самого В.Я. Гельмана, его новая книга о том, что обуславливает логику современной российской политики (в смысле как *politics*, так и *policy*) и почему многие ее эффекты слишком часто оказываются неблагоприятными. Почему качество государственного управления в России гораздо хуже, чем можно было бы ожидать, исходя из уровня социально-экономического развития нашей страны? [Гельман, 2019, с. 9].

После краткого введения автор анализирует российский вариант решения проблемы «тройного перехода» – проект авторитарной модернизации, приоритет экономических реформ и отказ от демократических преобразований, а также результаты и последствия его воплощения в жизнь на примере отдельных реформ 2000-х годов. Анализ «недостойного правления» как оборотной стороне проекта авторитарной модернизации посвящены дальнейшие четыре главы. В них рассматриваются различные аспекты государственного управления в современной России: генезис, принципы и механизмы «недостойного правления», попытки его преодоления посредством технократических реформ, а также отдельные «истории успеха» реализации приоритетных государственных проектов (как в советский, так и в постсоветский периоды). Перспективы российского политико-экономического порядка и его возможные изменения обсуждаются в заключительной главе книги.

На наш взгляд, эта книга, где дан смелый и всесторонний анализ *bad governance*, будет полезна всем, кто занимается изучением постсоветской политики, но здесь хотелось бы, продолжая тему «недостойного правления», не ограничиваться просто рецензированием этой важной книги и кратко рассмотреть концепт «недостойного правления» в несколько иных аспектах.

«Недостойное правление» против «хорошего общества»

На наш взгляд, автор переводит словосочетание *bad governance* весьма щадящим образом; его можно назвать просто «плохим». Плохое правление паразитирует на социуме, мешает его развитию, не дает обществу стать «хорошим».

Может показаться, что концепт «хорошего общества» выглядит довольно неопределенным и расплывчатым. Однако в отечественной литературе к нему уже обращались: например,

В.Г. Федотова выпустила книгу, посвященную социально-философскому анализу «хорошего общества» в самых разных его аспектах. Дискурс о «хорошем обществе» выходит далеко за рамки какой-то одной обществоведческой дисциплины. Как пишет автор, «дискурс – это обсуждение проблемы в философии, науке и одновременно за их пределами» [Федотова, 2005, с. 5]. Дискурсы о «хорошем обществе» и «плохом правлении» несводимы только к политическим, экономическим или управленческим вопросам; они позволяют обсуждать проблему и в философско-этическом плане. Не имея возможности развивать в рецензии эту тему, нам все же хотелось бы заметить, что противопоставление «недостойного правления», например, идеалу «хорошего общества» или чего-то подобного может оказывать на мысль политолога или экономиста плодотворное, стимулирующее воздействие. Это вполне определенная гражданская позиция по отношению к различным проявлениям авторитарного режима, оказывающего деформирующее воздействие на право, экономику, культуру, негативным образом влияющего на уровень и качество жизни населения. Изучение причин, механизмов и последствий такого воздействия является актуальной задачей исследователя-политолога, и рассматриваемая книга – это хороший образец такого актуального исследования.

Само «недостойное правление» (автор так переводит словосочетание *bad governance*) В.Я. Гельман определяет, отталкиваясь от понимания термина аналитиками Всемирного банка, как антипод «достойного правления». Признаки «недостойного правления»: отсутствие и / или извращение верховенства права, коррупция, низкое качество регулирования, неэффективность правительства [Гельман, 2019, с. 88]. В соответствии с подходом, который лежит в основе программы Всемирного банка, суть «достойного правления» составляет шесть главных параметров: выборность и подотчетность властей; политическая стабильность и отсутствие насилия; эффективность правительства; (высокое) качество регулирования; верховенство права; контроль коррупции [Гельман, 2019, с. 86].

Эти (и подобные) параметры измеримы, что дает основание выстраивать относительно объективные рейтинги. Но вместе с пониманием того, что «достойное» и «хорошее» можно измерять, никуда не деться и от того, что в русском языке слова «достойный» / «недостойный» имеют ярко выраженную этическую окраску.

В данном случае напрашивается аналогия со знаменитой «протестантской этикой» Макса Вебера. Веберовская идея о том, что сдвиг в религии и морали порождает важные экономические последствия, остается крайне плодотворной. Таким образом, можно сказать, что *bad governance* всегда действует против идеала «*good society*», недостойное правление приводит к неизбежной «порче» политики, права, экономики, управления и культуры.

Упомянутая книга В.Г. Федотовой, как и монография В.Я. Гельмана, представляется крайне важной и актуальной работой. Но только в первом случае это текст о том, чего в нынешней Российской Федерации нет или чего очень мало, а во втором – о том, чего очень много. Несовместимость «недостойного правления» (в самых разных его проявлениях) и «хорошего общества» (сколь бы приблизительным и расплывчатым ни было его понимание) ведет к тому, что в России философская книга «Хорошее общество» вышла, а самого «хорошего общества» не выходит и не выйдет в сколько-нибудь обозримой перспективе. Это заставляет еще раз вспомнить о соотношении должного и сущего в описаниях и анализе социально-политической реальности.

Перспективы тупика, или «Вечный Мугабе»?

Основа «недостойного правления» состоит в пренебрежении и произвольном манипулировании правовыми нормами со стороны власти. Однако состояние пренебрежения формальными институтами делает ситуацию весьма устойчивой, но это – стабильность хронической болезни. В монографии В. Гельмана страны с «недостойным правлением» сравниваются с состоянием больного-«хроника». В спокойном состоянии эти «хроники» могут как-то существовать, и даже весьма долго, но стоит «прилететь черному лебедю», как ситуация идет вразнос: руководство демонстрирует неадекватность, не справляясь с вызовами и кризисными ситуациями, что мы, например, воочию можем наблюдать уже после выхода книги, в 2020 г., в связи с падением цен на углеводороды и пандемией коронавируса.

Среди проявлений управленческой беспомощности и политической безвольности особенно характерны примеры положения дел на местном и региональном уровне. Например, известно, что в

обычное время коррупция и подобные явления, хотя и существенно затрудняют, но все же совместимы с функционированием государственного аппарата. Однако в ситуации обострения кризиса и фрагментации общегосударственного пространства может резко возрасти ответственность и цена решений руководителей регионов и МСУ (см., например: [Ковалёв, 2017] и др.). В разбираемой книге В.Я. Гельмана ситуации на региональном и субрегиональном уровне уделено не так много места, хотя рассматривается «история успеха» на примере Татарстана. Но автор много писал о России регионов и взаимодействии провинциальной и федеральной власти в ряде других своих трудов (см.: [Гельман, 2006] и др.).

Учет фактора *bad governance* помогает прояснить понимание многих вопросов взаимодействия государства и общества, проведения политического курса, публичной политики, шансов (не)успеха провозглашенных реформ и государственной состоятельности (например, в посткоммунистических государствах [Мельвиль, МIRONIUK, Стукал, 2012]). Для политолога интересен вопрос о сравнении переходных стран, стремящихся к демократизации, и государств, сознательно отказывающихся от нее или имитирующих реформы¹.

Книга В.Я. Гельмана содержит важные аргументы против тезисов сторонников «авторитарной модернизации» и всяческих поклонников «российского Пиночета». В принципе, эта позиция хорошо иллюстрируется цитируемым высказыванием Д. Родрика: «На каждого Ли Кван Ю в Сингапуре приходится много Мобуту в Конго» [Гельман, 2019, с. 19]².

Мобуту³ стал неким символом преступного захвата государства и его эксплуатации в интересах узкой группы лиц, хотя, конечно, в современном мире у бывшего диктатора довольно много

¹ Как написала, например, автор упомянутой книги «Хорошее общество», «Российские реформы 90-х не были успешны ни практически, ни политически. Были достигнуты некоторые свободы в политической и экономической областях... Однако в целом результат характеризуется как квазидемократический и квазирыночный» [Федотова, 2005, с. 338].

² См. также: *Rodrik D. The myth of Authoritarian Growth. – Mode of access: <https://www.project-syndicate.org/commentary/the-myth-of-authoritarian-growth?barrier=accesspaylog> (accessed: 1.04.2020).*

³ С.С. Мобуту правил Конго-Заиром в 1965–1997 гг. Его режим отличался высокой эффективностью в расхищении государственных ресурсов.

сильных конкурентов. Можно условно использовать слово Мобуту (или Мугабе) не просто как имя криминального вождя, превратившего государство из «стационарного бандита» в «бандита кочевого» и сделавшего грабеж «своей» страны смыслом собственного существования, а как символ всего этого.

Когда труднее вырваться из колеи *bad governance*? Здесь мы бы предложили оперировать неким условным «принципом Мобуту», смысл которого состоит в том, что чем дольше длится режим «недостойного правления», тем больше усилий требуется для того, чтобы вырваться из порочной колеи, и часто это оказывается невозможным.

Общеизвестные примеры можно взять из разряда «тоталитарных» режимов. Например, в Германии время существования «тоталитаризма» было гораздо более коротким (в силу военного поражения Третьего рейха), и ФРГ смогла легче перейти на рельсы демократии, а для большинства постсоветских стран это до сих пор остается проблемой. Государства, испытывавшие на себе власть коммунистов в течение пресловутых «семидесяти лет», никак не могут избавиться от авторитаризма, хотя и в новых формах, а там, где «строительство коммунизма» продолжалось всего лет сорок (Восточная Европа, Прибалтика и отчасти Молдавия), демонстрируются заметно большие успехи на пути демократизации. Все это звучит банально и повторялось много раз, но встает вопрос, а способны ли вообще страны и народы после длительной диктатуры вступить на путь цивилизованного, правового, демократического развития, построить свой вариант *good society* – или их удел вечный кризис с неизбежным распадом?

Владимир Гельман в своей книге о российской политике демонстрирует определенный оптимизм (точнее, отказ от безнадежного пессимизма), когда, приведя примеры различных стран от Грузии и Эстонии до Бенина и Монголии, спрашивает, почему путь к достойному правлению должен быть закрыт для России? [Гельман, 2019, с. 228]. Теоретически путь к демократизации и достойному правлению остается открытым всегда, хотя бы в отдаленном будущем, и сам В.Я. Гельман надеется, что россияне способны научиться на своих ошибках. Однако фактор времени может оказать решающее значение, и сам автор приводит наиболее показательный для нас пример – когда «реформирование советской экономической и политической системы в период перестрой-

ки началось слишком поздно, когда оказалось, что Советский Союз обречен и подлежит ликвидации, что и произошло в 1991 году» [Гельман, 2019, с. 229].

Подобная обреченность и повторение 1991 года для Российской Федерации – это отнюдь не нулевая возможность, и может оказаться, что продолжительное существование авторитарного режима недостойного правления может стать роковым для самого существования страны.

Список литературы

- Гельман В.Я. «Недостойное правление»: политика в современной России. – СПб.: Издательство Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2019. – 254 с.
- Гельман В.Я. Исключения и правила: «истории успеха» и «недостойное правление» в России // Общественные науки и современность. – 2018. – № 5. – С. 32–59; № 6. – С. 5–15.
- Гельман В.Я. Politics versus polisy: технократические ловушки постсоветских реформ // Полития. – 2017. – № 2. – С. 32–59. – DOI: <https://doi.org/10.30570/2078-5089-2017-85-2-32-59>
- Гельман В.Я. Политические основания «недостойного правления» в постсоветской Евразии: переосмысливая исследовательскую повестку дня // Полития. – 2016. – № 3. – С. 90–115. – DOI: <https://doi.org/10.30570/2078-5089-2016-82-3-90-115>
- Гельман В.Я. Возвращение Левиафана? (Политика рецентрализации в современной России) // Полис. Политические исследования. – 2006. – № 2. – С. 90–109. – DOI: <https://doi.org/10.17976/jpps/2006.02.08>
- Ковалёв В.А. Изменение правил «игры без правил». Криминал-губернаторы и общество без «открытого доступа» в «естественном государстве» РФ. (Гипотеза) // Политическая наука. – 2017. – № 4 – С. 161–177.
- Мельвиль А.Ю., Миронюк М.Г., Стукал Д.К. Государственная состоятельность, демократия и демократизация (На примере посткоммунистических стран) // Политическая наука. – 2012. – № 4. – С. 83–105.
- Померанцев В. Об искренности в литературе // Новый мир. – 1953. – № 12. – С. 218–245.
- Федотова В.Г. Хорошее общество. – М.: Прогресс-Традиция, 2005. – 544 с.

V. Kovalev*

Continuing the theme of bad governance... (Review)

For citation: Kovalev V. Continuing the theme of bad governance... (Review). *Political science (RU)*. 2020, N 3, P. 305–312. DOI: <http://www.doi.org/10.31249/poln/2019.03.14>

References

- Gel'man V.Ya. Leviathan's come-back? (Policy of recentralization in contemporary Russia). *Polis. Political Studies*. 2006, N 2, P. 90–109. DOI: <https://doi.org/10.17976/jpps/2006.02.08> (In Russ.)
- Gel'man V.Ya. Political foundations of «bad governance» in Post-Soviet Eurasia (rethinking research agenda). *The Journal of Political Theory, Political Philosophy and Sociology of Politics Politeia*. 2016, Vol. 82, N 3, P. 90–115. DOI: <https://doi.org/10.30570/2078-5089-2016-82-3-90-115> (In Russ.)
- Gel'man V.Ya. Politics versus policy: technocratic traps of Post-Soviet reforms. *The Journal of Political Theory, Political Philosophy and Sociology of Politics Politeia*. 2017, Vol. 85, N 2, P. 32–59. DOI: <https://doi.org/10.30570/2078-5089-2017-85-2-32-59> (In Russ.)
- Gel'man V.Ya. Exceptions and rules: success stories and bad governance in Russia. *Social Sciences and Contemporary World*. 2018, N 5, P. 32–59; N 6, P. 5–15. (In Russ.)
- Gel'man V.Ya. *«Bad governance»: politics in modern Russia*. Saint Petersburg: Publishing House of the European University in St. Petersburg, 2019, 254 p. (In Russ.)
- Fedotova V.G. *Good society*. Moscow: Progress-Tradition, 2005, 544 p. (In Russ.)
- Kovalev V.A. Changing the rules of «games without rules» criminal-governors and society without «open access» in the «natural state» of the Russian Federation. Hypothesis. *Political Science (RU)*. 2017, N 4, P. 161–177. (In Russ.)
- Melville A.YU., Stukal J.K., Mironyuk M.G. State consistency, democracy and democratization (On the example post-communist countries). *Political Science (RU)*. 2012, N 4, P. 83–104. (In Russ.)
- Pomerantsev V. On sincerity in literature. *Novy Mir*. 1953, N 12, P. 218–245. (In Russ.)

* **Kovalev Viktor**, Syktyvkar state university named P. Sorokin (Syktyvkar, Russia), e-mail: vant_2000@mail.ru

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

Журнал «Политическая наука» – одно из ведущих периодических изданий по политологии в России, известное и среди зарубежных исследователей, владеющих русским языком. «Политическая наука» как периодическое издание существует с 1997 г.

«Политическая наука» имеет отчетливо выраженный тематический профиль, который отличает ее от других журналов по политическим наукам. Прежде всего, это ориентация на состояние политической науки и ее отдельных направлений, обзор и анализ современных научных достижений. Центральное место среди публикаций занимают статьи и иные материалы методологического характера, имеющие особую важность для развития научных исследований. Особенностью журнала является систематическое использование жанров информационного и информационно-аналитического характера (рефератов, реферативных обзоров, рецензий и др.), представление других научных журналов, исследовательских центров и проектов.

К публикации принимаются научные статьи, обзоры, рефераты, рецензии, переводы. Тексты предоставляются в электронном виде по адресу: politnauka@inion.ru; politnauka1997@gmail.com (просим направлять материалы на оба адреса) в форматах .doc или .rtf.

Основные требования к рукописям:

Кегль – 14, межстрочный интервал – 1,5.

Объем – 30–40 тыс. знаков (включая пробелы) для статей и 16–24 тыс. знаков для рецензий на книги.

Графики и диаграммы должны дублироваться в файлах формата .xls, .xlsx (чтобы сделать возможным их дальнейшее редактирование).

Рисунки и схемы желательно создавать в форматах .ppt, .pptx или .jpg. Соответствующие файлы также прилагаются к рукописи.

Текст, таблицы, диаграммы, графики, рисунки и схемы должны быть выполнены исключительно в черно-белой графике.

С целью соблюдения авторских прав заимствованные из других изданий элементы (рисунки, схемы, графики, таблицы и пр.) должны сопровождаться ссылками на первоисточники.

Ссылки на литературу внутри текста даются в квадратных скобках с указанием фамилии автора, года публикации и страниц. Материалы могут иметь постраничные сноски.

В конце текста приводится список литературы и источников – в алфавитном порядке без нумерации; сначала русские источники, потом иностранные. При этом необходимо соблюдать требования библиографического оформления, принятые в ИНИОН РАН, и правила, установленные Национальным стандартом РФ (ГОСТ Р 7.0.5.–2008).

К рукописям прилагаются аннотации на русском и английском языках (от 200 слов).

В полном объеме приводятся фамилия, имя и отчество автора, место его работы, должность и контактная информация.

Решение о публикации рукописи принимается на основе отзыва рецензентов. **Плата за публикацию не взимается.**

INFORMATION FOR THE AUTHORS

Political Science (RU) is one of the leading Russian periodicals in the field of the political science. Founded in 1997, it is well known among foreign researchers.

The specifics of Political Science (RU) is its thematic profile. The main focus of its interests is the state of political science and its particular areas, as well as the analysis of modern achievements in the field of the political science. The central place among its publications belongs to articles of a methodological nature. The journal also systematically publishes review articles, review essays, book reviews and, abstract reviews, introduces and recommends other academic journals, research centers, research projects.

«Political Science (RU)» accepts manuscripts of the following genres: research articles, review articles, review essays, book reviews, abstracts, translations. Authors are invited to submit articles through e-mail politnauka@inion.ru and politnauka1997@gmail.com.

Manuscripts should be printed in Microsoft Word or RTF format, in standard 14-point type with 1.5 lines spacing. The maximum length is 5,400 words for article and 3,200 words for book reviews.

Charts and diagrams should be duplicated in.xls or.xlsx format in order to enable further editing.

Pictures and schemes should be duplicated in.ppt., pptx, or JPEG format. Texts, tables, charts, diagrams, and pictures must be executed in black-and-white. Pictures, diagrams, charts, tables and other elements taken from other publications must not violate the copyright law and should be accompanied by citations to the primary sources.

A list of references should be placed at the end of the manuscript. The sources should be listed in alphabetical order without numbering, first Russian sources, then the foreign ones. References should follow the rules of the Institute of Scientific Information for Social Sciences and the bibliographical standard of the Russian Federation (GOST R 7.0.5–2008). Citations in the text should be enclosed in square brackets and must include the name of the author (s), the year of the publication, and the number of pages. Footnotes with text comments are also possible.

A manuscript should be accompanied by the annotation in Russian and English, no longer than 200 words. Authors must provide their full name, the place of work, position and contacts.

All articles are subject to anonymous peer review by scholars in the relevant field. An article can be accepted, sent to the author for revision and resubmission, or rejected. **The publication is free of charge.**

ПОЛИТИЧЕСКАЯ НАУКА

Адрес редколлегии:
117997, г. Москва, ул. Кржижановского, 15, ИНИОН РАН,
Отдел политической науки,
e-mail: politnauka@inion.ru

Оформление обложки И.А. Михеев
Техническое редактирование и
компьютерная верстка Л.Н. Синякова
Корректор: М.П. Крыжановская

Гигиеническое заключение
№ 77.99.6.953. П.5008.8.99 от 23.08.1999 г.
Подписано к печати 17 / IX – 2020 г.
Формат 60 х84/16 Бум. офсетная № 1 Печать офсетная
Усл. печ. л. 19,75 Уч.-изд. л. 17,5
Тираж 500 экз. (1–100 экз. – 1-й завод) Заказ № 81

**Журнал зарегистрирован в Федеральной службе
по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охране культурного наследия.**
Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ПИ NФС77–36084

Институт научной информации по общественным наукам РАН,
Нахимовский проспект, д. 51/21,
Москва, В-418, ГСП-7, 117997
**Отдел маркетинга и распространения
информационных изданий**
Тел. / Факс: (499) 134-03-96
E-mail: shop@inion.ru

Отпечатано по гранкам ИНИОН РАН
В ООО «Амирит»,
410004, г. Саратов, ул. Чернышевского, 88 литера У
Тел.: 8-800-700-86-33 / (845-2)24-86-33